СКИТАЛЕЦ
ЭТАПЫ

СКИТАЛЕЦ

ЭТАПЫ

ГОСЛИТИЗДАТ 1937

СКИТАЛЕЦ

ЭТАПЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1937

ЭТАПЫ

РОМАН-ПОЭМА
В ТРЕХ ЧАСТЯХ



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Каких только глухих захолустьев нет в нашей стране! Вот, например, уездный город Грай. Я уверен, что о нем ничего неизвестно в литературе. Да что литература! Даже в географии о нем ни слова не говорится, и разве только на самой большой и подробной карте при помощи увеличительного стекла, да и то с большим трудом, можно отыскать маленькую точку, похожую на мушиный след, с надписью самыми крошечными буквами: «Грай». Чтобы попасть в этот город, нужно слезть с поезда на станции «Лопань», но и этой станции тоже никто не знает, не замечает и не помнит, даже если и проедет мимо нее: «А! — скажет сонный путник, высунувшись утром из окна вагона, — какая-то Лопань. Что за комичное слово! Лопают тут, что ли, много? Кондуктор! есть тут буфет?» — «Нету буфета!» — ответит, не останавливаясь, кондуктор. — «А сколько минут стоянка?» — «Две минуты». И поедет дальше пассажир, тотчас же и навсегда позабыв странное, непонятное название ничтожной станции, не имеющей даже буфета.

Я ехал издалека, с севера, из губернского города С. в захолустный Грай, о существовании которого до этого не знал совершенно. Мое путешествие было похоже на добровольную ссылку и происходило в глухую, безотрадную эпоху конца девятидесятых годов,

когда после некоторого подъема общественной жизни наступила злейшая реакция: сопротивление слабо организованных сил общества было сломлено мероприятиями правительства, общественная жизнь замерла и как-то обезлюдела, подпольные организации разгромлены, а в гиблые места Сибири выброшен цвет рабочей и учащейся молодежи. Я и сам был из рядов этой молодежи и, очутившись как бы в безвоздушном пространстве, долго тянул лямку будней.

Меня выписал в Грай старый товарищ, бывший руководитель нашего «кружка тайного самообразования», нелегальный человек по имени Виктор, изъятый из нашей среды за пять лет до этой моей поездки, оказавшийся теперь в Грае в роли земского деятеля. Вот к нему-то я и ехал в эти осенние, во всех отношениях пасмурные дни. Было мне тогда двадцать четыре года

На крохотной и пустынной станции я никого не встретил и, только выйдя на внутреннее крыльцо, увидел несколько мужиков в рваных свитках и бараньих шапках, с кнутами за поясом. Договорившись с одним из них не без труда, потому что говорили они на чистейшем харьковском наречии с таким певучим произношением, что неукраинец ни слова у них не поймет, я сел в немудрый деревенский экипаж, запряженный парой крестьянских лошаденок, чтобы тащиться по проселочной дороге пятьдесят верст.

Украину до этого я знал только по сочинениям Гоголя и Шевченко. Воображение рисовало заманчивые образы поэтических девушек — всевозможных Оксан и Катерин, которые так прекрасны в стихах и прозе этих писателей; я мечтал о любовных приключениях, о лунных ночах, об украинских песнях, о красивом быте и поэтической природе благословенного края, запечатленного столькими художниками и поэтами.

Но на этот раз в окружающем было мало поэтического: необычайно грязная дорога, дождливое небо и черные, вспаханные поля кругом, такие же бесконечные, печальные, как и у нас на Севере. Иногда виднелся пахарь, идущий за плугом, запряженным двумя парами круторогих волов, встречалась старинная тяжелая колымага четвериком, в каких ездили помещики, ве-

роятно, еще при Гоголе: возница мой снимал шапку и сворачивал с дороги в грязь, — казалось, еще не отменяли здесь крепостного права. На перекрестке дорог, среди поля, мелькнула одинокая хата, обмазанная побеленной глиной, — корчма для проезжающих.

Мне вспоминался прежний облик Виктора: молодой человек лет двадцати пяти с длинными русыми кудрями, еще без усов, но с бакенбардами; наружность типичного русского нигилиста. По общему мнению тогдашнего нашего кружка, Виктор был «светлая голова», хотя особенным красноречием не обладал, но разговор его всегда был остроумен и содержателен. Жил он уроками, обитал в поэтической мансарде под крышей большого дома с единственным, но широким итальянским окном. Комната, заваленная книгами, имела гробообразный вид, но весело было нам, юнцам, собираться в ней по вечерам на огонек его керосиновой лампы с зеленым абажуром для тайного чтения.

Чтение наше останавливалось на каждой странице, прерываемое длинными разъяснениями Виктора: он имел дар излагать простыми, понятными словами очень сложные вещи. «Кто не читал этой книги, тот не имеет права рассуждать об общественных вопросах», — сказал Виктор однажды, начиная чтение. Лишиться этого права мы не хотели. Но даже и он, владевший европейскими языками, заглядывал иногда в другой экземпляр книги, французский, написанный понятнее русского перевода.

После чтения, разговоров и споров вечера эти оканчивались пением. Кроме общего хора, выступал я — как певец и как поэт. Стихи мои тогда были пламенные, героического содержания и отражали наше общее настроение.

Все это кончилось общим рассеянием.

Письмо Виктора, звавшего меня в неведомый край, в глушь Украины, приподняло меня: я давно рвался «переменить судьбу».

Наконец, под вечер в ложбине завиднелись небольшая белая церковь с пятью голубыми главами луковицей и в беспорядке разбросанные глинобитные хаты, крытые соломой. Это и был Грай.

При въезде в город стояло высокое каменное здание с окнами за железными решетками и полосатою будкой у высоких ворот — городская тюрьма.

Мы переехали грязный мостик через какую-то трясину. Ямщик рассказал, что «у прошлому року утонув у цей трясини чумак, да ще з возом, да з воламы!»

На углу запомнилась вывеска: «Трактир Свидание Друзей»; на ней были нарисованы два мужика с необычайными усами, в широких штанах и высоких шапках, сидящие за столом и пожимающие друг другу руки.

На улице не встретилось ни одного пешехода, и немудрено: грязь была невылазная, вместо тротуаров кое-где набросаны доски или камни.

Ямщик подъехал к большому, длинному одноэтажному, крытому ржаной соломой дому, с растворенными настежь воротами и огромным двором, въехал во двор и остановился у крыльца.

В полутемную прихожую выбежал из соседней комнаты мой старый друг и учитель — Виктор.

Наружность у него почти не изменилась: огромный лоб, густые вьющиеся волосы, закинутые назад, бакенбарды и попрежнему отсутствуют усы.

После объятий, восклицаний, шуток и смеха он ввел меня в маленькую столовую, представил жене.

Софье Павловне казалось за сорок — она была старше мужа. Черные волосы с проседью, карие прекрасные глаза. Семь лет назад она была женою прокурора, но устыдилась «сытой жизни» и ушла с нелегальным Виктором. Голодали. Скитались. То один, то другой попадали в тюрьму. Однако, как она стара! Почти совсем старуха. А он, наоборот, возмужал и в тридцать лет выглядит красивее, чем прежде.

Внутри дом обширен — комнат в десять, обставлен старинной тяжелой мебелью. В парадных комнатах, принадлежащих председателю управы, никто не жил, а в двух задних, маленьких, помещались Виктор с Софьей Павловной и семилетним сынишкой.

Странные были у них отношения. Жили в гражданском браке, причем жену свою мой друг выдавал в Грае за тетушку, — но вряд ли кто этому верил. Рез-

вый, смышленый Колька, бегавший по комнатам дома, называл Виктора «дядей» и еще не знал, что «дядя» приходится ему папой. Зачем нужно было им так запутывать свою семейную жизнь — я понять не мог.

Сели обедать. Из разговоров узнал, что они здесь недавно, всего несколько месяцев, а на службе положение непрочное: «Свалят либерала-председателя — тогда и нас разгонят. С год все-таки продержимся».

— Для меня это неважно, — заметил я, — просто интересно пожить в такой глуши.

— Весна здесь хороша! — сказала Софья Павловна. — До весны доживете, влюбитесь в кого-нибудь. Вы ведь поэт, кажется? Стихи, говорят, пишете?

— Для себя только. Я теперь на сцену стремлюсь, пению учился два года.

— Вот как! Это еще интереснее. Вы нам вечером спойте что-нибудь, а то у нас совсем нет музыкального элемента. Я и в опере-то, кажется, лет десять не была!

— У тебя совсем другое лицо стало, — заметил Виктор, — был скромный такой, застенчивый, а теперь и впрямь на актера похож. Кабы знал — не выписал бы тебя.

— Ну, уж теперь ничего не поделаешь.

Смеялись, но, повидимому, заинтересовались моею переменой.

— Какой же у вас голос-то? — полюбопытствовала Софья Павловна. — Тенор, что ли?

— Нет, баритон.

Так и прозвали они меня с первого же дня «баритон».

— Ну, баритон, ты, небось, устал с дороги! прилег бы ты, баритон, отдохнуть до чаю. Что только я на службе с тобой, с баритоном, буду делать? Ох, уж эти мне баритоны!

— Да, пожалуй, не мешает мне, баритону, и поспать после вашего обеда, — отвечал я в том же тоне.

— Ну, иди, баритон!

Уложили меня в передней, на кровати с ситцевым балдахином и затворили дверь. Заснул я в мечтах о предстоящей здесь интересной жизни.

Проснулся от голосов в столовой. Кроме Виктора и Софьи Павловны, говорил еще молодой женский голос. Я протяжно зевнул.

— А, — вскричал Виктор, — баритон проснулся!

При свете висячей лампы компания собралась за чаем. Рядом с Софьей сидела молодая девушка лет двадцати трех — стриженая блондинка, в красной кофточке. В то время как Виктор знакомил нас, она с любопытством смотрела на меня искристыми глазами.

— В нашем Грае таких еще не бывало, — улыбаясь, сказала она и, обратясь к Виктору, продолжала дразнящим тоном: — Я заинтересована!

Девушку звали Любой. Повидимому, она была в этой семье ежедневной гостьей, своим человеком. На дворе шел дождь, ее стали уговаривать остаться ночевать. Она легко согласилась.

— Женщина должна быть свободной, — смеясь, заявила гостья.

Заговорили о женском вопросе.

Люба отрицала церковный брак и требовала от нас, чтобы мы не считали ее женщиной, видели бы в ней только человека и обращались бы с ней как с мужчиной, ибо человеком она считала только мужчину; так, смеясь, перефразировал я ее рассуждения.

После чая перешли в гостиную. Люба продолжала доказывать, что она не хуже мужчин, и предложила нам с нею побороться. Мы с Виктором приняли вызов. В борьбе поневоле приходилось обнимать ее и касаться грудью ее упругой груди. Меня это несколько смущало. Я никак не мог считать Любу только человеком.

— Пора перейти к делу, — сказал Виктор, — мы тут по вечерам занимаемся чтением вслух серьезных книг.

Одну из них он было открыл.

— Послушаем-ка сначала пение баритона, ведь он обещался петь, — настаивала Люба.

— Я готов! Есть у вас рояль?

— Рояля нет! Выходите на середину комнаты и вообразите, что вы на сцене, а мы будем слушать на диване.

Я так и сделал.

Пел исключительно любовные романсы, и после каж-

дого из них мне шумно аплодировали. Никто не ожидал, что я почти законченный профессиональный певец. Дал им целый концерт и когда, наконец, умолк и подошел к ним, то увидел, что победил не только женщин, но и Виктора.

— Еще! Еще пойте, еще! — вся раскрасневшаяся и сверкая глазами, кричала Люба.

— Чорт возьми, ты в самом деле хорошо поешь. Тебе на сцене место, — сказал Виктор.

Люба вскочила, принесла откуда-то длинный черный плащ и, набросив его мне на плечи, попросила:

— Спойте из «Демона»!

Я задрапировался «Демоном» и спел «Не плачь, дитя».

Серьезное чтение так и не состоялось. Мы просидели на диване до четырех часов утра и говорили о любви.

До моего приезда они наполняли вечера книжными разговорами и скучали в серой обыденщине захолустного городка, но вдруг, как птица с воли, залетел к ним я с пением о любви и радостях жизни, и это их поразило. Мой легкомысленный, жизнерадостный вид показался им новым, неожиданным, «недозволенным» для них. Они почувствовали, что аскетические идеи были для них как бы цепями, в которые их кто-то заковал, но оказалось, что я своим появлением пробудил в них жажду радости, любви и поэзии.

Люба каждый вечер приходила к нам для совместного чтения, но чтение ни разу не состоялось: вместо этого я пел романсы и арии, декламировал свои стихи, а затем продолжались разговоры о любви; в чрезвычайно серьезных рассуждениях на эту вечную тему просиживали мы каждый вечер почти до утра.

Иногда я отправлялся провожать Любу к дому родителей и однажды у крыльца как-то совершенно естественно поцеловал ее. Она нисколько не удивилась, как будто давно ожидала этого. Спокойно и молча целовалась со мною, и взгляд у нее был странно-внимательный; этот взгляд как бы говорил: «хорошо, я подумаю и тогда решу, а пока...»

Не знаю, как бы все сложилось, если бы внезапно не заболел Виктор. Он заболел очень тяжело и проле-

жал в постели целый месяц. Мне пришлось тотчас же заменить его на службе. Мы все по очереди дежурили у него. Больной спал тяжелым сном и часто бредил. Приходя в себя, он задавал нелепые вопросы:

— А где разбойники? Они сейчас здесь были... жандармы!..

До полночи дежурил я, после двенадцати сменяли одна другую Софья Павловна и Люба.

Незадолго до его выздоровления мне стало казаться, что обе они скрывают что-то. Люба заметно избегала оставаться со мной наедине, сторонилась от Софьи Павловны и только неусыпно сидела каждую ночь у постели больного. Софья ходила с трагическим лицом.

Наконец, как-то днем, когда мы все трое сидели в гостиной, он в первый раз встал с постели и неожиданно появился в дверях.

Красив он был в эту минуту той особенной красотой, которую дают иным людям болезнь и страдание. В застегнутом сюртуке, стройный, широкоплечий, с шапкой закинутых назад спутанных темнорусых кудрей, с темной бородкой без усов, обрамляющей изможденное лицо с большим лбом, он походил на Пушкина.

Я заметил, что у Любы, сидевшей рядом со мной, загорелись глаза. Виктор грустно усмехнулся.

— Вот я выздоровлю и уеду от вас всех, чтобы не мешать. — В голосе его чувствовались ревность, горечь и грусть.

Через несколько дней он совсем оправился, а Люба все еще не отходила от него. Она теперь всегда садилась рядом и говорила только с ним, глаза ее сияли счастьем. Гулять они стали уходить вдвоем. За столом Люба в легком пеньюаре, с разрезанными до плеч рукавами с видом хозяйки сама разливала чай.

Однажды вечером на дворе бушевала гроза. Шел ливень, по временам раскатывался гром.

Виктор с Любой уединились в одной из темных комнат, куда обыкновенно из нас никто не ходил, и долго не возвращались. Мы с Софьей Павловной коротали вечер в гостиной, одинокие, брошенные, печальные.

Софья вздрагивала от каждого порыва ветра. За окнами было темно, шумел дождь, сверкала молния.

Тихим, пониженным, минорным тоном она говорила:

— Это все вы наделали своими песнями! Всех околдовало пение, все посходили с ума, захотелось любить. Если бы вы не приехали, ничего бы этого не случилось. Во всем виноваты ваши романсы! Люба на первых порах увлеклась вами, о Викторе и не думала, не надеялась! А потом во время болезни увидела, что и он хочет новой любви; тогда она решила порвать с вами, потому что Виктор красивее и умнее. Даже — что греха таить — я тоже увлеклась было! Ну, да теперь и мне не до вас.

Голос ее дрожал все заметнее, взгляд глубоких, черных глаз, полных безумной тоски, становился жутким.

— Они уже сошлись! — вдруг закричала она. — Все кончено для меня, я старше... старухой стала!..

На дворе раскатился громовой удар, словно треснуло небо. Софья вскочила, маленькая, худенькая, с растрепанными, заметно поседевшими волосами, с огромными страшными глазами и, взмахнув руками, как птица крыльями, с криком кинулась к выходу из дома.

Ужас охватил меня. Я бросился за ней. Поймал уже на дворе под проливным дождем, при блеске молнии, под раскатами грома. Схватил ее в охапку. Она вскрикивала, вырывалась, царапалась. Длинные густые волосы распустились и мешали мне. Наконец, внес обратно в гостиную, положил на диван. Вопли огласили высокие комнаты пустого, старого дома.

Дождевая вода ручьями лилась с ее разметанных волос и с меня. Она, задыхаясь, билась в припадке, рвала на себе волосы и дико выла. Слезы катились по маленькому смуглому, уже старому лицу ее, сморщенному в жалкую и вместе ужасную гримасу.

После припадка с Софьей Павловной Виктор взял отпуск и уехал в Харьков «по личным делам», но было ясно, что причиной была семейная драма. Люба больше не заходила. Я замещал Виктора по службе и был

завален работой. Приближалась сессия земских собраний. Работа оказалась волнующей: дворянская партия стремилась на предстоящих выборах свалить нашего председателя, провести своего, а нас всех разогнать как политически «неблагонадежных». В случае нашего поражения был известен и новый политический курс: закрытие в первую очередь всех сельских школ в уезде.

Захолустный Грай был гнездом дворян-помещиков, благодушествовавших здесь в дедовских особняках, красовавшихся в поэтических столетних парках. Это их старомодные кареты, запряженные четвериком, попадались мне навстречу, когда я ехал со станции в мужичьей телеге, невольно уступавшей дорогу раскормленным рысакам. И все-таки «неблагонадежные» заведывали теперь народным просвещением, медициной, строительством школ, больниц, дорог и мостов.

Вскоре Софья Павловна получила письмо, в котором Виктор писал, что вернется только тогда, когда она уедет; если же этого не случится, то он вовсе не вернется. Получив такое распоряжение, она поспешила уехать вместе с сыном.

Виктор тотчас же вернулся, но не один, а с товарищем, по фамилии Атаманов. Друзья часто называли его просто Атаманом. Он поступил в Управу наравне со мной — вторым помощником секретаря; это была того же поля ягода, что и Виктор — старый его товарищ, преждевременно поседевший в тюрьмах, несмотря на свои тридцать пять лет.

Атаманов сильно смахивал на Шевченко: полуседые, висящие вниз усы, большой лысеющий лоб и выразительные глаза исподлобья. Неуклюжий крепыш среднего роста, медвежьего телосложения, с медвежьим же голосом, он обладал походкой «статуи командора»: не был толст, но все сотрясалось, когда он входил в комнату своими тяжелыми шагами, словно был вылит из бронзы или высечен из камня. Он выглядел старше своих лет, был одинок и холост.

Дополнением к этим двум фигурам был я — человек в пенсне, с волосами до плеч, худой, высокий, блед-

ный, носивший широкополую шляпу и плед, напоминая студента шестидесятых годов. Эта тройка, с виду несходная, но имевшая что-то общее между собою, казалась жителям Грая не внушающей доверия, подозрительной и чуждой: ходил слух, что мы не по своей воле сюда приехали, а сосланы в Грай из столиц за «политическую неблагонадежность». На службе мы формально считались помощниками Виктора, но чинопочитания у нас, конечно, не было.

Занимались мы все в одной комнате, каждый за своим столом. Я заведывал народным образованием Атаманов — медициной. Перебрасываясь шутками, мы серьезно готовились к сессии, писали доклады собранию.

Впрочем, сидя за своим столом и делая вид, что занят составлением деловых бумаг, я писал стихи в тех случаях, когда они начинали складываться в моей голове.

Однажды Атаманов сказал мне, добродушно улыбаясь:

— Я как-то вечером искал ведомость, заглянул и к вам в стол: гляжу — стихи... Знаете что? мне кажется, вам следует продолжать!..

— Совершенно верно, — подтвердил Виктор, — способность писать стихи я и прежде у него признавал. Службист из него, конечно, не выйдет, но поэт — пожалуй...

Я отшучивался, а в душе был согласен с ними.

Грай для меня только зацепка. Мне бы перекочевать в университетский город, уж там-то я непременно попытался бы поискать счастья в литературе или на сцене, но пока надо мой доклад писать так, чтобы не осрамиться перед дворянами. С этой нашей деловой литературой на собрании будут выступать председатель и два члена Управы.

Земские собрания с речами и дебатами всегда привлекали массу публики, в которой преобладали дамы. Ходят туда наряженные, как в театр. Думают, что председатель и члены говорят свои собственные, а не сочиненные нами для них доклады. Эти доклады, набело переписанные, Виктор отослал председателю

Борщову в Курск, где тот имел постоянное жительство, а в Грае бывал только наездом.

Однажды Виктор приехал на службу в рессорной коляске вместе с плотным, осанистым человеком апоплектического телосложения, лет пятидесяти. Голова его на короткой могучей шее, остриженная бобриком, была громадна, плечи широкие, тип лица — украинский, с висящими вниз усами, осанка плотной фигуры — властная.

Пройдя в свой кабинет, он тотчас же вызвал туда свой «секретариат», то есть всю нашу «тройку», на закрытое совещание.

— Вот что, друзья мои, сказал он: на выборах предстоит сильная перепалка, можно сказать — бой! Враги наши подготовились: цель их провести на место председателя известного черносотенца, помещика Кайленского, которого вы знаете. Это опасная, беспринципная бестия! В случае удачи он, конечно, сместит весь состав Управы. Закроет народные школы и библиотеки... Правительство боится света, оберегает сон мужика... Но мы не сдадимся без борьбы... за нас общественное мнение и большинство гласных-крестьян. Итак, не будем падать духом. Большое, даже решающее значение будут иметь наши доклады. Они должны произвести впечатление, разгромить здешних зубров! И тогда, когда отразим натиск врага, продержимся еще три года, а за это время многое может измениться. Исход всякой борьбы зависит от уверенности в победе!.. По прочтении присланных вами докладов, которые я тщательно проштудировал, у меня явилась именно такая уверенность.

Борщов вынул из папки наши рукописи, четко, каллиграфически переписанные на цельных листах белой бумаги, положил их перед собою и, набросив на переносье пенсне, продолжал своим мягко гудевшим голосом:

— Друзья, я должен принести вам благодарность за блестяще написанные доклады. Дорогой Виктор Семеныч, мы с вами и прежде встречались на земской работе, и ваше талантливое перо мне знакомо, но ваших товарищей я вижу в первый раз и очень рад, что их

первое, так сказать, литературное выступление оказалось очень удачным. Доклад о состоянии медицины обстоятелен, серьезен, содержателен, очень убедителен. Вступительный доклад, дающий общую, так сказать, картину, написан столь хорошо, что я сначала было приписал вашему перу, но когда прочел третий доклад, а именно о народном образовании, то решил, что на этот раз вы взялись за самую трудную тему и превзошли самого себя. Это не сухой канцелярский доклад, а замечательное литературное произведение, что-то щедринское, бьющее не в бровь, а в глаз... Новая «История города Глупова»! Благодарю вас всех, но за этот доклад, обещающий нам фурор и полную победу, я горячо жму вам первому вашу честную руку, дорогой мой... Именно этот доклад я беру на себя для прочтения собранию.

Борщов произнес эту тираду с большим подъемом, почти расчувствовался и, привстав с кресла, протянул руку Виктору.

— Вы ошиблись, уважаемый Афанасий Павлыч, — возразил Виктор, — доклад по народному образованию писал не я, а вот он! — и, указав на меня, добавил:— Это мой давний ученик, друг и товарищ, и поверьте моей искренности, что я очень рад за него.

— Как! такой молодой? — удивился председатель и, отчасти смешавшись, протянул мне руку.

Произошла немножко неловкая сцена при общем, впрочем, сочувственном смехе.

— Из молодых, да ранний, — смеялся Виктор.

— Ну-ну! — развел руками председатель. — С такими помощниками весело работать!.. Надеюсь, мы и в этом году опрокинем наших противников... совершенно уверен!..

Проводив нас до порога, повеселевший и взволнованный, он заговорил совсем в интимном тоне:

— Друзья! Сейчас же после занятий милости прошу ко мне обедать. Я захватил из Курска такой осетрины, что пальчики оближешь! И еще, — тут он понизил голос до тихой, мягкой, воркующей октавы, — свежей икры и бутылку зубровки!

Мы вышли со смехом, веселой гурьбой.

II

Хороша майская ночь в городе Грае!

Белым цветом цветут старые вишневые сады, полная луна горит в самом центре небесного свода и обливает жидким серебром белые хаты, белые деревья и белую церковь. Все объято волшебной тишиной, торжественным молчанием.

Улицы покрыты зеленым бархатом.

Под высоким обрывом расстилается широкий серебристый луг, а по нему спиралью вьется вровень с мягкими зелеными берегами и горит под лунным светом тихая, как зеркало, узкая речка.

Вдали всю луговину окаймляет густой, кудрявый лес, благоухающий лесными цветами. Тепло так, что даже становится душно.

И вот начинают петь соловьи.

Сначала один. У него густые, сладкие, контральтовые ноты. Пробует голос в нижнем регистре и, постепенно увлекаясь, рассыпается великолепной трелью. К нему присоединяется другой, третий, словно состязаются в пении. И тотчас же отовсюду несутся соловьиные трели. Наконец, гремит целый хор соловьев с каким-то особенным, большим диапазоном сложных, разнообразных, артистических рулад: соловьи здесь так называемые «курские» — особая порода первоклассных пернатых певцов; голоса у них густые, сильные.

В прозрачном, матовом небе шевелятся крупные, редкие звезды. Темный лес на горе замер, словно околдованный, слился с черными своими тенями. Над крутым обрывом, над недвижной рекой, как сонное видение, дремлет белый Грай — весь из белых хаток, окутанный садами, а церковь, как невеста в подвенечном наряде, так и светится, облитая серебряным светом.

Соловьи на момент умолкают, и тогда все застывает в торжественной и душной тишине. Кажется, можно слышать дыхание или шелест упавшего листа.

Откуда-то с реки или из леса, дремлющего вдали, доносятся далекие, но явственно слышные протяжные голоса женского хора:

Ярил-ярилочка...
Ярилова дочка...
Стала ранесенько...
Умылась билесенько...

Свирельный напев этой древней песни, еще сохранившейся здесь, стройно и призрачно звенит над маленьким уютным городком, похожим на деревню. Беленькие мазаные хатки, окутанные нежной весенней листвой верб, вишен и калины, прислушиваются к звонкому, издалека плывущему хору.

Выйду за Дунаю,
В сопилочку заграю:
Выбирай соби дивку,
Як калинову квитку...

Хор удаляется, затихает и уже чуть слышно расплывается, словно тает в молочно-белом, серебряном свете луны.

Я сижу на деревянных ступеньках крыльца большой глинобитной хаты, выходящей в обширный вишневый сад, облитый белым светом.

Занимаю здесь комнату со столом у библиотекарши, гречанки Катерины.

Через дорогу над пустырем стоит маленький домик с опущенными соломенными занавесками, освещенными изнутри; это квартира Виктора, в которой он недавно поселился вместе с Любой, своей новой женой. Живут гражданским браком, что вызвало, конечно, неудовольствие родителей Любы: отец ее — здешний исправник, ненавидящий «политических», но вот уже вторая дочь у него выходит замуж за «политического».

Люба «опростилась», одевается небрежно, похудела, подурнела, но безумно любит Виктора и всюду ходит за ним.

Я редко бываю у них: мне скучно смотреть на чужое семейное счастье, хотя они оба ко мне относятся по-приятельски. Люба совсем забыла, что полгода назад целовалась со мной.

Земские собрания и выборы минувшей осенью прошли благополучно: мой доклад по народному образованию, прочитанный с трибуны нашим председателем,

произвел такое впечатление на гласных, что вызвал овации их и собравшейся публики, а на выборах большинством голосов прошел на новый срок Борщов.

Казалось, что теперь пребывание нашей компании на земской службе в Грае обеспечено на определенный срок, но на самом деле уверенности этой у нас нет: временно побежденная дворянская партия становится все сильнее вследствие явной поддержки правительства; наша победа была случайной. Говорят, что исправник, проклявший своих дочерей, в то же время поклялся при первом же удобном случае арестовать своего зятя Виктора вместе с двумя его товарищами.

Приближается опять сессия собраний, на которых готовится расправа с нами. Виктор и Атаманов настроены в «отъезд». Мне же и «настраиваться» нечего: «все мое ношу с собою». Под впечатлением новой обстановки, что ли, в которую я попал, у меня вновь пробудилось влечение делиться чувствами и мыслями с бумагой. Завел себе толстую переплетенную тетрадь, запирающуюся маленьким медным замочком: никто не знает, что я пишу в этой тетради, да я и не намерен показывать кому-либо плоды моих бесед с музами.

Просто меня настраивает на поэтический лад красивая природа этого глухого уголка Украины, мелодичные песни, звучащие кругом, новые знакомства, встречи и красивые женщины юга.

Рядом с моей комнатой живет мой друг Платон — учитель уездного училища. Его предмет — математика, но призвание — скрипка, на которой он играет очень хорошо. Окно его комнаты раскрыто, освещено, и я слышу, как он настраивает скрипку.

Вот он заиграл. Скрипка поет, как человек. Льются певучие, задушевно-грустные звуки. Я люблю слушать игру Платона и люблю смотреть на него во время игры: в освещенном окне видна его стройная, юношеская фигура со скрипкой у плеча и с плавными движениями смычка.

Во время игры он весь преображается. Тонкие черты его красивого лица внезапно делаются серьезными, одухотворенными, значительными, и весь мой молчаливый, скучный математик Платон становится каким-

то другим Платоном, и этого другого Платона я люблю.

Наконец, он выходит ко мне на крыльцо.

Платон — красавец того типа, каких рисуют обыкновенно на конфетных коробках: маленькие усики, губки, как у барышни, одет по моде — здешний «сердцеед». Говорит мало и тихо, ухмыляясь про себя.

— Ночь-то какая! — он усаживается рядом со мной, усмехается. — Небось, опять стихи сочиняешь? Что это за тетрадка у тебя в переплете, маленьким замочком заперта?

— Так, иногда пишу для себя...

— Главное, замок всех интригует. Должно быть, и про Грай есть... Что, собственно, ты пишешь?

— Хочу попробовать написать поэму.

— Поэму? — Платон усмехается.

— Да, хочу идеализировать личность нашей хозяйки.

— Катерины? что ты в ней нашел?

— А ты знаешь ее биографию? Муж ее был богатым человеком, но произошла какая-то драма, он разорился, умер, теперь она живет в бедности. Посмотри на ее лицо: ведь она красавицей была когда-то, и что же дала ей жизнь?.. Кто оценил ее?..

Платон молчит и крутит усики.

— А потом, — продолжаю я, — она любила студента, которому по наследству принадлежал вот этот дом... Студент умер от чахотки, а она до сих пор носит цветы на его могилу... Теперь приехал второй брат, тоже умирает, третий — гимназист Володька — умрет в студенческом возрасте... Вся семья!

— Все это я знаю... Они действительно обреченные... Но Катерина... Да, в самом деле, тут есть что-то для стихов. А ну-ка почитай мне!

Я открываю тетрадь и вполголоса читаю «пролог» ненаписанной поэмы.

Описание идеализированной красоты Катерины, по-видимому, увлекает Платона.

— Эх, чорт! — одобрительно прерывает он меня.

Но в тине скучной суеты
Прошли чарующие годы,
И без любви, и без свободы

Увяли дивные черты.
Румянец алый нежных щек
Слезами горькими смывался,
И им никто не любовался...

Платон издает какие-то междометия: я чувствую, что стихи действуют на него.

И черный шелк ее бровей,
И бархат огненных очей,
Каких не видано нигде, —
Поблекли в горе и нужде...

— Мне она кажется теперь действительно такой, как ты ее изображаешь! — говорит Платон. — Хотя знаю, что врешь... Ведь красавица-то, в сущности, ее дочь — Валентина! Я было за ней приударил, да очень уж недотрога и все молчит.

— А вот со мной она очень долго вчера разговаривала, — возражаю я.

— Разве? А ну, нет ли у тебя и про нее стихов! Впрочем, она сама пишет стихи.

— Плохие, неуклюжие вирши. Володя мне показывал: полная противоположность ее наружности... Хочешь, и про нее есть.

— Валяй!

Если б лиру деревянную
На крючок хоть раз повесила
Ваша муза окаянная —
То-то было бы мне весело!
Вы, храня всегда молчание,
Взговорили вдруг сторицею;
То же было, по писанию,
С Валаамовой ослицею...

Платон прыснул.

Бил пророк ослицу палкою...

— Хо-хо-хо! — разразился он, наконец, хватаясь за бока.

За ее упрямство дикое.
Что же вышло? Сцена жалкая!
Безобразие великое!

— Ну, если узнают, тебя за эти стихи бить будут! И что за удивительная вещь: теперь она и не кажется

мне красавицей. Катерина — другое дело, после твоих стихов в нее влюбиться можно. Пойдем к ней на террасу.

— Нет, мне не хочется.

— А я пойду.

Платон уходит на другую сторону дома, на террасу, где, я знаю, лежит в кресле умирающий студент, а около него дежурит Катерина.

Когда я остаюсь один, то всегда думаю о красавице Валентине. Зачем я написал о ней такие стихи?.. На самом деле мне хочется вечно смотреть на нее и любоваться... Но что-то есть в психологии человека, когда тайное чувство даже перед самим собой хочется замаскировать шуткой.

Валентине девятнадцать лет, она только что кончила семь классов гимназии в университетском городе. Приехала сюда на лето к матери. Осенью опять уедет продолжать образование. В нее влюблен гимназист Володька — ее ровесник, у которого начинается наследственная чахотка, истребляющая весь их род. Он будет последний. Валентина знает это и все-таки, кажется, считает его своим женихом. Через год он будет студентом и женится на ней, а потом умрет. Знает ли эта девочка, что она исключительно красива? Нет! Не знает, должно быть.

Умирающий студент тоже любит ее, и присутствие Валентины в этом доме, вероятно, ускорит его близкую смерть. Какими невыносимо-страдальческими глазами смотрит он на нее, когда Валентина подходит к его изголовью.

Встаю и, прячась в тени от лунного света, на цыпочках подхожу к ее окну. Оно слабо освещено, чуть-чуть прозрачная соломенная занавеска опущена. Я приник к раме окна и вдруг увидел силуэт Валентины.

В обычном своем гимназическом коричневом платье с черным фартучком она стояла на коленях перед иконой и страстно молилась вслух. Ее прекрасные, огромные глаза с длинными черными ресницами, устремленные вверх, блестели; иссиня-черные волосы цвета воронова крыла как бы отягощали ее милую головку. Черты смугло-золотистого лица, словно

изваянного из слоновой кости, были правильны, девственная фигура в полном расцвете юной красоты поражала идеальной стройностью. Ее дивные глаза мерцали синим блеском, как звезды.

— Бог! — расслышал я ее страстный, взволнованный, глубокий голос. — Бог! Ты можешь все, если захочешь!.. Я верю, верю... верю в чудо!.. сделай чудо... спаси его... Не убивай его, пощади...

Меня поразила эта наивная вера, которой сам я уже давно не имел. А Валентина запросто, как ребенок, разговаривает с богом.

Я закрыл глаза и так, с закрытыми глазами, стал петь чуть слышно фальцетом:

Отчего я люблю тебя, тихая ночь?

А кругом, вместе со мной, мощным хором пели дивные курские соловьи.

Открыв глаза, я увидел, как мимо меня неслышно, словно по воздуху, стройной походкой прошла Валентина, сверкая под лунным светом своими тяжелыми волосами...

Я встал и, зачарованный, простирая к ней руки, сказал ей вслед, и голос мой дрожал в это время, переполненный волновавшим меня неудержимым чувством:

— О, моя юность! О, моя нежность!

Шла торжественная ночь. Рыдали соловьи.

Утром я спал тонким, весенним, юношеским сном. Сквозь закрытые веки чувствовал яркие, радостные, теплые лучи солнца, сквозь сон слышал чириканье птиц в саду. Человеческие голоса звучали где-то близко от меня, но я не мог, не хотел проснуться.

В жилах моих струилось радостное ощущение жизни, и звуки ее, как бы издалека проникавшие в мое сознание, казались чуть слышной, призрачной музыкой, полной тинственного, важного, многообразного значения. Чириканье птиц, солнечное утро, смутные голоса казались частью позабытого мною красивого, радостного сновиденья и существовали как бы только для того, чтобы радовать меня. Какое счастье, что есть радостная

весна, доброе, ласковое солнце, синее, бездонное небо, цветущая земля, что все они так благожелательно относятся ко мне! Как хорошо понемногу просыпаться и, не открывая глаз, ощущать прелестный земной мир!

В комнату вошел Платон в белом кителе, в воротничке, в фуражке с кокардой.

Хорошенькое личико его чисто выбрито, маленькие усики закручены кверху, как две запятые.

— Дрыхнет! — сказал он, ухмыляясь, кладя на стол фуражку и щегольскую тросточку. — Экое чудовище завел я себе!..

— То есть, кого это?

— Да тебя же!.. Хе-хе! Ну, одевай свою хламиду, пойдем купаться...

Выходим на крыльцо нашего дома, обмазанного глиной и крытого ржаной соломой: таковы почти все дома в Грае. Ветви старых вишен тянутся в открытые маленькие окна. Запущенный сад зарос густой зеленой травой. В глубине его, в тени раскидистого дерева, полулежит в большом кресле белая фигура — это умирающий от чахотки студент. Изящная фигурка нашей квартирной хозяйки в темном платье виднеется около больного.

Идем через сад и на минуту подходим к ним. Катерина еще издали машет нам руками, чтобы мы не шумели. Солнце радостно сияет, весеннее раннее утро свежо и радостно, а больной, полумертвый, лежит в кресле, закутанный, бледный, как скелет, почти без сознания, голова его падает на иссохшую грудь, из угла рта струится кровь. Катерина ежеминутно вытирает ее белым платком и тихонько плачет.

— Разве это живой человек? — шепчет она сквозь слезы.

Он так напоминает ей его старшего брата, которого она любила. Тот умер прошлой весной в этом же кресле.

Катерине на вид лет около сорока, но она все еще красива южной античной красотой, которой так часто отличаются гречанки. Ее густые волосы перевиты серебром, лицо постарело, но черты его замечательно правильны.

Платон смотрит на нее с искренним состраданием и совершенно равнодушен к умирающему, лежащему в забытье с закрытыми глазами. Кровь, которую ежеминутно вытирает платком Катерина, вызывает на красивом лице Платона едва заметную брезгливость.

Что же касается меня, то я совсем не понимаю смерти и чуждаюсь умирающих: я так люблю жизнь!

Поговорив шопотом с Катериной, мы выходим через сад на берег реки. С обрыва открывается широкий, зеленый бархатный луг, а по нему извивается речка вровень с зелеными берегами, заросшими мягкой травой.

На берегу школьный сторож Безматный, отставной солдат древнего типа, весь серебряный, с белыми усами и бакенбардами, хлопочет около дымящегося самовара. При нашем приближении старик сделал нам по-военному под козырек, хотя седая голова его без картуза, а ноги без штанов. Всмотревшись в почтенное лицо своего слуги, Платон сказал ему строго:

— Безматный, ты опять пьян?

— Э, господи боже мий... — укоризненно отвечает старый воин, — тильки ще выпив, ты вже и пьян?

В голосе Безматного звучит искреннее удивленье. В сущности, он никогда не бывает совершенно трезвым, даже рано утром, но это не мешает ему быть по-военному исполнительным. Каждое утро мы пьем чай на берегу реки, и Безматный никогда не опаздывает с приготовлением самовара.

Раздеваемся и залезаем по горло в прохладную чистую воду реки с гладким песчаным дном. Безматный наливает два стакана чаю, и на подносе осторожно, в одной рубашке, несет их нам.

Пьем чай в реке. Над светлой гладью, неподвижной, как зеркало, видны только наши головы. Солнце начинает припекать. Из города доносится малиновый звон церковного колокола, а из-за реки, из кудрявого, ярко-зеленого леса, слышно медленное, печальное кукование кукушки.

Сидим лицом друг к другу, каждый со стаканом в руке, пьем горячий чай и разговариваем. Наши голоса далеко слышны над тихой, безлюдной рекой.

— Жизнь прекрасна! — изрекает Платон, обжигаясь чаем в холодной воде. — Но отвратительно умирать в двадцать три года, весной... Да еще, умирая, быть влюбленным!..

— Ты думаешь, что он влюблен в дочь Катерины?

— Да, он безнадежно любит эту красивую дуру.

— Почему дуру?

— Да хоть бы потому, что она от нас с тобой нос воротит, а занята гимназистом Володькой... ну не дура ли? Ведь через год-другой и он будет в могиле!..

— Тут жалость играет роль! А нам бросают вызов,— ты не знаешь женской души...

— Это правда! — соглашается Платон. — Между нами и ими идет какая-то глухая борьба. Ну, для чего, например, мы сидим в реке и пьем чай? Единственно для того, сознайся, чтобы показать, что нам весело и без них! Тогда и они делают вид, что пренебрегают нами, а между тем Володька ревнует Валентину к тебе.

— Неужели?

— А как же иначе? Разве это серьезно — любовь гимназиста к такой здоровой взрослой девице? А ты и певец, и поэт, и не обращаешь на нее внимания. Что до меня, то я бы предпочел мамашу. Катерина мне больше нравится...

— Ерунда все это, мой друг Платон!

— Бродяга ты и фантазер! — со вздохом заключает Платон, кончая чаепитие. — Ну, однако, пора вылезать! После купанья хорошо к аптекарю Як-Данилычу зайти.

— Это еще зачем?

— Как зачем? Холодной водки выпить... У него всегда есть холодная виноградная водка с химической подливкой. Пойдем, там у него, наверно, собралась компания в преферанс.

— Да ведь я не играю в карты...

— Ну, водки выпьешь, посидишь, посмотришь — ведь там весь Грай!

После купанья идем в аптеку.

Аптека — единственная в городе, и аптекарь Яков Данилыч — несчастнейший человек: по долгу своей службы он никогда не имеет возможности отлучиться

из аптеки. Это добродушный, ленивый, сырой и жирный мужчина, как огня боящийся своей жены. А жена у него форсистая, тонная, вечно ходит по гостям: вот и сидит бедный аптекарь один в своей аптеке... Впрочем, не один: к нему туда, пользуясь отсутствием жены, собираются собутыльники и картежники, которые устроили из аптеки клуб с буфетом.

В аптеке и без нас большая компания. На прилавке водка и закуска. Компания занята картежной игрой. Сам аптекарь, толстый, лысый, бритый, добродушно улыбающийся, тут же кипятит что-то на химическом приборе.

— Что это вы делаете, Яков Данилыч? — здороваясь, спрашивает Платон.

— Подливку к закуске! — благодушно объясняет Яков Данилыч, похожий больше на буфетчика, чем на аптекаря.

— Он у нас при нужде и водку делает, — отзывается компания, — недаром человек учился — химик!

Мне скучно смотреть на карточную игру, в которой я ничего не понимаю. Пить тоже в жару не хочется. Зову Платона домой, но, засев играть, он упрашивает меня подождать.

Мы сидим в аптеке час и еще час.

Компания начинает пьянеть. У Платона изящный галстук набок, прическа — набок, и пахнет от него химической подливкой. Но аптекарь уже приготовил ром собственного изделия и умоляет всех попробовать.

Наконец, выходим на крыльцо. Я держу Платона под руку. На свежем воздухе он несколько трезвеет. Приходим домой как раз к обеду.

Обедаем в комнате Платона... Подает хорошенькая горничная Маруся, влюбленная в него. По этой причине оказалось, что она позабыла подать ложки. Поставила две тарелки супа и ушла.

Посоветовавшись, решили обедать без ложек, лакать суп языком, по-собачьи. При этом я имитировал собачий лай и вой.

Вошла Катерина и ужаснулась, увидя нас лакающими. Исправив рассеянность работницы, хозяйка ушла. За переборкой было слышно, как она со смехом об этом

рассказывала кому-то. Смеялась компания молодежи, собравшаяся к Валентине.

Платон лег спать, а я отправился на половину хозяйки.

Вошел и остановился у порога: Володька, обожатель Валентины, декламировал ее стихи по тетрадке. Слушали его несколько молодых людей и девиц. Тут же была Валентина и только что приехавшая ее тетка, сестра матери, Елизавета, стареющая девица лет за сорок, сухая, костистая, с острыми чертами лица, ничем не напоминавшими все еще красивую Катерину. Зато она богата, получив после смерти отца крупное наследство, тогда как Катерина, вышедшая замуж против воли его, не получила ничего. Говорили, что богатая сестра все-таки помогает бедной воспитать детей: платит за правоучение и пансион Валентины, зато каждое лето приезжает гостить у Катерины, как бы на даче. Я чувствую к ней инстинктивную антипатию, так же, как и она ко мне: общество, которому она симпатизирует, — это здешние помещики.

Платон уже давно избегает встречи с ней. Жалкая буржуйка помыкает своей бедной сестрой, а та только о том и думает, как бы не лишиться ее «благодеяний». Все это я знаю, но захожу на их половину отнюдь не для Елизаветы. Меня интересует Валентина.

Володька, юноша двадцати лет, приземистый, с неправильным, но неглупым, симпатичным лицом, с первым пушком над верхней губой, читал басом, слегка покашливая сухим кашлем, предвещающим зловещий наследственный недуг.

Компания аплодирует ему и стихам Валентины, хотя это были совершенно детские вирши, последние строки которых почему-то посвящены были мне в насмешливом тоне. Как бы в ответ на это, я почтительно поклонился Валентине и пожал всем руки, но когда протянул руку Елизавете, она быстро повернулась ко мне спиной. Я, не задумавшись, ответил ей тем же, и несколько секунд мы оставались неподвижными в этих пластических позах, причем я незаметно для нее сделал водевильный жест: посвистав и кивнув в ее сторону, постучал себя пальцем по лбу. Молодежь не могла

удержаться от дружного смеха. Разъяренная тетка вскочила и с пылающим лицом выбежала из комнаты. Смех мгновенно погас, и Валентина нахмурилась.

— Позвольте мне списать ваши стихи, — обращаясь к ней, сказал я.

— Зачем они вам?

— Так, на память!

— Можете списывать здесь... пока мы гуляем... — сдержанно сказала Валентина.

Все встали и ушли.

Я, конечно, не стал списывать стихов, но рядом с ними написал экспромт в шуточном тоне. Стихи мне удались и должны были произвести впечатление.

Вечером мы с Платоном отправились в клуб. Вернулись рано утром, когда чирикали птицы, на траве сверкала роса, над городком и рекой поднималось солнце.

Войдя потихоньку в комнату, я невольно вздрогнул и стал протирать глаза: на столе лежал мертвый студент в студенческом мундире, со скрещенными на груди руками, вытянувшийся и покрытый покрывалом.

Вслед за мной вошла Катерина, вся в черном, с красными от слез глазами, тихая, сумрачная.

— Вы извините, — вполголоса сказала она, почти не глядя на меня, — его перенесли сюда, чтобы убрать в той комнате. Он умер ночью! А вы уж пока поспите в прихожей — вам там приготовили.

Вполне равнодушный к смерти вообще и к давно ожидаемой смерти студента в частности, я тотчас же спокойно заснул.

Проснулся поздним утром от похоронного пения: церковный хор пел панихиду. На другой день гроб юноши, обвитый живыми цветами, несли на кладбище, по старому украинскому обычаю, одни только девушки, все в белых платьях и цветах.

Было прелестное тихое утро. Солнце сияло, сады цвели. Студента зарыли на живописном зеленом кладбище. Старые деревья, одетые нежной весенней листвой, со всех сторон осенили свежую могилу.

Могильный холм сейчас же одели дерном и покрыли массой живых, еще влажных цветов. Кругом тесным кольцом стояла толпа и напряженно молчала.

В это время к могиле приблизилась Валентина, бледная, как смерть, опустилась на колени, отчаянным жестом взломила руки и с размаху упала на могилу вниз лицом.

Бедная девочка! бог, в которого она так по-детски верила, не принял ее молитвы, не сделал чуда.

III

Царит осенняя серебристая ночь, тихая, с полной, как бы прозрачной луной, сияющей высоко в безоблачном, матовом небе.

Маленький беленький глинобитный городок, окутанный блекнувшими садами, тихо дремлет и словно замер под волшебными волнами лунного света.

Мы с Валентиной сидим на низеньких ступеньках крыльца нашего белого, обмазанного глиной, дома. Над нашими головами висят еще не сорванные плоды старой развесистой груши. Тень от нее неподвижным узором лежит на желтеющей траве. Светло, как днем: прелестное лицо Валентины при свете луны кажется мраморным.

Сегодня ночью Валентина уезжает в большой университетский город оканчивать восьмой класс гимназии. Володька уехал в Курск кончать гимназию, Елизавета — в Киев. Катерина вздохнула полной грудью: тяжело ей было ходить по одной половичке, ухаживать и почти трепетать перед богатой сестрой в то время, когда около Катерины, почти не скрывая своих чувств, вздыхает мой друг Платон, влюбившийся не в красавицу — Валентину, а в ее мать, которая лет на пятнадцать старше его. Бывают же такие странные сочетания, когда капризная природа толкает мальчика в объятия стареющей женщины. Никогда не бывает добра от такого неестественного союза, всегда кончающегося драмой к тому времени, когда мальчик обращается в мужчину, а женщина отцветает последним, прощальным цветом солнечной осени. Но иногда такая осень привлекает сильнее, чем ранняя весна.

Володька считает Валентину почти своей невестой,

но ревнует ко всем: должно быть, не уверен в прочности ее чувства: ему — двадцать, ей — девятнадцать,— ребяческая любовь... Кажется, что Катерина непрочь пристроить дочь поскорее, тотчас же по окончании ею курса гимназии, а сама, вероятно, сойдется с Платоном: ей и горя мало, что у Володьки скоротечная чахотка и он через год может сойти в могилу, зато ему принадлежит дом, в котором мы все живем, и, кажется, в банке положены наследственные небольшие деньжонки. С ее точки зрения, Володька подходящий жених, не со мной же сравнить.

Я как-то им всем продекламировал из Шекспира: «Дурак тот, кто волка прикармливает, кто верит любви мальчика и клятве женщины!»

— Волк — это ты! — за всех ответил Платон.

Мне кажется, что никто из них не понимает, что Валентина не просто хорошенькая гимназистка, а исключительная красавица, что ее античная красота достойна столь же исключительной судьбы, такая красота достойна любви великого художника или поэта. Я хотел бы ее вырвать из этого жалкого захолустья, поднять высоко над толпой, окружить ореолом всеобщего поклонения. Как жаль, что сам я еще только безвестный поэт!

Наконец, я говорю с ней наедине, никто не мешает. Валентина молча слушает меня, опустив длинные черные ресницы. Я начал говорить о природе, о любви и о красоте вообще. Говорил битый час, а речь моя еще только разгоралась, странно воодушевляя меня пылким чувством, которого, как я думал, не замечает Валентина.

Ведь не только весна была хороша в Грае с ее нежною зеленью садов и лугов, с кудрявым лесом на горизонте, за изгибами серебряной, всегда зеркальной реки, с весенними теплыми ночами, с хорами громких соловьев, не только залитое солнцем лето было благодатно в этом дивном уголке Украины, куда судьба забросила меня: еще более прекрасна здесь пышная, красочная золотая осень. Как сказочная царица в золотом кокошнике, в разноцветной парче, в жемчугах и рубинах, в алмазах осенних звезд, в холодном серебре лун-

ных ночей, в малиновом бархате августовских зорь шествует она! В ярких и нежных нарядах золотых, багровых и алых красок блекнущих листьев, в прозрачной дымке синеющих далей торжественно входит осень в узорчатый, стрельчатый замок осеннего леса, улыбается нежной улыбкой, озаряет мир туманным, подернутым тихой грустью, прощально-любящим взглядом. С необыкновенным, необъяснимым воодушевлением говорил я Валентине о природе, и слушала она, вся насторожившись, как слушают любовные песни.

О, это прощальное осеннее солнце, как последний поцелуй путника, неизбежно уходящего от всего, что так любит горячее пылкое сердце! А эти падающие осенние звезды, как алмазные слезы, катящиеся в безмолвную пустоту холодных осенних ночей! Слишком рано приходишь ты, преждевременная осень, когда все в природе полно сил, расцвета и жажды жизни... «Люблю!» — говорит зеркальная речка, прильнувшая к зеленым берегам. «Люблю!» — отвечает ей далекий, тихо вздыхающий лес, а одинокая сосна, как свеча, горит под лунным светом и словно молит о чем-то безжалостное небо.

Слишком рано, не во-время явилась ты, первая, внезапная и страстная любовь, на моем одиноком пути! Я должен пробить себе дорогу к жизни, а не станет ведь Валентина ждать моих будущих успехов. За меня моя молодость, смелость, энергия! Если же и не повезет ни в чем, все-таки хочу видеть ее, любить, скрывая от нее любовь мою, только бы дышать подле нее, гореть перед ней, быть хоть ненадолго ее рыцарем, ее певцом!

— Вы никогда не служили на сцене? — спросила Валентина с легкой иронией в голосе.

— Никогда, но, возможно, что поступлю когда-нибудь и на сцену.

— Возможно! — согласилась она. — А какое прелестное стихотворение написали вы самовольно в моем альбоме!

— Разве?

— Да!.. Даже маме нравится, но только жаль, что в шутливом тоне! Напишите мне когда-нибудь серьез-

ные стихи! Хоть вы и забубенная головушка, но, право, как-то жалко с вами расставаться, привыкла к вашей болтовне.

— Благодарю вас! Когда вы уедете, я напишу вам письмо в стихах...

Валентина встрепенулась.

— Серьезно? Напишите, буду ждать!.. но только такое, чтобы я не рассердилась. Про вас говорят, что вы политический, чуть ли не ссыльный, но я никогда не слыхала от вас ничего серьезного.

— Согласитесь, что иногда бывает глупо говорить что-нибудь умное.

Валентина подняла на меня свои чудесные карие глаза с длинными изогнутыми ресницами.

К воротам подъехала бричка.

— Валентина! — послышался из комнаты голос Катерины. — Где ты пропадаешь? Лошади поданы!

— Ну, прощайте! — сказала девушка, вставая. — Пора ехать! Смотрите же, напишите мне обещанное письмо! Должно быть, вы действительно поэт!

В октябре опять открылась сессия земских собраний. Опять мы деятельно готовились к ним, писали доклады. Речь для председателя по народному образованию на этот раз написал Виктор. Она была написана серьезнее и обстоятельнее, чем мой прошлогодний доклад, но в ней не было литературного блеска, тех беллетристических достоинств, агитационного пыла, той увлекательности, которыми «жгла сердца людей» моя прошлогодняя статья, спасшая тогда наше положение.

Атаманов написал обзор по сельскому хозяйству, а мне пришлось писать доклад по медицине. Тема не захватила меня. Лень было писать в том настроении безразличия, в котором мы все находились: все мы знали, что наша судьба предрешена.

Дворянская партия на этот раз действовала еще более сплоченно, чем в прошлом году, не останавливались перед подкупом, угрозами и интригами самого бесчестного свойства. Были провалены все подготовленные нами сметы на предстоящий год, в том числе и смета

по народному образованию: предстояло сплошное закрытие всех сельских школ в уезде — якобы за недостатком средств.

Лидер дворянской партии, помещик Кайленский, человек средних лет, но совершенно лысый, с блестящим, как биллиардный шар, черепом, во фраке, с выпяченной крахмальной грудью, выступал с наглыми черносотенными речами, доказывая развращающее влияние грамотности и политический вред сельских школ. Он грозил гибелью России и неизбежностью революции, если земские школы не будут закрыты, а на их месте не возникнут школы церковные, с духовенством в роли учителей.

Тогда Кайленский, метивший в председатели управы, начал громить состав ее членов, упомянув, что в недрах ее скрываются «неблагонамеренные лица», сеющие смуту и толкающие народ в пропасть революции.

Эта речь вызвала взволнованный гул всего собрания и посторонней публики, битком набившейся в тесный зал управы.

Под тревожный шум постыдного и неслыханного скандала на кафедру поднялся Борщов, решившийся говорить экспромтом.

Страшно было смотреть на этого толстяка, побагровевшего от гнева, с трясущимися губами, с перекошенным лицом.

— Мне приходится доказывать безвредность народного образования, — закричал он. — Вы думаете, что если народ наш сделается культурным народом, то произойдет революция! Но не будет ли хуже, если время для нее все-таки придет и вместо революции вспыхнет русский бунт, бессмысленный и беспощадный, о чем в свое время предупреждал еще наших отцов Пушкин. Тогда поневоле придется итти на уступки, но будет поздно. Поймите же, что только народное образование и подъем культурности в нашей стране может спасти Россию от грозящих ей бед. Но вы сами закоснели в умственной тьме... Опомнитесь, поймите, наконец, что̀ вы делаете! Вы губите себя!

Вдруг, схватившись за сердце, он повалился и упал навзничь.

В зале началась паника.

Огромное бесчувственное тело нашего председателя мы на руках вынесли в соседнюю комнату, положили на диван. Половина его страшного лица почернела.

Из зала явилось сразу несколько докторов, присутствовавших на собрании.

Констатировали смерть от апоплектического удара.

Его заместителем на следующем собрании был временно избран Кайленский. Гроб с телом Борщова отправлен в Курск, а собрания продолжаются. Никто не сомневается, что весь состав Управы будет сменен.

Виктор и Атаманов телеграфировали кому-то в Петербург и в ожидании ответа пока все еще остаются на своих местах.

Однажды Виктор, идя со мной вместе из Управы, сказал, обычно посмеиваясь:

— Вот что, баритон ты мой прекрасный: мы-то с Атамановым двинемся в Питер, а тебе тут нечего ждать, пока арестуют; уезжай подобру-поздорову куда попало, у тебя ведь ни жены, ни детей: трам-бам-були отцов наследство, да и был таков, а там видно будет, может быть, и тебя в Питер выпишем.

Я немедленно подал заявление об увольнении, получил причитающиеся мне деньжонки и немедленно уехал в ближайший университетский город, где у меня ни одной знакомой души и где я хочу устроиться, надеясь только на свои собственные силы. Уже месяц прошел, как уехала туда Валентина. Послал ей письмо в стихах и надеюсь с ней увидеться в новой обстановке.

— А сознайся, что ты едешь очертя голову, на-ура? — ухмыляясь, говорит Платон.

— И зачем вы едете? — говорит Катерина.

— Меня влечет мой жалкий жребий, — декламирую я. — Ведь все равно всем нам выгонка предстоит!

В течение летних месяцев Платон ухитрился объясниться Катерине в своей любви, встретил взаимность, и роман этот закончится свадьбой или просто сожительством. Дочь заметила их отношения и, уезжая, поняла, что у нее нет больше родного угла подле матери.

Я собираю мои тощие пожитки и громко пою: «Плыви, мой челн»!

У крыльца позвякивают бубенчики почтовой тройки: мне придется ехать на лошадях до станции железной дороги.

За всеми уплатами, денег у меня остается пятнадцать рублей. На первые дни по приезде хватит, а потом не пропаду же в мои двадцать пять лет, с головой, наполненной надеждами, мечтами и планами, с душой, жаждущей приключений, с пылким сердцем, очарованным любовью!..

— Любуйтесь на меня в последний раз! — шутливо говорю я Платону и Катерине. — Больше вы меня никогда не увидите!

— Куда едешь, чудак? — увещевает Платон.

— Искать славы! — отвечаю я.

— Непоседа! Чудной! — говорит Катерина, когда я сажусь в повозку

— Прощайте! Не поминайте лихом!

Ямщик подобрал вожжи, свистнул, тройка рванула с места, засмеялись бубенчики. Мелькают мимо белые хаты, окутанные золотой листвой желтеющих деревьев, белая церковь среди пустынной площади, старый, брошенный лапоть, валяющийся около дороги, аптека, мост через трясину, а вот и околица.

У околицы, весь освещенный красными лучами заката, сидит слепой бандурист с украинской «лирой» на коленях и, перебирая заскорузлой рукой старые клавиши первобытного инструмента, играет печальный, ноющий мотив. Это крупный, стройный старик, у него седые, висящие, длинные усы и красивое загорелое, цвета бронзы, характерное лицо. Мимо тянутся арбы возвращающихся с ярмарки по деревням. Мужики все под хмельком, идут за возами рядом с «жинками», а жинки в национальных «спидницах», «опасках», «чоботах» и «свитках» ругают мужей звонкими голосами.

«Лира» поет своими дрожащими, заунывными звуками, изредка медные гроши звякают в деревянную чашу слепца, а заходящее солнце освещает блекнущими, темнокрасными лучами его бронзовое, поро-

дистое, «запорожское» лицо, красивую «лиру» с черными клавишами, околицу и тихий город Грай, окутанный садами с опадающими желтыми листьями.

Я бросаю мою мелочь лирнику и в последний раз оглядываюсь назад. Прощай навсегда, прелестный уголок, никогда уже не вернусь к тебе.

Бубенчики пляшут и смеются. Вечернее небо темнеет. Ямщик покрикивает на лошадей, и опять бежит передо мной однообразная степная дорога...



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Я стоял у окна маленького номера в четвертом этаже огромной гостиницы на главной улице. С высоты птичьего полета смотрел на красивый шумный город, и мне были видны только влажные от дождя железные кровли. Внизу, по асфальтовой мостовой, нескончаемой вереницей неслись экипажи, а по широким тротуарам мимо зеркальных окон магазинов озабоченно бежала суетливая городская толпа: сверху видны были только шляпы да шапки и носки сапог из-под них, а люди казались головастиками, смешными уродцами.

Серые тучи заволокли все небо, брызгали мелким осенним дождем. Ветер шумел, качал ветвями деревьев. В воздухе медленно и грустно крутились мокрые, золотые листья.

— Поборемся! Поборемся! — почти вслух говорил я городу. — Посмотрим, чья возьмет! А, ты обходишься без меня, ты даже не подозреваешь о моем существовании, ты думаешь, что меня и быть не должно? Погоди же!

Я бросал вызов ему, уверен был в победе, а он и не знал об этом, — продолжал гудеть и рокотать там, внизу, подо мной.

Жаль, что у меня нет здесь ни одного человека знакомого, кроме Валентины, которая учится теперь в восьмом классе гимназии и живет на хлебах, на

Патриархальной улице, № 10: вспомнит ли она здесь, в большом городе, наше знакомство в уездном городке, лунные ночи, пение курских соловьев, мои стихи и романсы? Можно будет иногда заходить вечерком к ней, отвести душу.

Оделся и вышел из гостиницы.

Дождь усиливался. Из водосточных труб так и хлестало. По влажному тротуару, как и прежде, бежали, толкаясь, прохожие.

Долго шел под дождем на Патриархальную; по каменной лестнице поднялся на возвышенную часть города и оттуда еще раз оглянулся вниз на шикарную главную улицу. Город кипел. После идиллической тишины Грая шум этот оглушал, волновал меня. Нервы, как струны, натягивались на высокий строй, и я чувствовал, что во мне пробуждаются новые силы. Да, я хочу борьбы и опасностей. Никогда еще не было у меня столько энергии. Это хмурое небо, покрытое тучами, и каменный город, готовый, как слепое чудовище, раздавить меня, полны беспощадной угрозы, но сердце бьется почему-то радостно... Жить!.. Жить!.. И вот я на Патриархальной.

Тихо, безлюдно, деревянные заборы, старые деревья, выглядывающие из-за них. Золотые широкие листья медленно падают на дощатый тротуар. Какой уютный, живописный провинциальный уголок! В этом квартале нет мостовой, оттого и тихо. Шум города словно скрылся куда-то и чуть слышно доносится издалека.

А вот и дом № 10, где живет Валентина.

Деревянный, серый, старый, с большими окнами, одноэтажный. День смеркается, в окнах светится радушный огонек.

Я пошел по деревянной лестнице в прихожую. Шляпа и пальто на мне насквозь промокли от дождя, галоши тоже. С меня на пол струится дождевая вода.

Горничную, открывшую дверь, я спросил, дома ли Валентина, и назвал себя.

Послышались легкие женские шаги, в прихожую вышла она.

Сердце мое забилось сильнее. Ее стройная милая

фигура в темнокоричневом гимназическом платье, пышные, густые волосы цвета воронова крыла отчетливо вырезывались на золотистом фоне открытой двери в зал, где ярко горела висячая лампа. Комнаты были тепло натоплены.

По лицу моему струились дождь и пот. Я снял мокрую шляпу и успел снять одну галошу.

— Извините! — безжалостно сказала мне Валентина. — Я не могу принять вас!

Это был как бы удар по лицу. Я вспыхнул и смутился.

— Извините! — повторил я за ней. — Я, собственно, зашел мимоходом, от нечего делать... по просьбе вашей матери... До свиданья!

Я торопился поскорее надеть преждевременно снятую галошу, но она вся размокла и долго не надевалась. Щеки мои горели от стыда и пота, от жары в прихожей, от обиды.

Я опять на улице, под дождем. Шагаю через грязь с крепко стиснутыми зубами и временами рычу, как собака: меня душит гнев не столько на Валентину, сколько на самого себя. Зачем я побежал к ней тотчас же как только приехал? И почему она выгнала меня? Может быть, потому, что я без места, что я в ее глазах бродяга, неудачник, который неизвестно чем кончит? А может быть, по каким-нибудь предрассудкам молоденькой, глупой девчонки, чтобы не привлекать внимание своих сожительниц-подруг, не вызывать их насмешек. Может быть, за ней существует еще надзор «мадам», у которой она живет, как пансионерка? Мне-то какое дело? Возможно, что она просто боится знакомства с людьми, политически неблагонадежными. Ясно одно, что она не желает продолжать знакомства со мной. Да и то сказать: ведь она писаная красавица, и чтобы заслужить ее внимание, надо оказаться победителем в жизни, иметь успех в жизненной борьбе, показать себя, а я, еще ничего не сделав, прежде всего побежал за пустой смазливой девчонкой, как будто в самом деле мне теперь до этого.

Я шел, злился и ругал себя.

А над городом уже спустилась темная, беззвездная ночь. Он теперь казался черной бездной, в которой были рассыпаны тысячи коварных огней.

Университетский город жил шумной жизнью. По главной улице нескончаемой вереницей неслись экипажи, а по широким асфальтовым тротуарам, мимо роскошных витрин магазинов, бежала суетливая, пестрая толпа; мелькали разноцветные женские шляпки, то и дело попадались студенты, франты в цветных модных пальто, лайковых перчатках и среди них мелькало чье-нибудь бесцветное лицо в полинявшем картузе или измятой шляпе, в потрепанном, порыжелом костюме.

Весь город со своими громадными зданиями, монастырями и церквами блестел, залитый лучами осеннего, но еще теплого южного солнца.

Деньги мои кончились. Из гостиницы я «выехал», поместив мой чемодан на вокзале в камере хранения, ночевал тоже на вокзале, шатаясь днем по городу без денег, без крова, не имея ни одной знакомой души и готовый взяться за какое угодно дело.

Я стоял у перил моста через узенькую речку, пересекавшую город, и смотрел в воду. Голод давал себя чувствовать; во рту пересохло, поташнивало, и мысль о еде то и дело приходила в голову. Нечего есть и негде ночевать. С завистью взглянул я на бегущую нарядную толпу, на мчавшиеся коляски на резиновых шинах, на мелькавшие хорошенькие женские лица, и мне страстно хотелось завладеть теми жизненными благами, которыми, как мне казалось, владела городская толпа.

Холодная вечерняя вода осенней реки внушала мне отвращение, и я отошел от перил. Быстро шагая по тротуару, часто задевая плечом за встречных прохожих, дошел до внушительного здания оперного театра и остановился перед его подъездом, потом решительно поднялся по широким ступенькам величественной парадной лестницы и отворил тяжелую дверь.

По коридорам, полутемным днем, изредка проходили какие-то люди, а где-то далеко слышались приглушенные звуки оркестра и густое, сильное пение хора.

Встречавшиеся люди не обращали на меня внимания. Тогда я приподнял мою измятую широкополую шляпу:

— Позвольте вас спросить...

Мой звучный голос не соответствовал моей робкой фигуре.

Незнакомцы, разговаривавшие между собой, сразу остановились и взглянули на меня с недоумением.

— Мне нужно видеть директора театра!

— Директора? Обратитесь в контору. Спросите управляющего. Направо по коридору.

Я вошел в контору.

— Он в балетной зале! — сказали мне какие-то люди, осматривая меня с неизменным недоумением.

Балетную залу наполнял целый рой красавиц в балетных костюмах с голыми плечами в коротеньких оттопыренных кисейных юбочках и розовых трико.

В ожидании танцев они расхаживали по обширной комнате с паркетным полом, но почти без мебели, с роялем в углу, щебетали, изредка по привычке кружась и выделывая «па».

«Управляющим» оказался стройный, высокий красавец с черной подстриженной по моде бородкой и закрученными кверху усами. Лицо его было умное, живое, энергичное, с ясным выражением легкомыслия и фатовства: видно было, что он избалован женщинами и любит их. Беспечный и веселый характер сказывался во всех его манерах.

— По какому делу вам нужен директор?

— Желаю поступить в оперный хор!

— О, если вам для этого нужно директора, то не трудитесь, — с тонкой усмешкой возразил он, — я за него могу сказать вам, что в хор поступить осенью, когда он уже сформирован и все вакансии заняты, нет никакой возможности; хор у нас составляется за три месяца до начала сезона.

Он подумал и, еще раз осмотрев мою фигуру, спросил:

— Вы безработный?

— Да.

— Единственно, что можно для вас сделать, — это записать вас кандидатом с правом получать контрамарки на спектакли.

Любопытные красавицы во все время разговора рассматривали меня, как существо из чуждого для них мира, как сказочные феи, удивленно и насмешливо прикладывая розовые пальчики к подкрашенным губам.

Управляющий записал мою фамилию в карманную книжку, я поблагодарил, раскланялся и вышел.

Шел долго, пока не попал на второстепенные улицы, где было меньше движения. Тянулись скверы, бульвары, осененные прямыми, стройными тополями. На пустынной площади возвышалось дощатое здание цирка, приспособленное к театральным представлениям. У дверей были наклеены опереточные афиши.

Навстречу мне из дверей выходили неопределенного типа люди, оживленно разговаривавшие звучными голосами.

— Ну, и народ нынче пошел! Вчера только свистнули, что хористов нужно, а уж их навалило до чорта!

— Цену сбили на пустяк!

— Что, уже набрали? — спросил я.

— Нет еще, голоса пробуют. Сопран набрали, теперь до басов дошли.

Я полез по крутой, узкой лестнице наверх, откуда слышались аккорды пианино.

Небольшую дощатую комнату, служившую, повидимому, гримировальной для актеров, чуть не битком наполняли люди, желавшие поступить в хористы и хористки труппы; были прилично одетые молодые люди, хорошенькие девушки, были люди, напоминавшие рабочих.

За пианино сидел весьма важный субъект, по типу несколько походивший на оперного «управляющего», с такой же подстриженной черной бородкой. Перед ним стоял, вытянувшись, как солдат, небольшого

роста худенький рябоватый человек, судя по физиономии и мозолистым рукам — из рабочих.

— Это кровельщик! — ревниво шептались о нем в углу. — На Москалевке в церкви поет первым басом, а здесь хочет вторым тенором прикинуться!

— А-а-а!

Звенел красивый баритон.

Аккорды все повышались по гамме, и кровельщик долго тянул каждую ноту, а музыкант, склонив голову, вслушивался в голос, словно желая оценить добротность покупаемого им материала. Певец прошел весь басовой регистр и вступил в область теноровых нот. Шея у него покраснела от натуги.

— Вот хлын! Басов не надо, так он в тенора! Неужто верхнее «соль» возьмет?

Кровельщик изо всех сил укрепился на страшно высокой для него ноте и прочно взял ее. Было страшно за него, что он оборвется, но певец не оборвался, а только побагровел и вспотел. Его приняли за двадцать рублей в месяц во вторые тенора.

Тут подошел я.

— Я бы желал...

Но при первых же звуках моего голоса приемщик быстро перебил:

— Басы и баритоны набраны! Восемь человек основ-вательных!

И он потряс кулаком, поясняя жестом силу набранных им голосов.

— Да вы попробуйте!

— И пробовать не стану, хотя бы у вас лучше всех оказался голос. Вот теноров хороших — нужно! Хоть бы двоих нотных и сильных теноров!

Я отошел в сторону. Началась «проба» теноров.

Послушав немного, ушел, снедаемый завистью к хитрому кровельщику, сумевшему «прикинуться» тенором.

Долго я шел к центру города. Наконец, отворил тяжелую дверь «управления железной дороги».

— Мне нужно в стол прошений!

— Вон туда идите! — нехотя указал знакомый мне уже швейцар на соседнюю комнату.

Там за большим письменным столом пожилой человек копался в бумагах.

— Позвольте узнать о моем прошении.

— Фамилия? Когда подано?

Он порылся в бумагах и с любезной улыбкой галантно возвратил мне мое прошение.

— Вам отказано! Вакансия есть, но вы не подходите: вы не приложили документов о вашем образовании.

Я усмехнулся.

Сунул прошение в карман и снова очутился на улице.

Побывал еще в нескольких канцеляриях, куда были поданы мои прошения, и все их мне возвратили под различными предлогами.

Осенний день смеркался. Кое-где засветились электрические огни. Я устал от ходьбы и чувствовал слабость во всем теле. С утра еще ничего не ел. Голод мучил меня. Я готов был глодать древесную кору на уличных деревьях. Хоть бы ломтик черного хлеба. Ба! Ведь можно продать жилет: зачем он мне, когда на дворе еще не холодно, а сверху на мне пиджак, пальто? Я выгляжу еще довольно приличным человеком. Когда совсем стемнело, я выбрал самую скверную мелочную лавочку и зашел туда. Лавочница стояла за прилавком. Покупателей не было.

— Не можете ли вы купить у меня жилет?

Вероятно, я был не первый, обратившийся к ней с таким вопросом.

Она только ответила:

— Покажите!

Я распахнулся и показал жилет.

— Двадцать копеек дам! — сказала она, мельком взглянув на жилет, и бросила на прилавок серебряную монету.

Я не стал торговаться. Снял жилет, отдал ей. У нее же купил два фунта черного хлеба и тут же в лавочке начал есть его с необычайной жадностью. Впрочем, половину краюхи я засунул в карман. С закушенным ломтем вышел из лавочки, медленно и с наслаждением пережевывая ржаной хлеб, казавшийся мне таким вкусным, как никогда.

Осенняя ночь давно уже спустилась над шумным городом. Вдоль темных улиц золотыми цепочками блестели фонарные огни. Город, объятый черной ночью, казался бездной, на дне которой что-то глухо рокотало. По черному полю в беспорядке рассыпались золотистые точки огней.

Мощной, стихийной силой веяло от этой картины.

Оперный и драматический театры засветились ярким электрическим светом: там были блеск, роскошь, наслаждение.

Бесцельно блуждал я, бесприютный, по городу. Каменная лестница завела меня на площадку, обсаженную кустами сирени. Это была небольшая аллея, называвшаяся «университетской горкой». Днем здесь на скамейках постоянно сидели прохожие, ночью же не было никого, и она не освещалась ни одним фонарем.

Долго смотрел с «горки» на гудевший внизу у ног моих город, залитый морем огней. Бессердечный каменный город казался теперь грозным чудовищем. От усталости и голода хотелось спать, и я искал себе «места» для сна, чтобы не быть замеченным и потревоженным ночными сторожами.

В конце аллеи у глухой стены раздвинул два обнявшихся куста и приютился под их ветвями, свернувшись калачиком, положив под голову свою шляпу, надетую на кулак.

Заснул тотчас же, и мне снились богатство, слава, вкусный обед и теплая постель.

Я распродал все мои «лишние» вещи, дал задаток квартирной хозяйке и вот уже две недели, как живу в чердачной комнате, в мезонинчике большого дома, наполненного жильцами. Сначала жил внизу, но хозяйка перевела меня сюда, потому что я ей задолжал и продолжаю жить в долг в надежде на заработок, которого до сих пор не нашел. Она не отвечает на мои поклоны. Взрослые дочери ее относятся ко мне иронически. Вместо обеда присылают объедки,

да и то не каждый день. Наконец, перестали топить комнату: меня вымораживают.

Целые дни я шагаю по городу уже без галош, в обтрепанных брюках. Ходил даже по объявлению, где нуждались в домашнем чтеце больному, оставил свой адрес в целой тетради адресов: обещали за мной прислать, если выбор падет на меня, да так и не прислали. Я выбивался из сил, начиная терять веру в себя и всякое терпенье. По вечерам ходил иногда в оперу, куда меня пускали даром, как безработного певца. Ложась спать без ужина, голодный, в нетопленной комнате чердака, я иногда сознавал ужас своего положения.

Однажды в первом часу ночи я вернулся из театра в проливной дождь. Пальто мое намокло, а ворота оказались запертыми. Долго думал, стоя под дождем у ворот, как мне проникнуть в мое жилище: звонка не было, а на удары кулаком в ворота никто не выходил. Я было полез через ворота, но не смог перелезть. Осталось одно: проползти в подворотню. Как раз под воротами стояла большая дождевая лужа. Попробовал — в пальто не пролезешь. Снял его, свернул и просунул в лужу, затем погрузился в нее и сам. Грязь лила с меня ручьями, когда я вошел в мою нетопленную, холодную комнату. Лег поскорее в постель, чтобы согреться и заснуть, но это не удалось; за тонкой стеной слышались громкие, молодые голоса только что поселившихся студентов, звон гитары, дружный смех, пение и пляска: вероятно, справляли «новоселье».

Какой-то пьяный трескучий бас орал во все горло:

Н-на зем-ле... весь род людской!..

А в это время кто-то другой энергично терзал струны гитары и припевал тенорком, притопывая ногой:

Утики, утики!
Венчалися кулики,
Яко масленники!

— Не так поешь! — остановил кто-то баса. — Ты пой так, чтобы хохот был, а у тебя совсем нет хохота!

— Могу и с хохотом!

Н-на з-зем-мле!..

— Андрюша! русскую! с подходцем!..

Гитарист ударил «Камаринского».

Комната затряслась от пляски, а пьяный бас не умолкал:

Н-на зем-ле... весь род людской!..

Встал, оделся, зажег свечу, в пальто и шапке сел за стол. Спать нечего и думать. Книг — никаких. Есть только перо, чернила и бумага. Стихи хоть, что ли, написать. Но как орет этот несомненно пьяный бас. Из всех щелей дует холодный ветер. Комната выглядит безотрадно: голые стены, низкий, гробообразный потолок, убогая постель. Тускло мигает огарок свечи.

Печальные мысли, как туман, обнимают меня. Мне чудится, будто кто-то темный стоит за моими плечами, облокотился на спинку стула и, кивая на меня, беззвучно, язвительно смеется.

А вы, стихи мои, однообразные созданья тоскующего сердца, вы, знаю я, не хороши — никогда вы не увидите света! Будете лежать на полке, покрытые пылью, никому не интересные и даже автором забытые в суете жизни! Огонь ваш истлеет бесследно, а остывший пепел развеет ветер...

Бедная моя крошка, моя маленькая муза! Никогда я не думал выводить тебя напоказ, на позорище людям! Будем ли мы с тобой снова плакаться на судьбу, да на жестокость людскую? Нет!.. Лучше напишем веселый рассказ! Посмеемся над людьми и собой, над всею жизнью, по крайней мере, весело проведем этот вечер!.. Вот за стеной поют и пляшут, хозяйка вымораживает неплательщиков-квартирантов, заперла ворота, а мы с тобой через лужу грязи в подворотню пролезли и поднялись к небесам, на чердак, в высокую область вдохновения!.. Баста! Есть веселый, забавный рассказ о собственных наших мытарствах с тобой!.. Давай сейчас от нечего делать, с голоду, с холоду и от невозможности спать — напишем его!

А потом — чем чорт не шутит — отнесем рассказ в редакцию газеты. Там, конечно, его не примут, даже не прочтут, но ведь больше ничего не осталось нам делать: все испробовано, исчерпано, не умирать же с голоду, покорно опустив руки? Ухватимся, как утопающий, за соломинку и, без надежды на удачу, все-таки будем бороться до конца! Ведь если бы меня приняли хоть в конюхи, я бы, может быть, писал для себя, но никогда не пошел бы в редакцию, — так мы еще скромны с тобою, муза! Но меня нигде не приняли, я везде оказался лишним! Кто знает? Может быть, в этом есть указание судьбы? Уж не готовит ли она меня к тому, чтобы я сделался фельетонистом или даже сочинителем бульварных романов?

В пальто и шляпе, посинелый от холода, сижу на чердаке и пишу окоченелой рукой веселый рассказ. Забавная тема увлекает меня, я перечитываю написанную страницу и сам хохочу над вымыслом моим.

А за стеной все еще шумят, звенит гитара, и неумолкаемый трескучий бас по временам пускает громозвучную ноту:

Н-на земле... весь род людской!..

Утром пошел в редакцию богатой газеты умеренного направления. Другой газеты в городе не было, да и что мне до направления? Я не писатель, а бесприютный бродяга, умирающий с голоду на чердаке, а мой рассказ не имеет никакого направления и уж, конечно, не будет напечатан.

За длинным столом, отделенным от публики решеткой, как в клетке, сидело и скребло перьями несколько конторщиков.

Высокие двери с надписью «редактор» вели в соседнюю комнату, куда я было направился, но меня остановили.

— Вы по какому делу?

— Передать рукопись.

— Подождите!

Конторщик на цыпочках понес мою рукопись в соседнюю комнату.

Хорошо живется газетным конторщикам! Пиджаки на них новые, воротники чистые, на пальцах перстни, а на лицах сытое спокойствие. Они получают жалованье и не думают о завтрашнем дне. В редакции тепло, чисто, много света...

Через полчаса из большой комнаты вышел очень приличный молодой человек с моей рукописью в руках.

— Это ваша рукопись?

— Моя.

— Перевод или оригинальное?

— Оригинальное.

— Гм! Сейчас нет редактора, он уехал недели на две. Мы оставим вашу рукопись, а вы зайдите недельки через три!

Я был удивлен, что рукопись мою не сейчас возвратили, а оставили до приезда редактора. Но у меня уже был горький опыт, я хорошо понимал значение фразы «приходите недельки через три».

Угрюмо поклонился и молча вышел. Зеленый попугай, висевший в клетке над лестницей, вдруг захохотал раскатистым, генеральским смехом.

В одно солнечное зимнее утро, когда окно моего чердака было густо расписано фантастическими рисунками мороза, мой сосед, еще ворочавшийся в постели и шелестевший газетой, вдруг захохотал своим трескучим басом.

— Что ты? — тенором спросил его товарищ.

— Какой-то чорт здорово написал сегодня фельетон! Хо-хо-хо! Что-то, брат, на нас с тобой похоже, из студенческой жизни, холодный чердак и хозяйка вроде нашей!..

Бас громко начал читать бойко написанный смешной рассказ, в котором мне послышалось что-то знакомое, как будто я когда-то уже читал его. Чтение ежеминутно прерывалось взрывами дружного смеха читателей.

Вдруг я вскочил как ужаленный: да ведь это «мой» рассказ, о котором я давно позабыл, уверенный, что

его не примут, не прочтут в редакции, а просто бросят в корзину...

Не дослушав чтения, я второпях надел пальто, шапку и выбежал из квартиры.

«Напечатали! напечатали! — назойливо кричит кто-то в моих ушах. Сердце страшно бьется, нервная дрожь заставляет трепетать все мое тело. — Напечатали рассказ, написанный на чердаке! Кто написал? Человек, которого не хотят принять никуда, ни на какой труд! Нет! это ошибка, это кто-нибудь другой написал рассказ, похожий на мой! Разве я помню, что тогда писал? У меня бред был!.. Надо мной опять насмеются в редакции — попугай и конторщики!.. Глупая шутка!.. Они издеваются, ждут меня и заранее хохочут!»

Вхожу в редакцию; там все попрежнему. За решеткой сидят люди, пишут. У них серьезные лица. Они смотрят на меня равнодушно, как будто не видали меня никогда.

Я долго, сбивчиво говорю им о напечатанном сегодня рассказе. Уверяю их, что это мой рассказ. Прошу их справиться, потому что возможно недоразумение, какая-нибудь ошибка, я извиняюсь...

Они не смеются! Берут газету, линейкой считают строки и выдают мне деньги...

Выходит молодой человек, просивший меня «зайти недельки через три»; он улыбается и, как знакомому, подает мне руку.

— Напечатали! — говорит он. — Ваш рассказ всем нам понравился. Он написан так ярко, что является опасение, не взято ли откуда-нибудь.

— Нет! Ни откуда не взято.

— Тем лучше! Вероятно, вы списали с натуры, оттого и вышло так живо. Редактор просит вас приносить еще, если напишется. Напечатаем.

Он дружески пожимает мне руку.

Выхожу из редакции, крепко зажав деньги в кулаке.

Шедевр! Редактор ждет от меня новых шедевров!.. Но месяцы голода, нужды и душевных мучений сказались на моих нервах и физических силах: колени дрожат, ноги подгибаются, в глазах темнеет... Падаю

на снег у подъезда редакции, не в силах держаться на ногах, все во мне ослабело, голова закружилась, из разжавшейся руки выпали деньги.

Последним усилием воли прихожу в себя... Сияет солнечный, веселый, ярко-снежный зимний день.

Под лучами брызжущего золотого солнца всюду кругом несется ликующая, торжественно-радостная жизнь.

Я мелькаю в ней, как капля, заключающая в себе свой собственный мир маленьких радостей и страданий.

II

Я остановился у зеркальной витрины роскошного магазина на главной улице: за стеклом на подоконнике гигантского окна грудой лежали золотые часы, красовалась золотая и серебряная утварь, чашки, бокалы, кувшины, отделанные серебром и золотом, браслеты, перстни, бриллианты.

Стоял долго и любовался на эти неисчислимые художественные драгоценности, предназначенные не для меня. Мелкая крупа, падавшая с неба наподобие манны небесной, лежала на полях моей черной шляпы, намокшей от сырого снега.

Я полон жажды жизни, мечтаний об успехах и славе артиста или поэта. Новые рассказы, стихи, сказки и поэмы роятся в голове.

О, как нужны мне теперь деньги! Хоть немножко денег, чтобы иметь обед и комнату!

Как горят и сверкают эти проклятые бриллианты, золотые часы и художественная утварь. Кто-то может покупать их, кто-то, живущий в роскоши, может бросать огромные деньги на эти безделушки, между тем как никто пальцем о палец не ударит, чтобы спасти от гибели, быть может, будущий талант. На свете нет человеколюбия, и человеку вовсе несвойственна честность и нравственность, а законы, принуждающие его к этому, не более, как намордники на рыскающих в лесу волках и тиграх. Кто захватил лучший кусок, тот на остальных надевает намордник честности и

боязни, а иначе я — по праву истинной справедливости — потребовал бы себе вот этот бриллиант.

Вдруг кто-то положил руку на мое плечо. Я вздрогнул и обернулся. Передо мной стоял и, смеясь, тряс мою руку маленький широкоплечий горбун в круглой шляпе, дымчатых очках, в небольшой окладистой бороде, в котором я тотчас же узнал бывшего студента Воротынского. Когда-то жили с ним вместе на севере, состояли в подпольном кружке Виктора, но затем я потерял его из виду. В кружке Воротынский был прозван «Стариком» за окладистую бороду; под этой кличкой он был известен в подпольных кругах, где всегда имел связи. Помнится, еще играл он хорошо на скрипке.

— Свят-свят! — хихикая мелким смехом, закричал горбун. — А я было тебя за знакомого студента принял! Какими судьбами?

Мы расцеловались и пошли вместе.

«Старик» не ходил, а бегал, мелко семеня и размахивая руками, которые благодаря его телосложению как бы оставались позади него самого. Лицом он был недурен и симпатичен. Круглая черная шляпа и темные очки, бегающая походка придавали ему подозрительный вид. Никто из его знакомых не был посвящен в его таинственные дела; но от самой наружности «Старика» разило конспирацией, его искривленный позвоночник вызывал сожаление при сопоставлении с красивым лицом, а таинственность его жизни казалась суровым контрастом сравнительно с веселым, привлекательным характером.

Я был на голову выше его, шагал большими шагами, а он бежал рядом со мной, что-то рассказывал, посмеивался заливчатым тенорком.

— Служу в управлении дороги, получаю шестьдесят... Получал бы больше, да положение мое неблагонадежное: «таскают» часто. Хи-хи-хи! Вот и того! Зато насчет души жить еще можно! Народ хороший есть!.. Конечно, не то, что прежде, но все-таки из молодежи есть дельный элемент. Начну тебя сегодня знакомить... Да ты как тут? Давно ли приехал?

Я рассказал о своем положении.

— Э-э! — смеясь и качая головой, воскликнул «Старик». — Вот что: пойдем-ка со мной обедать. Я со службы обедать иду.

Скоро мы вошли во двор огромного дома. Проходя через двор, встретили молодого человека в пиджаке и студенческой фуражке, до-нельзя порыжелой, который потряс руку «Старика».

— Знакомьтесь! — благодушно сказал горбун.

— Это студент Крупицын...

Лицо Крупицына, обросшее первым мягким пушком, было свежее, очень простое, русское. Порыжелый картуз лежал на затылке, а в белых крепких зубах дымилась коротенькая трубка.

— Вы почему же студенческую форму не носите? — спросил я его, когда мы все спустились по грязной лестнице в подвальный этаж.

— Э! — добродушно и задушевно воскликнул Крупицын, сплевывая в сторону ловким плевком. — Да ведь я же служу на железной дороге, а в институт хожу только на экзамены! Наукой заниматься положительно некогда, придется наверстывать после.

— Но как же вы ухитряетесь сдавать экзамены?

— Э! Да на шермака же! — весело воскликнул Крупицын, искренне удивляясь моим вопросам.

Мы вошли в низенькое помещение.

Это была кухня. У стены стояло два стола, накрытых белыми скатертями. Около плиты хлопотали две женщины — молодая и старая, одетые по-деревенски.

Поздоровавшись с ними за руку, «Старик» сказал, показывая на меня:

— Вот вам, бабушка, новый нахлебник: он на нашей дороге будет служить...

— Ну, что ж! — прошамкала бабушка. — Милости просим; не взыщите на нас: обед у нас деревенский!

Обед, действительно, оказался жирный, обильный и тяжелый, но он как нельзя более соответствовал моему аппетиту. Я даже вспотел за обедом.

— Нужно поймать момент — и тогда ты получишь место на нашей дороге! — поучал меня «Старик», сверкая темными очками. — Вся суть в этом: поймать момент! — И, таинственно понижая голос, добавил: —

Мне известны все пружины! Ты приходи завтра вечером ко мне на квартиру, напишем докладную, я возьму ее с собой на службу, запру в ящик моего стола и, как только явится момент, сейчас — бац — и готово! Хе-хе-хе! А пока ведь ты, помнится, певец? Поступай в капеллу, я тебе дам адрес капеллана. Я и сам там когда-то хормейстером служил.

— И я таким же манером на службу попал, — говорил Крупицын, отодвигая опорожненную тарелку и снова попыхивая из коротенькой трубки. — Да все наши студиозы кто служит, кто целый день по урокам бегает. Есть такие, что несколько лет не обедали — чаем одним живут!

— Да! — подтвердил «Старик». — Много надрывается от истощения, известный процент спивается!.. Настоящего образования, в сущности, студенчество не получает, больше на шермака. Конечно, есть единицы развитых, стойких — эти вынесут что-то в жизнь, вся же масса молодежи пока еще здесь живет под влиянием среды, настроением, а как только выйдут в жизнь — все пойдут на понижение! Что поделаешь! И это будущая интеллигенция: будущие врачи, педагоги, инженеры!.. Ну, пойдем к нам, чаю попьем... Мы ведь в одной квартире живем.

Простившись с хозяйками, вышли из подвала.

Горбун и Крупицын жили в флигеле на окраине города около Университетского сада. Улица называлась Клочковской, или кратко — Клоками и была сплошь населена студентами.

Тут было совсем тихо, на сельский лад. Флигель состоял всего из двух комнат: одна выходила окнами на улицу, другая — во двор. Разделяла их прихожая с ходом в какую-то каморку. «Старик» заглянул туда и заказал самовар. Вскоре мы напились чаю, продолжая начатый за обедом разговор, и я ушел, обещав притти на другой день вечером.

Вечером завернул такой трескучий мороз, какого до этих пор не было.

Я дрожал на моем чердаке. Было так холодно, что сердце ломило. Внезапная мысль испугала меня: а что, если я замерзну, когда лягу спать? Если завтра найдут

на чердаке мой окоченелый труп? И я погибну такой жалкой смертью, так случайно, так бесславно?

Погибнут вместе со мной мои мечты, погибнет для меня прекрасный земной мир, красоту которого я так страстно чувствую, так люблю. Оборвется на задушевном стихе юная поэма моей жизни! Войдет сюда на мой одинокий чердак могучая смерть и задушит меня в своих морозных объятьях. Или в моем последнем сне она явится тихою бледною женщиной в белой одежде и, сострадательно улыбаясь, сядет подле меня на постели, будет гладить нежной рукой охладевающие колени мои, баюкать однообразной песней метели, утешать ласковой зимней сказкой!

Я вскочил, чувствуя приступы ужасной дремоты. В ушах звенело, глаза слипались. Замерзну, непременно замерзну! Что мне делать? Отсюда, очевидно, выживают! Хозяйка считает меня безнадежным квартирантом! Если я исчезну на эту ночь и заночую у товарища, эта женщина не будет беспокоиться. Да хоть бы и навсегда! Она ведь не надеется получить с меня долг. Возьму со мной мою подушку с пледом и пойду ночевать к «Старику». Правда, он звал меня завтра, но что за беда, если я приду сегодня? Теперь не так еще поздно — часов десять-одиннадцать, еще не спят!..

Завертываю подушку в плед, беру все это подмышку и спускаюсь из мезонина; лестница выходит на двор. Хотел было зайти к хозяйке, сказать, что ухожу на эту ночь, но, подумав, махнул рукой и пошел прямо за ворота.

Над каменным городом тихо плывет светлая, лунная ночь. Мороз прохватывает до костей, сухой снег искрится мелкими алмазами, и на нем неподвижно лежат синие тени домов и колоколен. Кое-где светятся красноватые огоньки, но улица совершенно пуста: ни одного пешехода!

Где-то на колокольне бьют часы. О, ужас! Двенадцать!

На углу пылает длинными темнокрасными языками пламя ночного костра: около него греются извозчики и ночные сторожа в тяжелых, длинных тулупах.

Прохожу мимо них, сгорбившись от мороза, в нахлооученной шляпе, с узлом подмышкой, быстрыми шагами. Снег визжит подо мной, и этот звук гулко раздается по пустынной улице. Дома, облитые холодным серебром луны, окруженные своими тенями, словно совещаются о чем-то друг с другом. Совещаются и ночные караульщики.

Я чувствую, что они смотрят мне вслед. Кто-то бежит, догоняя меня. Оглядываюсь — бежит один из них, в тяжелом, длинном тулупе, с длинной толстой палкой в руке. Но я прибавляю шагу, он не может догнать меня, один из них кричит мне что-то. За скрипом снега под ногами не могу разобрать, что ему нужно. Не останавливаясь, продолжаю быстро итти. Вот на углу опять костер и около него стоят такие же фигуры, закутанные в тулупы. Прохожу. Эти тоже смотрят мне вслед.

Издали раздается полицейский свисток: свистит не догнавший меня сторож, который хотел что-то сказать. Слышатся крики: «Держи!»

Новые сторожа бегут за мной, и я тоже бегу от них, не понимая, зачем им нужно держать меня? Внезапно вспоминаю, что ночью носить узлы в городе запрещается: таких людей арестовывают и отводят в участок.

Меня приняли за вора, тем более, что я убегаю. Но я не хочу попасть в участок и бегу изо всех сил. Вслед за мной раздается множество свистков, слышен топот тяжелых ног. Оглядываюсь и вижу, что бегут со всех сторон, слышны крики, как в облаве на зверя. Поворачиваю из улицы в улицу по известному мне направлению. Мои преследователи не отстают. Образовалась погоня. Вот они уже настигают меня. Слышнее топот, голоса, ругательства, тяжелое дыхание.

— Держи! Держи! Вора держи!

Свистки, крики, топот. Добежал до знакомого флигеля. В окнах — о, радость! — светится огонь. Стучусь в калитку — не отворяется. С необыкновенной силой напираю плечом, переламываю что-то — отворилась. Захлопываю ее за собой и с тяжело бьющимся серд-

цем, задыхаясь, едва держась на ногах, вваливаюсь в тепло натопленную прихожую.

Я спасен.

Небольшая комнатка горбуна полна студентов: их человек двенадцать. Сидят в тумане табачного дыма не только на стульях, но и на подоконниках, на кровати, а Крупицын с трубкой в зубах просто на полу у порога.

«Старик» представил меня всем как своего старого товарища. По обилию книг в комнате можно было судить, что хозяин читает много. На этажерке виднелась знакомая мне скрипка в пыльном футляре. На столе шумел самовар, стояла пустая бутылка, валялись объедки хлеба и колбасы.

Галдели все разом, продолжая рассуждения, прерванные моим приходом. Говорили о профессорах и студенческих делах. Лица студентов были очень разнообразны: одни казались серьезными, с замашками баричей, другие походили на деревенских подростков с белыми волосами и веснущатыми физиономиями. До этих пор я представлял себе студентов в длинных мундирах, при шпаге, какими я видел их на студенческих вечерах, и был несколько разочарован, увидав простых, бедных русских юношей различного возраста и умственного уровня, сдающих экзамены на «шермака», не знающих ни науки, ни жизни, выдвигающих часто из своей среды какого-нибудь «вечного студента» — высокоученую голову, перегруженную массой знаний, фатально неприложимых к жизни.

Студенты шумели. Появилось несколько бутылок пива. «Старик» подсел ко мне и, наливая стакан, сказал задушевно:

— Ну, вот, ты теперь и не один! Будешь жить со студентами-клочковцами и сам будешь клочковцем. Так нас все называют. Давай, брат, выпьем за клочковцев! Со вступлением!

Мы все чокнулись и выпили.

Студенты стали просить его сыграть на скрипке. Он долго отказывался.

— Забросил я это дело. А когда-то в знаменитой капелле участвовал, в виртуозы стремился... хе-хе-хе... этапы проходил.

Я спросил, почему он забросил скрипку.

«Старик» горько улыбнулся.

— Не моя среда. Выжили меня оттуда. Опустошенные люди. Не стану вспоминать. Ну, уж так и быть, сыграю что-нибудь для нашей с тобой встречи.

Вынул скрипку, настроил и заиграл что-то грустное.

Играл он как настоящий артист: увлекающе, талантливо, с широким, певучим, плавным тоном.

Как жаль, что он оставил музыку!

III

В большой, высокой и совершенно пустой комнате стояла фисгармония, а за ней, подбирая тягучие аккорды, сидел пожилой музыкант, плотный, с лысиной, окруженной, как венком, кудрявыми волосами, с круглой черной бородой.

Я стоял позади в застегнутом сюртуке. Густые волосы мои за долгие месяцы скитаний в поисках заработка успели отрасти до плеч. Худой, высокий и бледный, я весь был напряжен, как натянутая струна: на дирижера капеллы, сидевшего за клавишами, возлагались все мои последние надежды.

Повернув ко мне голову через плечо, он сказал с привычным воодушевлением:

— А ну, пройдемте гамму!

Загудела фисгармония. Я тянул нижнюю ноту, пока не выпустил весь воздух из легких. Голос был в порядке, пустой желудок, долгая, вынужденно-аскетическая жизнь, невольное воздержание от курения и спиртных напитков, свежесть молодого организма, а также и нервный подъем сделали свое дело; у меня приподнимались волосы и мороз проходил по телу, когда я с необыкновенным чувством выводил простую гамму.

Капеллан тянул аккорды медленно, выжимая из меня весь звук, и, наконец, довел до верхнего регистра: голос красиво, легко, сочно звучал, наполняя комнату металлом, но музыкант все повышал и повышал

аккорды. Я почувствовал себя на огромной высоте очень трудной ноты, но и ее взял «crescendo» сначала тихо, потом раздул, развернул до громового раската и — что было всего труднее — кончил пианиссимо.

Капеллан прекратил испытание, снял свои волосатые, жирные пальцы с клавиш и повернулся ко мне вместе со стулом. Потом вздохнул.

— Ну, что ж! — сказал он, разводя руками. — Красота! Молодой голос: красивый тембр, силы достаточно. У вас голос хорошего солиста и видно, что вы прежде пели, дыханием владеете, звук даете правильно, голос поставленный.

Я просиял.

Он облокотился на спинку стула и продолжал оживленно и с увлечением:

— Я вам больше скажу: таких голосов, как ваш — немного в наших хорах. По виду вы приличный, не от сохи человек; может, и образование кое-какое получили: иметь такого певца лестно!.. Я бы взял вас, занялся бы с вами и сделал бы из вас солиста. Но, — тут он развел руками, — я получил приглашение в Москву и не только что принимать, через три месяца — распускаю здесь хор, беру с собой только моего помощника... Жаль!.. Очень жаль!.. Если бы не это, я бы обеими руками схватился за такой голос!

Лицо мое, вероятно, показало неподдельное огорчение.

— Вот что! — продолжал он, помолчав. — Я вас могу принять временно, месяца на три. Жалованье двадцать рублей в месяц. Больше предложить не могу!.. Принимаю вас в виде исключения за очень хороший голос...

Мне трудно было скрыть свою радость. Капеллан заметил ее, но и сам хотел закрепить условие.

— Я вам дам сегодня часть денег вперед, а завтра в четыре часа приходите на спевку.

Он вынул бумажник, и несколько новеньких рублевок очутились в моей худой, горячей руке.

Я вышел, окрыленный радостью, восторгом, надеждами: теперь могу оплачивать стол и комнату, могу

продолжать мои литературные занятия. Вчера ночевал у «Старика», но теперь для моих излюбленных занятий, для вдохновенных бесед с моею маленькою, робкою музой мне нужна отдельная комната...

Я шел и посматривал, не белеется ли где-нибудь билетик о сдающейся комнате «для одинокого».

Случайно очутился на той улице, где жила Валентина, даже как раз у ворот того дома № 10, где я был у ней по приезде.

И нужно же было так случиться, что на воротах оказалась прибитой записка: «Сдаеца комната для одинокаво во дворе».

Ну, что ж! Хотя и не пойду больше к Валентине, но, значит, уж судьба такая... чтоб жить мне во дворе ее дома. Надо посмотреть комнату!

Двор был большой, покатый книзу. В глубине его стояло приземистое одноэтажное кирпичное здание, очень грязное на вид, с покосившимся старым крыльцом. Я вошел в это крыльцо и столкнулся в полутемных сенях с подростком-девочкой лет тринадцати, очень хорошенькой, яркого южного типа, с густыми, вьющимися волосами, с прелестными глазами.

— Здесь сдается комната?

— Здесь! — ответила она мелодичным, слегка гортанным голосом. — Пожалуйста, сюда! Мама! Комнату пришли смотреть.

Девочка вернулась со мной, ввела в полутемную прихожую.

Толстая, пожилая еврейка в грязной юбке и засаленном переднике, с засученными по локоть жирными руками встретила меня. Круглое, свежее лицо ее еще хранило следы былой красоты, но теперь выражало только деловитость и добродушие. В полураскрытую дверь выглянули еще две младших курчавых головы детского возраста.

— Ша! — громко крикнула на них мамаша, захлопнув дверь, и бойко затараторила: — Вам комнату? Вот комната... теплая. В ней жил студент, да уехал.

Она отворила боковую дверь. Втроем вошли в очень странное помещение: треть его занимала огромная кухонная плита, повидимому, здесь когда-то была

кухня. Перед большим окном, выходившим на задворки, стоял некрашеный стол с единственным стулом, остальное пространство занимала старая железная кровать с тощим матрацом.

— Это зачем же плита? — спросил я. — Мне не нужно плиты.

Она засмеялась так, что толстый живот ее заколыхался. Засмеялась и дочь, все время смотревшая на меня любопытными черными глазами с бархатными ресницами.

— Ой, какой шутник! Ну, что же плита? Плита не мешает!.. Можете держать на ней книги или еще что... Товарищи придут — сидеть будут на плите. Зато дешево, восемь рублей, и теплая...

Мне понравилась дешевизна комнаты, близость ее к жилищу Валентины, а также и поэтическая девочка, тоненькая, как тростинка.

— Роза, — сказала мать, — подай стул господину студенту.

— Не беспокойтесь! Комната мне нравится, я беру ее, получите! Сегодня к вечеру перееду...

Я дал ей три рубля, закрепив таким образом за собою комнату. Роза проводила меня на крыльцо и, пока я шел через двор до калитки, ее гибкая фигурка в полосатой юбочке с открытой кудрявой головкой вертелась на крыльце.

Едва вышел из ворот, как на дощатом тротуаре увидел Валентину.

Она шла мне навстречу своей легкой походкой, с книжками в ремнях; из-под каракулевой шапочки синели ее тяжелые волосы. На румяных щечках таяли снежинки. Увидав меня, она вспыхнула до ушей, словно рассердилась, и, поравнявшись со мной, опустила свои великолепные глаза с длинными, густыми ресницами. Я остановился, снова побежденный ее редкостной красотой, разинул рот, чтобы сказать ей что-то, но она, сделав вид, что не замечает такое ничтожество, как я, так и не подняла своих дивных глаз.

Прекрасное лицо ее было строго и гордо, будто она приготовилась опять оттолкнуть меня. Кроме того, в

лице ее я теперь заметил новое выражение; оно стало более содержательным. Мы прошли мимо друг друга, даже не поклонившись, не сказав ни слова, как незнакомые, как будто никогда не встречались прежде.

Я пожал плечами, невольно вздохнул и, опустив голову, зашагал на отдаленную студенческую улицу к моим новым друзьям-студентам.

Почему эта прелестная девушка, тайно мной любимая, вдруг так жестоко оттолкнула меня здесь? Женское сердце было неведомо мне, неопытному юноше, и я страдал от такого пренебрежения. Вероятно, не нравлюсь ей. Ведь она красавица, а я...

Я готов был рвать на себе упрямые, лохматые свои волосы, воображая себя уродом, горбуном, рыжим, звероподобным.

Валентина после письма заподозрила ухаживанье с моей стороны. Обожатели надоели красавице, и вот, чтобы предостеречь меня от безнадежной любви, она оттолкнула меня!

Так размышлял я, подходя к убогому флигелю моих друзей.

В комнате, как почти всегда, была целая компания: студенты не снимали шинелей, сидели и стояли где попало, галдели, смеялись.

Оказалось — произошло событие вовсе не смешное: «Старика» арестовали днем на службе и увезли в тюрьму. Но студенты относились к такой неприятности весело и беспечно: «Старику» не в первый раз сидеть в тюрьме, это с ним и прежде бывало! Ничего, подержат да и выпустят, дело привычное, вполне безопасное, история обыкновенная! Студенты острили, представляя себе, что теперь делает «Старик» в каземате.

Францевич — высокий студент, лет двадцати семи, из породы «вечных», бывалый человек, всегдашний оратор в курилке, в пивных и здесь игравший роль студенческого вожака, представлял «Старика», бегая по комнате, сгорбившись и помахивая, как он, руками.

— Шагает «Старик» из угла в угол да приговаривает: «Ах, чорт возьми!.. Как же оно так случилось? Хе-хе-хе!»

— Сбор надо сделать! — заметил Крупицын, сидев-

ший с трубкой в зубах, как всегда, на корточках у порога.

Сбор денег для передачи арестованному был уже сделан. Студенты хотя и шутили по своему обыкновению, но на самом деле оказались серьезно озабоченными судьбой своего старшего товарища, в квартире которого всегда собирались, что, вероятно, и послужило поводом к аресту.

Настроение было приподнятое.

— Спеть надо! — провозгласил Францевич. — Сначала солисты, а потом хор! Данило, начинай!

Данило, приземистый студент в форменной тужурке, с черною лохматой шевелюрой и молодой бородкой, встал в угол, крякнул басом, помурлыкал, нащупывая тон, и запел поднявшийся откуда-то из глубины протяжный и мрачный напев:

Мой край родной!..
Мой край родной!

Зазвучала более окрепшая, мощная нота.

Ты весь мне кажешься тюрьмой!..

Казалось, что самый мотив этой песни родился под сводами тюрьмы.

А-а... в тюрьме стена крепка!

Глубоким стоном вырвалась вдруг загремевшая нота, напоминавшая звон цепей.

А ночь — длинна, а ночь — темна!

Молодой, еще не развернувшийся, но полный звенящего металла бас его, звучавший тоской томящейся души, рокотал в нижнем регистре, обещая, повидимому, грянуть на верхнем.

И вдруг, набравши в грудь воздуху, певец загремел бравурно:

Сбейте оковы, дайте мне волю,
Я научу вас свободу любить!

Друзья аплодировали певцу...

— Спойте-ка и вы! — сказал мне Крупицын от порога.

Я не заставил себя упрашивать: спел песню рабочих.

Ведь не подступишься к главному мастеру,
Он у окошка сидит,
Чай попивает, да гладит бородушку!

Мое пение тоже, должно быть, понравилось, потому что студенты пришли в так называемый раж, тем более, что, кроме «Старика» и Крупицына, никто из кружка не знал меня близко.

Данило сжал мне руку, сказал с чувством:

— Отдаю вам предпочтение!

— А я стихи написал! — раздался вдруг голос из угла. — Хотите, прочту?

— Попов, — шутливо загудела компания, — наш пиита!

— Валяй, но только покороче!

Вышел длинный, близорукий Попов в синих очках.

— Предупреждаю, не гражданские, а насчет природы, на охоте написано!

Попов прочел коротенькое и, действительно, недурное стихотворение — описание летней ночи в Крыму, о ее черном небе, о крупных, как алмазы, звездах.

Тотчас же завязался спор о том, поэт ли Попов или не поэт. Наконец, спросили моего мнения.

Я сказал Попову:

— Не знаю, поэт вы или нет, но мне кажется, что в этих стихах есть поэзия.

— Еще бы! — радостно подтвердил автор. — Ведь и написано-то под впечатлением, на охоте. Черная ночь, как бархат, и звезды, как крупные алмазы! Такая красота!

— Но по одному стихотворению трудно судить, чтобы признать вас поэтом, — продолжал я, — ведь одно хорошее стихотворение каждый человек, пожалуй, может написать хоть раз в своей жизни...

Студенты с неожиданным вниманием слушали меня. Но это, повидимому, не понравилось Францевичу, имевшему как бы монополию на ораторство. Он улыбался насмешливо.

— Почему сей пришелец говорит, как Козьма Прутков — изрекает? Откуда у него право говорить так?

— Постой! — останавливали его.

Но я продолжал.

— Вот и у меня, например, есть одно стихотворение, но из этого не следует, что и я поэт.

— Прочтите! — закричали студенты.

Я прочел наизусть мое недавнее письмо в стихах к Валентине. Там говорилось о низвержении веры в бога. Наступило странное молчание. Попов подбежал ко мне, что-то бормоча:

— Вы... вы... да... это...

Он всхлипнул, махнул рукой и отошел в угол.

— Я никогда еще в жизни, — взволнованно сказал он оттуда, — не встречал живого настоящего поэта! Теперь первого вижу!

Начался студенческий спор о поэзии, об атеизме и, конечно, о революции. Я незаметно взял свою подушку с пледом и пришагал на новую квартиру. Там тотчас же зажег свечу и сел за стол.

Сцена с Поповым тронула меня. О, жестокая красавица Валентина! Если стихи, на которые вдохновила меня ваша удивительная красота, не трогают вашего сердца, то у посторонних людей они вызывают слезы. Пылкая молодежь признала меня поэтом, и этого с меня довольно...

Перо мое бегало по бумаге. Я писал фантастический рассказ, «над вымыслом слезами обливаясь». Но горькие чувства, любовь и слезы, бежавшие по моим щекам, были настоящие.

IV

Был мягкий зимний день, когда я однажды возвращался из подвала студенческой столовой к себе домой на Патриархальную улицу. Так делал я ежедневно в три часа, проходя мимо женской гимназии, где заканчивала восьмой класс Валентина. Я не желал встречаться с ней, но мое возвращение всегда совпадало с окончанием занятий в гимназии, и последние три квартала приходилось итти, обгоняя вереницу гимназисток, группами возвращавшихся по домам.

Дела мои поправлялись. Я пел в капелле, сотрудничал в газете, приоделся, купил новые галоши, белый башлык с серебряным позументом. Времена скитаний без угла и приюта прошли. В хоре меня сделали солистом, а в газете охотно печатали. С молодым секретарем редакции, писавшим фельетоны в стихах, у меня установились теплые отношения. Понемногу я втягивался в жизнь большого города и все вечера проводил на собраниях студенческой молодежи.

Я шел бодро, закинувши за плечи концы франтовского башлыка. Вдруг на тротуаре, впереди, увидел Валентину вдвоем с подругой. Подруга была стриженая, в очках, невзрачная, как все подруги красавиц. Она как бы оттеняла красоту Валентины.

Девушки шли медленно, помахивая книжками в ремнях; чтобы не встретиться с ними, мне нужно было тоже замедлить шаги. Но я не захотел этого из гордости и самолюбия. В самом деле, чего же это я буду скрываться от капризной девчонки? Не много ли будет чести? Пойду, как шел, обгоню их и тоже не посмотрю на Валентину, как она не смотрела на меня!

Мне пришлось догнать их на очень узком месте тротуара и, чтобы пройти вперед, я должен был повернуться лицом к Валентине. Не заметить или не узнать меня на расстоянии двух вершков было невозможно. Невольно я приподнял шапку и поклонился, Валентина смутилась.

— Здравствуйте! — сказал я, позабыв о своем решении не узнавать Валентину. Голос мой внезапно задрожал. Валентина, улыбнувшись, протянула мне руку.

— Здравствуйте! Как вы меня напугали!

— Вы, должно быть, опять не узнали меня?

— Нет, узнала!

— Но в прошлый раз на улице вы прошли мимо меня и не узнали!

— Разве? — невинно улыбнулась она. — Я вас не видела!

Она лгала. Это ясно. Зачем? Бог весть! Мне казалась эта ложь насмешкой, издевательством, желанием заставить меня страдать. Ах, да! Ведь это кокетство молоденькой девушки, женская игра, а я так оскор-

бился, так страдал! Это была только шутка! Она, как котенок клубком, играла моим сердцем!

Валентина познакомила меня с подругой, и мы пошли вместе.

— Вы живете, кажется, где-то недалеко?

— Да, во дворе вашего дома! Так случайно вышло: искал себе комнату и вдруг вижу билетик на воротах...

Подруга лукаво усмехнулась.

— Что же вы делаете?

— Да почти ничего! Пою в капелле, немножко пишу в газете.

Валентина сделала презрительную мину.

— Что же вы там пишете?

— Так, пустяки...

— Мы получаем газету, только что-то за вашей подписью ничего не попадалось! Впрочем, вы, вероятно, хронику пишете! А скажите, ведь вы бываете в редакции? Кто это там пишет рассказы под какими-то таинственными инициалами? Один рассказ под заглавием «Дон-Кихот» такой был забавный, что мы все хохотали до упаду, а в конце концов делается грустно! Вы не знаете автора?

— А зачем вам?

— Интересно, какой он? Я никогда не видала живых писателей, вы бы нам хоть одного издали показали, одним глазком посмотреть! Скажите, он молодой? Важничает, наверно?

— Важничает? Нет! Он — молодой человек, но я его мало знаю! И вообще... трудно мне знать его...

— Почему же? Может быть, он не разговаривает с теми, которые пишут хронику?

— Нет, не то! — замялся я.

В это время мы подошли к воротам нашего дома. Вдруг шедший навстречу щегольски одетый молодой человек приподнял котелок и, улыбаясь, закричал мне:

— Поздравляю!

Это был секретарь редакции. Он остановил меня, крепко пожал руку.

— Ваш «Дон-Кихот» перепечатан в большой столичной газете!

Он вынул сложенную вчетверо газету, отдал мне и крикнул, уходя:

— Ждем ваш новый рассказ!

Валентина вдруг нахмурилась.

— Дайте газету! — сказала она властно.

Она взглянула на заглавие рассказа, потом на подпись, и вдруг прекрасное лицо ее вспыхнуло ярким румянцем.

— Так это вы? — тихо спросила она, и огромные ресницы красавицы поднялись над горящими гневом глазами. — Вы можете писать такие вещи и разыгрываете из себя казанскую сироту, лжете на каждом шагу, притворяетесь, пишете красивые письма и думаете, что я вам первая кланяться должна? Вы — ужасный человек!

На глазах у нее сверкнули слезы.

Подруга лукаво улыбнулась.

— Полно! — сказала она Валентине. — Ведь он правду говорил: трудно знать самого себя!

— Простите! — бормотал я, сбиваясь. — Может быть, мое письмо чем-нибудь оскорбило вас? Но мне вообще не удаются письма к женщинам!

— Вообще? Значит вы многим женщинам пишете письма?

— Нет! Я ни с кем не переписываюсь! Но, конечно, я виноват в рассказах! — с ироническим вздохом добавил я. — Действительно, их написал я, а не воображаемый вами писатель.

— Вы совсем запутались! — сказала Валентина, невольно улыбаясь.

Девушки вдруг расхохотались и вприпрыжку убежали от меня по лестнице.

Я посмотрел им вслед, взволнованный, печальный и вместе смутно, странно счастливый.

Вошел в мою каморку и застал там Розу. Она прибирала комнату, наводила порядок на моем столе, складывала в кучки мои тетради, книжки, старые газеты. В доме знали, что я не студент, пою в капелле и пишу в газете.

— А я видела! — с лукавым видом заявила девочка.

— Что ты видела, Роза?

— Видала, как вы ухаживаете за этой черной гимназисткой! Она за вами страдает! Когда вы поете, она слушает у окна и вот так вся исходит!

Роза изобразила на своей хорошенькой, подвижной мордочке, как «исходит» Валентина.

Я засмеялся.

— Ошибаешься, милая Роза! Она такая неприступная! На меня не обращает внимания!

— Ну да, рассказывайте! Все на нашем дворе знают! Только на вас и пялит глаза, а если ломается перед вами, так это одно кривляние! Красивая, да нехорошая! Не люблю ее! Вы умный, серьезный, настоящий мужчина! На ее месте я бы вас как любила!

— Но ведь я некрасивый, Роза? — сказал я, садясь у стола на мой единственный стул.

— Почему некрасивый? — серьезно возразила девочка. — Постойте-ка, я посмотрю! Можно залезть к вам на колени?

— Ну, залезай!

Роза вскарабкалась на мои колени, поближе к лицу.

— Поверните ко мне голову!

Она прижалась ладонями к моим щекам, посмотрела в глаза и тут же решила:

— Вы красивый! Лицо хорошее, лоб большой, волосы мягкие, как шелк, хорошо смеетесь, и зубы белые! А голос! За один только голос можно полюбить! Когда вы поете, у меня по спине мурашки бегают!

— Ну, вот, как ты славно меня расхвалила!

— А рост какой! — продолжала она с прежней серьезностью. — Я люблю высоких, терпеть не могу маленьких! Вы, наверное, сильный! Можете поднять меня кверху? Поднимите, я это люблю!

Я встал, поднял ее, легкую, как перышко, и посадил на плечо. Роза захохотала, захлопала в ладошки.

— Ай-яй! Как высоко! Как на колокольне! Голова кружится, держите меня, сейчас упаду!

— Я буду приходить к вам играть! — сказала она, оправляя свою коротенькую юбочку, когда я ее спустил на пол. — Можно вас поцеловать?

— Можно! — смеясь, разрешил я. — Ведь ты еще

совсем ребенок! Сколько тебе лет? Двенадцать! Тринадцать?

— Что вы! Мне уже скоро будет пятнадцать! Бросьте ухаживать за этой, за черной! Любите меня!

Она опять вскочила ко мне на колени, обняла за шею и не совсем по-детски поцеловала. Потом с хохотом выскользнула из моих рук и, прыгая на одной ноге, запела горловым голоском:

Не щебечи, соловейка!
Ах, я бедная еврейка!..

Затем показала мне язык и скрылась за дверью.

Поцелуй Розы не произвел на меня никакого впечатления; в этом подростке, повидимому, слишком рано начинала пробуждаться женщина, но в моем сердце безраздельно царила красавица Валентина.

Наступили сумерки, в комнате быстро темнело.

Через час ко мне вошла мать Розы, всегда ходившая в грязном, затрапезном костюме, с засученными по локоть рукавами; на этот раз она была одета во все чистое.

— Здравствуйте вам! — сказала она, притворяя за собою двери. — А у нас сегодня пятница! Будет праздничный ужин накануне субботы! Не хотите ли поужинать с нами по нашему обычаю?

— Благодарю вас, но я, право, не голоден!

— Нет, уж вы не отказывайтесь! Мы видим, что вы хороший квартирант и хотим, чтобы вы были у нас как свой!

Этого еще недоставало! Отказываться показалось неудобным, и я принял приглашение.

На хозяйской половине вся семья уже садилась за длинный стол, накрытый чистой скатертью. На столе стояли массивные серебряные подсвечники, каждый с тремя зажженными свечами· на блюде — большая фаршированная щука, какие-то тонкие, сухие лепешки и раскрашенный цветной графинчик с маленькими стеклянными стаканчиками.

Семья была большая. Отец — красивый, еще не старый мужчина, с роскошной черной, окладистой бородой и большими печальными глазами. Выражение его

лица было кроткое и вместе торжественное. Старший сын — молчаливый юноша с типичным лицом рабочего из «сознательных», кроме Розы, еще девочка лет десяти, с курчавой головой, говорившая низким контральто, и мальчик лет четырех, смирно сидевший между сестрами.

Чувствовалось, что главой семьи была мать, говорливая, бойкая и деятельная. Муж работал на табачной фабрике, сын — в типографии, оба только по вечерам бывали дома. Младшая дочь тоже ходила на фабрику: от табачного воздуха личико у нее было землистого, чахоточного цвета. Только Роза была на привилегированном положении: по вечерам уходила куда-то с книжками.

Меня посадили рядом с отцом, против Розы, смотревшей на меня смеющимися глазами.

— Садитесь, пожалуйста, кушайте!— сказала мать.— Вы любите фаршированную щуку? Позвольте, я вам положу!

Муж молча налил себе, мне, сыну и жене светлой жидкости в маленькие стаканчики.

— Это водка? — спросил я.

— Пейсаховка! — ответил он тихим голосом. — Это у нас полагается в праздник.

Я выпил и чуть не задохнулся, такая она была крепкая.

Вся семья засмеялась.

— Да это спирт? — спросил я.

— Спирт! — спокойно подтвердил хозяин.— Это лучше водки! Немножко спирту наш закон разрешает.

Он говорил по-русски чисто, но медленно и тихо, как бы с трудом вспоминая и подыскивая слова. Это был серьезный, старозаветный еврей, озабоченный одной тяжелой мыслью: как бы прокормить и воспитать семью.

Его жена, не умолкая, щебетала своим звонким, сильным голосом.

— Какой голос у мамы! Когда она ругается на дворе, ее за два квартала слышно! — улыбаясь, сказала Роза.

— Я голосистого роду! — ответила мать. — Муж у

меня тихий, а я не робкого десятка. Мой отец был кантор, брат сейчас оперный певец в Америке, а я вот вышла за бедняка. Всякому своя судьба. Зато я смелая! Никого не боюсь!

Дети сочувственно улыбались. Мать была кумиром семьи, а кроткий, смиренный бородач охотно покорялся своей энергичной половине.

Я долго смотрел на мерцавшие передо мною свечи в тяжелых серебряных подсвечниках и в странной задумчивости не слыхал, о чем вокруг меня говорили.

Очнулся от звонкого смеха Розы, крикнувшей мне через стол:

— Не пейте больше пейсаховки!

— Нехорошо, Роза! — тихо упрекнул ее отец. — Бог создал все на радость человеку! Все пейте и ешьте за этим столом, и пусть наш гость, не имеющий близких, отдохнет с нами в нашу святую пятницу! Положи ему еще рыбы, Роза! И вина ему, Роза, налей!

Что-то патриархальное звучало в этих тихих, важных, размеренных словах.

— Как зовут вас, хозяин?

— Симеон — мое имя, а жена моя — Рахиль!

— А вас как зовут? — спросил я молодого рабочего.

Он вскинул на меня большие, черные, огневые глаза и усмехнулся застенчиво.

— Это наш Абраша! — поспешно вмешалась мать. — Он такой же развитой, как и вы, книги читает!

— Мама! — укоризненно улыбнулся юноша, махнув на нее рукой.

— А разве я не так сказала? Он уже и ваше сочинение читал нам всем вслух, когда вас дома не было!

Вся семья засмеялась.

— Я работаю в типографии, — с достоинством заметил Абраша, — и, знаете, у нас в мастерской рабочие вас критиковали: я стою себе в стороне, слушаю. Нравится им, что вы о простых и бедных людях пишете! Говорят — как разошелся!.. Теперь ждут продолжения!

Он опять усмехнулся смущенно и застенчиво.

— А я и не знал, что у меня есть такие серьезные читатели!

— Да, они — строгие! Но, знаете, наша рабочая публика вас приняла. Вот, если бы вы побольше о рабочих писали! Что на фабриках делается! — он помолчал и добавил тихо: — Я как-нибудь зайду к вам поговорить!

С этого дня я каждую пятницу праздновал в семье моих квартирных хозяев.

V

На «Клоках» была назначена «встреча нового года».

Накануне, вернувшись после обеда в свое логовище, я увидал на столе записку: «Были, не застали. Придем встречать новый год на «Клоки» — Виктор, Атаман».

Поняв, что моих друзей, наконец, «выставили» из земства, я очень обрадовался: предстояло свидание, да еще в торжественной обстановке.

Вечером в общей квартире Крупицына и «Старика» застал большую компанию студентов-клочковцев: это были большею частью ветеринары и технологи, но ввиду парадности вечера явилось еще несколько «универсантов».

В передней комнате, принадлежавшей «Старику», слышались звуки гитары и женский смех.

В задней — стоял густой, сизый табачный дым. Раздвинутый и накрытый белой скатертью стол, уставленный закусками вокруг большого графина, свидетельствовал, что на «Клоках» происходит «безумный кутеж».

Оказалось, что в центре компании сидел «Старик», только что выпущенный из тюрьмы. Обе комнаты, разделенные между собой прихожей, были полны гостей: кроме встречи нового года, клочковцы праздновали освобождение «Старика».

Посреди комнаты стоял Митя Даров, студент из мещан, высокий, красивый, с курчавой бородкой, в высоких сапогах, синих студенческих рейтузах и ситцевой рубахе, по-мещански выпущенной из-под жилета.

— Вот, — говорил он, улыбаясь, — часы проел, мундир проел, теперь тужурку доедаю, а что дальше бу-

дет — аллаху, конечно, известно, но не мне! Чаю по утрам мы с Демкой не пьем, перед хозяйкой ломаем комедию: подает самовар, делаем вид, что собираемся пить. Покипит впустую и велим убрать: напились! Или вот брюки: ведь это что такое? Срам! Недавно к профессору ходил, так все в непринужденные позы становился, ногу за ногу закидывал, иначе нельзя! Тужурку чужую носил, а теперь в одной жилетке остался! У нас на «Клоках» почти все студенты так живут: жрать почти ничего не жрут, только чаем брюхо наливают. Набьются человек пятнадцать к тому, у кого есть чай, и дуют!

Мрачный, близорукий Попов глухо пробурчал из угла:

— Хотите, прочитаю стих под заглавием «Чай»?

Все засмеялись и стали слушать стихи Попова, написанные гекзаметром:

О, чай, благодатный напиток богов олимпийских!
Отрадна голодному брюху твоя золотистая влага!
Бежишь ты, янтарный, желудок пустой наливая,
Струишься в кишечник, потом же — все дальше и дальше...

Декламация была прервана общим смехом, но сам Попов даже не улыбнулся.

«Старик», благодушно посмеиваясь, вдруг вынул из бокового кармана бумажник и, раскрыв его, показал довольно большую пачку рублевок, трешниц и пятишниц.

— Батька приезжал! — объяснил он свое неожиданное богатство. — В ссоре мы были, во взглядах разошлись, но, как узнал про мое сидение, тронулось родительское сердце! Хе-хе-хе! Приехал из деревни и денег дал! Кому надо? Берите!

Протянулось сразу несколько рук. Кто просил рубль, кто два, а кто и целую трешницу. «Старик» делился с видимым удовольствием.

— Вот пример, достойный подражания! — заговорил клочковский оратор Францевич. — Жив еще дух товарищества лучших времен, когда процветали землячества, и студент студенту не был волк! Дух товарищества — это все! Дух товарищества — это путеводная

звезда, которая будет теплиться всю жизнь для каждого из нас, когда мы выйдем из «альма матэр» и, быть может, это будет единственное, о чем мы вспомним с теплым и светлым чувством!

Речь всех подогрела, но никто не стал отвечать в том же возвышенном тоне.

— Верно! — вскричал технолог Ефрем, никогда не говоривший речей, зато известный на «Клоках» своим красивым баритоном, волжанин, светлый блондин, с бородкой молодого опричника и соколиным взглядом из-под широких бровей. — Верно! Недавно я зашел к двум первокурсникам... вместе живут... подали самовар... тогда один полез в сундучок под кровать, вынул щепоть чаю и — в чайник, другой под кровать — тоже кладет свою щепоть! Ну, что такое? Я этого не понимаю!

— Что и говорить о щепотниках! — усмехнулся Францевич. — А вот как у тебя, Ефрем, дело с институтом? Технолог ты, или все еще при волчьем билете?

Ефрем тряхнул головой.

— Представьте, добился допущения к экзаменам! Но чего это мне стоило, сейчас узнаете!

— Товарищи, тише! Ефрем принят обратно!

Общий говор стих.

Ефрем встал как бы на эстраде и начал:

— Вы знаете, что я был исключен после известного вам обыска: найдено было письмо кого-то к кому-то, где упоминалось мое имя. Вы знаете директора института? Знаменитый профессор, но бюрократ до мозга костей, сухой, бездушный человек. Как же! Статский советник, имеет орден святыя Анны, мундир золотом расшит! Пропади мы все пропадом, лишь бы в институте не было политики! Объяснился с ним: дело с письмом, говорю ему, ликвидировано, разрешите явиться на экзамен! Куда тут! Ответ все тот же: «Одна паршивая овца все стадо портит!» Так и ушел я. Все-таки летом готовился. Давал я еще уроки детям его помощника. Этот ничего — обещал содействовать. Вот осенью экзамены начались, я и подал заявление. Гляжу — моя фамилия в списке: допущен, стало быть,

профессурой к экзаменам — условно! Ладно! Прихожу в институт, к помощнику. А он, значит, пожимает плечами: «Идите к директору, просите, иначе и условно-то не допускают!» Опять хожу по коридору, как тень: у дверей кабинета два сторожа стоят, и всегда-то директор «занят»! Вдруг гляжу — помощник к нему прошел, а сторожа куда-то оба отлучились. Я и прошмыгнул. При помощнике ему неловко стало меня выгонять. — «Что вам?» — «Разрешите держать экзамен». Он было опять насчет «паршивой овцы». Тут я речь сказал: «Лучше ли я буду, надежнее ли для государства, если так и останусь без образования? Ведь вот такие-то и озлобляются, поневоле «паршивыми овцами» делаются и так далее...» Вижу — неловко ему при свидетеле. «Подайте заявление на мое имя!» Возражаю: «Да ведь сегодня последний день экзаменов по математике, завтра поздно будет!» Он — уходить! Я — за ним. И уж в дверях махнул на меня рукой, чтобы, значит, отвязался: «Ладно, идите на экзамен!» Надеялся, видно, что там, как по всему курсу начнут гонять — авось провалюсь!

«И действительно: одиннадцать человек переэкзаменовку держали и ни один не сдал кроме «паршивой овцы»! А мне как не сдать, когда я все цифры наизусть знал! Ответы на все задачи помню! Верите ли? Четыре часа меня манежили, две классных доски по высшей математике цифрами исписал, устал, после бессонной ночи чуть на ногах держусь, а они все четверо дергают меня! Сдал на «отлично»! Хожу теперь в институт.

— Браво, Ефрем! — аплодировали клочковцы. — Ну, и сволочь же ваш статский советник с орденом святыя Анны!

Глаза Ефрема засверкали.

— Верите ли? Видеть его равнодушно не могу! Каждый день, уходя из института, вижу, как он уезжает в собственной коляске: согнувшийся, испитой, как мумия — аж в груди зажжется, так бы булыжником и запустил! Душитель молодежи, а ведь у самого дочь в Петербурге на курсах! И когда услыхал я недавно, как на демонстрации его дочку казаки по лицу нагай-

кой съездили, не поверите — удовлетворение какое-то почувствовал: пускай! так и надо!

— Слышали новость? — басом провозгласил Францевич. — Завтра будет в газетах сенсация: министерство внутренних дел постановило всех студентов в случае исключения за политическую неблагонадежность автоматически забирать на военную службу, в солдаты! Нравится вам?

Сенсация вызвала негодующие возгласы.

— Неужели правда?

— Значит, опять общая сходка?

— Митинг! Беспорядки будут!

— Ну, держись, Ефрем! Тебя опять вышибут! Где призываться будешь?

— В Финляндию поеду!

— Почему?

— Отец был финн мореходец, на Волгу был выписан, еще когда первые пароходы пошли! Капитаном плавал! Женился на волжанке, а к концу жизни спился совсем, фонарщиком был, уличные фонари зажигал! Старший брат мой — слесарь!

— Вот никто не знал, не ожидал! Думали — широкая волжская натура, а оказывается — финн!

— Оттого он и упорный такой!

— Как же ты все-таки студентом стал, коли брат — слесарь?

— А что тут удивительного? Все клочковцы — кухаркины дети!

— Верно, упрямством берем!

Действительно, большинство клочковцев составляли беднейшую часть студенчества, жившую неизвестно как и чем, наподобие птиц небесных.

В прихожую входили все новые лица в студенческих шинелишках, подбитых ветром, но вот двое вошли в штатском: это были Виктор и Атаманов. Их встретил «Старик», пожимая им руки и посмеиваясь тихим смешком.

— Хе-хе! Давно не видались! Поперли вас из земства?

— С шиком! — шутил Виктор.

Атаманов вытирал платком обледенелые усы, под шагами его гнулись половицы.

— Ну, что ж! Милости просим к нам. А у меня недавно «сидение» было! Хе-хе-хе! Только сегодня вышел. Надолго сюда?

— Проездом, из уездной глуши прямо в Питер!

— Виктор Семеныч! — радостно воскликнул Ефрем. — Ученика-то своего не узнаете, что ли?

— Неужели Ефрем? Только по голосу узнал! Мальчиком вас помню!

Приезжих окружили. Нашлись знакомые. С другими «Старик» сам знакомил: товарищи из волжской организации!

— Ну, вот и мы! — смеялся Виктор, крепко сжимая руку мне. — Читали и одобряли твои литературные дебюты!

Францевич расцеловался с Атамановым; тоже старыми друзьями оказались, когда-то в Германии в Нюренбергском университете учились! Кроме молодых были и старые, бывалые студенты.

— Добре, сынку! — грудным басом гудел Атаманов, внезапно столкнувшись со мной, и так потрепал меня по плечу, что я чуть на ногах устоял.

Кто-то начал рассказывать, что сегодня универсанты отправились в оперный театр «освистывать» баритона Круглова за отказ участвовать в вечере в пользу студентов. Круглов, конечно, прекрасно споет сегодня «Тангейзера», и все-таки галерка его освищет. Скандал будет.

Мнения о предприятии универсантов разделились: большинство находило намерение «освистать» правильным, некоторые возражали.

— Отказался! Значит, не сочувствует учащейся молодежи! — говорил Францевич. — Не сочувствовать революционному студенчеству может только мерзавец, политический лизоблюд!

— А по-моему, ты не прав! — возразил «Старик». — Театр — не место для политических счетов! Освистать певца публика вправе только за плохое пение, а не за то, что он плохой человек!

— Нет, «Старик», я с тобой несогласен: с актерами только в театре и можно считаться, только там, в пуб-

личном месте, они уязвимы, только там на них можно воздействовать!

Митя Даров опять встал посреди комнаты: расставил циркулем свои длинные ноги и, выставив перед собою указательный палец, произнес, ухмыляясь:

— Жалко мне его, братцы! Круглов вовсе не мерзавец! Я с ним раз в трактире познакомился. Душа парень! Только самолюбивый, а универсанты, значит, самолюбие его задели, не попросили вежливо, а вроде как будто потребовали: обязан, дескать, содействовать! Он и взъерепенился!

Заспорили сразу несколько голосов.

«Старик» сделал мне знак рукой и, отведя в сторону, сказал вполголоса:

— Вот что! Дело мое не кончено, еще, пожалуй, пошлют куда-нибудь! Хочу передать тебе явку, связь с рабочими. Дело маленькое, литературу передавать! Вот адрес и пароль! Возьмешь?

— Конечно.

— Ну, запомни адрес: Патриархальная, десять, во дворе. Рабочий под кличкой «Абрам».

— Это — мой адрес! — возразил я. — Я там живу и Абрама знаю!

«Старик» удивленно посмотрел на меня.

— Там живешь? Зайди завтра вечерком... Листовки захватишь!..

«Старик» помолчал, кашлянул и добавил, еще более понижая голос:

— Да, вот еще! Ты ведь наш литератор! Не составишь ли завтра маленькую листовочку по поводу студенческой солдатчины? Воззвание к обществу. Надо с огоньком написать, у тебя это выйдет! Завтра вместе просмотрим и сдадим тому же Абраму.

— Ладно!

«Старик» крепко потряс мне руку и своей бегающей походкой, в дымчатых очках, весь — ходячая конспирация, исчез в табачном дыму, толкаясь во все прибывавшей толпе молодежи. Вечеринка обещала быть многолюдной.

В соседней комнате началось пение. Слышался серебряный баритон Ефрема. Он пел серенаду Мефисто-

феля с тем широким, хотя и ненужным для оперной арии размахом, с каким волжане поют свои родные песни. Голос у него оказался исключительного тембра — звучал как серебряный колокол.

Клочковцы вообще любили петь, и в их среде были певцы с хорошими голосами, где-то учившиеся пению бесплатно.

Когда Ефрем умолк, пустил ноту Данило. Я перешел в их комнату. Ефрем и Данило стояли перед слушателями, как на эстраде, и налаживались петь дуэтом.

«Старик» уже был там с гитарой в руках и под сурдинку репетировал с ними аккомпанемент: в этой комнате было меньше накурено.

Прекрасными казались эти длинные зимние ночи студенческих вечеринок в убогих, тесных комнатах на «Клоках»!

Ефрем и Данило с чувством выводили красивый, печальный дуэт:

Пусть даже время рукой беспощадною
Мне указало, что было в вас ложного:
Все же лечу я к вам памятью жадною,
В прошлом ответа ищу невозможного!

Вся собравшаяся публика не могла поместиться в той комнате, где происходил концерт. Часть ее оставалась в другой, превратившейся в «курилку» и буфет. Многие слушали, сгрудившись в прихожей. Дальний угол комнаты был «свободен» для выступающих.

Вышел Данило в сопровождении «Старика», не расстававшегося с гитарой. Гитара была единственным аккомпанементом клочковских певцов, но «Старик» аккомпанировал артистически.

Данило выступал и на этот раз с тюремным романсом:

Сижу за решеткой
В темнице сырой!..

Голос его был не из больших, но по исключительной звучности чрезвычайно подходил для вещей героического характера.

Неизбежной, привычной и близкой темой песен молодежи были прежде всего тюрьма и ссылка: значитель-

ная часть ее, не окончив курса, попадала именно туда: это была та часть студенчества «клочковского» типа, которая выходила из низов, из рабочих и беднейших крестьянских семей, для которой борьба за право на образование неизбежно превращалась в политическую борьбу.

Песни о тюрьме и неволе были как бы специальностью не только Данилы: с ним соперничал Ефрем.

Спускается солнце за степи,
Вдали серебрится ковыль...

Протяжно и размашисто зазвенел серебристый бас-баритон Ефрема.

Колодников звонкие цепи
Взметают дорожную пыль!..

И вдруг тихо и мелодично, с нежной грустью, но отрывистым темпом запел хор мужских и женских голосов:

Динь-бом! динь-бом!
Слышен звон кандальный!
Динь-бом! динь-бом!
Путь сибирский — дальний!
Динь-бом! динь-бом!
Слышно, как идут,
Нашего товарища на каторгу ведут!

Идут они с бритыми лбами,
Шагают вперед тяжело!..

Опять полилось густое серебро...

Динь-бом!.. динь-бом!..

Затихая и как бы удаляясь, звучал мелодичный хор, и чудилось, что не в этой студенческой хибарке, на «Клоках», а откуда-то издалека «слышен звон кандальный».

Настроение собравшихся, и без того приподнятое известием о студенческой солдатчине, накалялось. После Данилы вышел «Старик» и громким тенором закричал:

— Товарищи! Сейчас явился с митинга рабочих еще один, только вчера вырвавшийся из когтей тюрьмы. Вы, конечно, догадываетесь, о ком я говорю: это наш общий любимец — товарищ Козьма!

Когда аплодисменты стихли, Козьма заговорил просто и спокойно, совсем не повышая голоса. Но голос его, небольшой и несильный, был так чист и музыкально-гармоничен, что каждое слово было отчетливо слышно в этой душной, лишенной всякого резонанса, комнате.

— Товарищи! Прежде всего прошу извинить за не совсем приличный костюм: я не успел переодеться... Имея в виду шпиков, мне пришлось быть на собрании рабочих, так сказать, инкогнито... Рабочие просят передать революционному студенчеству привет и горячее сочувствие по поводу возмутительного мероприятия правительства, направленного против учащейся молодежи.

Последовали опять аплодисменты, но он отмахнулся от них симпатично-дружеским жестом.

— Рабочие, — продолжал он более окрепшим голосом, — обещают принять участие в уличной демонстрации, если молодежь признает ее необходимой. Они имеют в виду ту учащуюся молодежь, отцы и братья которой стоят у рабочих станков, молодежь пролетарскую, молодежь революционную. Смею думать, что мы, клочковцы, принадлежим к пролетарской части учащейся молодежи!

Он весело улыбнулся, обвел смеющимся взглядом притихнувшую толпу и продолжал:

— Направить революционно настроенную молодежь в царскую армию не в качестве офицеров, а прямо в солдатскую массу, в серых солдатских шинелях — мысль хорошая и заслуживает нашего одобрения: я вполне серьезно предлагаю воспользоваться ею! Нам предоставляют возможность близкого общения с вооруженным народом, одетым в солдатские шинели. Быть в его шкуре, разделять с ним его судьбу — чего же лучше, когда до сих пор был так труден доступ в солдатские казармы!

Может быть, не нашему поколению суждена победа! Многие из нас, быть может, лягут костьми на тяжелом пути! Но по нашим телам пойдут другие! Возможно, что мы погибнем, не разбив цепей, но в наших сердцах горит вера в конечную победу революции.

При последних словах голос Козьмы зазвенел певуче, заражающе, он поднял обе руки как крылья. «Старик», стоявший рядом с гитарой в руках, взял громкий аккорд, и Козьма запел негромко, но гармонично:

Смело, друзья! не теряйте
Бодрости в тяжкой борьбе!
Много прекрасного, знайте,
В жертвенной нашей судьбе!

Тут в песню вступил хор, спросивший звенящим металлом:

Если ж погибнуть придется
В тюрьмах и шахтах сырых?

И всеми своими голосами ответил:

Время само отзовется
На поколеньях иных!

Я вышел в заднюю комнату. Там происходила деятельная выпивка еще задолго до наступления нового года. Непьющих было только двое: Виктор и Атаманов, но и они разглагольствовали не меньше пьющих.

— Это правильно! Все еще тянется эпоха безвременья! — волнуясь, говорил Виктор. — Правительство не позволит проявить себя активным элементам страны! Легальная деятельность почти невозможна! Мы уходим в подполье! Тюрьмы переполнены, в ссылку непрерывным потоком выбрасываются лучшие элементы рабочих и учащейся молодежи! В чем же спасение?

— А в том, — внезапно взревел молчаливый Атаман, — чтобы как можно глубже забронировать подполье, уйти вглубь и — организовать рабочих! Итти в большие города на фабрики и заводы! Будем долго и упорно, медленно вести подземную, саперную работу! Пройдет, быть может, два-три десятилетия, пока мы не взорвем к чорту эпоху безвременья!..

Тут за его спиной раздался взрыв смеха: Митя Даров и Францевич, оба здоровенные, сидя на полу, старались перетянуть один другого, употребляя железную кочергу вместо палки.

Атаман, продолжая говорить, очень просто взял у них кочергу, легко согнул вдвое о колено, бросил ее

к печке и, не замечая, что делает, продолжал свою речь.

В другой комнате кто-то декламировал, потом загрохотал взрыв аплодисментов.

— Ну, вот, и хорошо сделали, что выставили нас из Грая! — сказал мне Виктор, уже не слушая дальнейшие речи, давно превратившиеся в общий разнобой. — Ну, что, мой милый баритон, нравится тебе все это? Можно сказать — жизнь?

— Да, клочковцы — славный народ! Чувствую себя в своей стихии!

— А мы с Атаманом завтра утром в Питер! Вот тебе адрес! Не теряй меня из вида, пиши! Может, когда-нибудь встретимся!

Подошел «Старик».

— Петь будешь? — спросил он меня.

— Нет, мне утром выступать в концерте, надо быть в голосе!

— Ну, стишину хвати! Скоро двенадцать! Открывай стихами новый год, пойдем!

Он взял меня под руку и потащил в концертную комнату.

Прочитанные мною стихи имели настоящий успех: из-за них тотчас же начались споры о судьбах молодежи и революции, прерванные звонким голосом «Старика».

— С новым годом, товарищи!

Программа вечера была кончена. Публика стала редеть. Женская часть ее ушла продолжать вечер в других местах, но зато появились новые лица.

Вошел кто-то в плохонькой универсантской шинели и, не раздеваясь, остановился в дверях; все ахнули:

— Гизо!

— Пьяный Гизо! И опять накануне экзамена! Какая жалость!

— Бедный Гизо!

Тот, кого называли «Гизо», остановился посреди комнаты и, протирая платком запотевшие очки, сказал кротким голосом:

— Я запил!

Он был маленький, с огромной лысой головой на тщедушном теле, с длинными висящими усами. Возраст его казался неопределенным благодаря лысине и чрезмерно развитому, двойному шишковатому лбу.

Гизо надел очки, вынул из кармана лист бумаги и помахал им над головой. Все притихли.

— Вот, — сказал он чуть-чуть пьяным голосом, — средство, не зная рецептуры, блестяще сдать экзамен! Изобрел!

Студенты стали рассматривать лист пьяного Гизо: оказалось, что он изобрел таблицу, пользуясь которой, можно давать безошибочные ответы по рецептуре, — вместо скучного заучивания рецептов напамять.

Ознакомившись с изобретением, все расхохотались.

— Ах, Гизо, Гизо! На что ты свою гениальность тратишь? Ну, что же, давайте списывать: теперь можно не учить рецептуру!

Гизо, собственно, был не Гизо, но так его прозвали за необыкновенные способности по математике. Настоящую фамилию его почти уже забыли. Профессора считали замечательного студента гением, но этот гений страдал наследственным запоем, а в периоды болезни, находившей на него всегда не во-время, когда нужно было сдавать семестры, доходил до галлюцинаций.

В прошлом ум его был потрясен какими-то страшными впечатлениями, что и отражалось на его галлюцинациях. Пил он один, запершись в комнате и никого не впуская. Ему тогда казалось, что в окна стучались все умершие, кого он потерял: жена, сжегшая себя в тюрьме, мертвый ребенок, друзья, застрелившиеся, повесившиеся и повешенные... Что-то страшное было в прошлом у Гизо и не изглаживалось из его памяти. Припадок обыкновенно кончался в сумасшедшем доме, откуда, по излечении, Гизо выходил совершенно нормальным.

— Пойдемте к Дормидошке! — бормотал он. — Я запил!

— Неужто, Гизо, не можешь остановиться?

— Нет! Допьюсь до больницы, а когда выйду, буду сдавать экзамены! А знаете, — вдруг, как бы трезвея,

оживился Гизо, — там интересно, в больнице! Я всегда наблюдаю типы сумасшедших; преобладает мания величия: один воображает себя богом, другой королем, третий — Робеспьером или великим артистом, и около них всегда есть сумасшедшие, самые неизлечимые, уверовавшие в них! В сущности у больных то же самое, что и вообще происходит в жизни!

Гизо начал рассказывать интересные подробности о сумасшедшем доме. Часто он прерывал свой рассказ жалобной просьбой:

— Пойдемте к Дормидошке!

Так студенты звали хозяина своего любимого кабачка.

Кто-то взял шапку и сделал сбор на это путешествие, казавшееся необходимым финалом празднества на «Клоках».

Толпой, человек в двадцать, студенты вышли на тротуар, выстроились попарно, и Ефрем громко запел веселую студенческую песню:

Зима люта настает!
У студентов сердце мрет!

Остальные подхватили хором.

Темная зимняя ночь окутывала огромный город, залитый тысячами переливавшихся огней. Глухая студенческая улица освещалась редкими тусклыми фонарями. Гизо останавливался около каждого фонаря, вынимал из кармана толстую тетрадь лекций и бегло заглядывал в них, что-то бормоча; предполагая допиться до сумасшедшего дома, он все же готовился к экзаменам.

Дормидошкино заведение находилось как раз напротив оперного театра, где еще шло затянувшееся представление. Тусклый фонаришко приветливо мигал у дверей низенького помещения.

Грязный извозчичий кабачок состоял всего из трех комнат: в первой, самой большой, где сидели исключительно извозчики, находился буфет, за стойкой которого стоял величественного вида буфетчик с бритою верхнею губой и седыми бакенбардами: таков был Дормидошка.

Студенты шумно вошли в кабак, мимоходом здороваясь с Дормидошкой.

Все толпой прошли в следующую комнату, предназначенную для «чистой» публики, заняли два стола, сдвинутых вместе. Во всем кабаке стоял густой табачный дым, трудно было различать окружающее. В отворенную дверь третьей комнаты виднелись только туманные силуэты.

Кабак был почти полон и гудел, как улей. В общем говоре слышалось нестройное пение, звон посуды, хлопанье пробок.

У студентов появилось пиво, зашумел разговор.

Стала прибывать публика из театра, где кончился спектакль. Сделалось еще теснее, шумнее. От воздуха, пропитанного табачным дымом и спиртными испарениями, ело глаза, саднило в горле.

Здесь никто не снимал верхнего платья, все сидели в шапках, грязный пол был заплеван, залит пивом, засорен окурками и объедками. Жестяные керосиновые лампы коптили, тускло мигали, приделанные к дощатым переборкам, оклеенным грязно-желтыми, унылыми обоями. Безотрадно выглядел трущобный кабак Дормидошки.

Но зато все чувствовали себя свободно, разговаривали с незнакомыми, как разговаривают в вагоне, пели во весь голос хором, каждая компания — свою песню. По мере опорожнения бутылок в кабаке воцарился полный хаос: чтобы слышать друг друга, люди кричали.

Кроме нашей большой компании в кабаке сидело много студентов-универсантов, только что пришедших из театра: все они были в парадных, длинных, полувоенного покроя мундирах с золотыми пуговицами. Некоторые — при студенческих шпагах: повидимому, участвовали в демонстрации «освистывания» певца Круглова. Сидели за большим круглым столом. Перед каждым из них стояла большая глиняная кружка с пивом. Мундиры и шинели их были распахнуты, фуражки лихо заломлены, молодые, красивые лица возбуждены. Они пели:

Гаудеамус игитур,
Ювенес дум сумус!

Из другого угла, занятого тоже студентами, запел хороший, звучный тенор:

Юность прекрасна, юность весельем полна!
Пейте же, други, больше вина!

Хор «людей науки» подхватил:

Эдитэ, бибтэ, коллегиалес:
Космульта, сэкуля, покуля!

Басы отрывисто звякнули в низкую ноту:

Нулля!

Потом все расхохотались, а тенор продолжал:

К пиву прекрасный
Желтый табак нам припасен:
Дал его ясный
Бог Аполлон!

— Эдитэ, бибитэ! — гремел латинский припев.

— Нулля! — махнув рукой, повторил Гизо, сидевший за нашим столом рядом со мной.

Теперь я ближе рассмотрел лицо этого странного, почти пожилого студента. Необыкновенная голова его с двойным, как бы двухэтажным лбом, казалась особенно большой в сравнении с тщедушным телом. Длинные усы, омоченные в пивной пене, свисали на впалую грудь. Поперек лба наморщились три страдальческие морщины; глаза, устремленные в пространство, казалось, не видели окружающего. Он непрестанно отхлебывал пиво маленькими глотками, но не делался пьянее, только в голосе слышалось больше теплоты и грусти да заметнее стал украинский акцент и склад его речи.

— Вот уже и времена такие пришли, что скучно стало жить на свете! — изрек он. — Не люблю я жизнь! Жить бы лет эдак двести тому назад! Ей-богу! Чтобы не было этих городов проклятых, были бы опять степи да Сечь! Кинул бы я тогда все книжки и науки, да пошел гайдамачить! Хай ему чорт, нашему капитализму с феодализмом!

Он опять глотнул из кружки и продолжал:

— Подивился бы хоть одним оком на всю Украину,

на Днепр, на степи, да на те козацкие могилы! Сумует мое сердце! Пятнадцатый год студенчествую, да уже, видно, и до могилы все буду учиться!

— Нулля! Всесильное «ничто»! Вот чем кончит наше поколение: неприспособленность к жизни, недовольство, отвращение!.. Бесплодные искания... у каждого сумует душа... все шукают своего места в природе и не находят!.. Болезнь эта носится в воздухе, как гнилой туман, проникает во все поры, застилает очи... Безвременье!.. Застой! Силы уходят внутрь!.. Государство не получает здоровых людей: они гибнут, бо дела настоящего не имут... и веселья настоящего нема у нас! Студенчество понижается, дичает!.. Лучшие утекают в подполье... Но гроза идет, она уже близко! Застанет нас всех такими слабыми, безвольными...

Гизо наклонился ко мне и, смотря в лицо страшными глазами, прошептал по секрету:

— Все погибнем! Все наше поколение! Никуда не годимся!.. Чем крупнее человек, тем хуже для него.

— Товарищи, — надрывался кто-то трескучим басом, — сегодня в опере произошла обструкция, студенты освистали Круглова! Произошел скандал! Вмешалась полиция, многих арестовали!

— Так ему и надо! Выпьем за студенчество.

— А все-таки свистать — подлость! Глупо!

— Не смейте оскорблять студенческую корпорацию!

— А вы не смейте свистать!

— Бредем без света, без дороги! — бормотал Гизо.

Эти крики доносились сквозь пение нескольких песен, нестройно исполнявшихся одновременно в разных углах:

Гуляв чумак на риночку! гей! —

разделывали в одной комнате.

Ах ты, зимушка-зима!
Холодна больно была! —

доносилось из другой.

Вси кишени вывертае!..
Гей! Гей!
Секуля! Покулля! Нулля! —

отрывисто звякал хор студентов.

Вдруг безобразный гул кабака покрыл красивый, мощный баритон. Бархатный и густой голос затрепетал в промозглом воздухе низких комнат, лишенных всякого резонанса. Благородные, чарующие звуки лились, переплывая через утихающий гам, освящая, облагораживая трущобу. Лилась печальная, протяжная песнь, полная грусти, сдержанных слез:

Звезда вечерняя моя,
Тебе привет шлю сердцем я!

Весь кабак сразу умолк, изумленный, озадаченный.

Ты, образ светлый, образ милый,
Ты светишь в жизни мне постылой!..

Казалось, душа певца, объятая глубокой тоской, рыдала в певучей арии Тангейзера.

Во мраке, в углу сидел за столом и пел человек, совсем, казалось, неподходящий для Дормидошкина кабака. Он был в «николаевской» шинели с бобровым воротником, в блестящем цилиндре. Бритое лицо выдавало артиста. Молодое, красивое, бледное, оно казалось печальным. Певец пел, облокотясь на стол, сдвинув цилиндр на затылок. На бледной руке голубой искоркой сверкал бриллиант. Сквозь опущенные ресницы светились лихорадочным блеском горящие глаза. Ни на кого не смотрел артист и дарил кабацкую публику таким вдохновением, какое, возможно, не всегда бывало у него и на сцене.

Это был освистанный оперный певец. Извозчики, кабацкие босяки, студенты, чиновники, вся пестрая публика ночного кабачка сгрудилась к дверям и слушала, затаив дыхание. Позади всех стоял сам Дормидошка и тоже слушал. Детские глаза Гизо неподвижно смотрели куда-то вдаль, как бы не видя окружающего, и в них сверкали искры безумия. Быть может перед ним уже стояли его жуткие галлюцинации.

А перед замершей и как бы отрезвевшей толпой пение все еще лилось. И оно казалось беспредельным, как море...

VI

Козьма непринужденно лежал на «девственном ложе», как высокопарно он называл свою дряхлую и жесткую кровать, упирался ногами в стену, достигая ими почти потолка низенькой, гробообразной комнаты, и давно уже выпускал синие кольца дыма из неугасимой трубки.

На столе мурлыкал маленький медный, давно не чищенный самовар.

Мы долго молчали. Казалось, Козьма углубился в себя, забыв обо мне.

Подружившись с Козьмой, я иногда заходил к нему, так как у обоих нас были знакомства и дела, имевшие отношение к рабочим. Иногда мы вместе ходили на толчок или в рабочие кварталы, по праздникам заходя в тамошние трактиры, доотказа наполненные рабочими: именно там происходили наши свидания с нужными людьми. В этих случаях он одевался в тот живописный костюм, в котором я впервые его увидел, вымененный им у какого-то пьяницы-босяка за старую студенческую шинель, с добавлением рваного картуза, удивительно картинно лежавшего на его роскошных кудрях. Этот маскарад вряд ли мог вводить кого-либо в заблуждение ввиду высоко-интеллигентной наружности моего спутника и врожденного изящества его манер, но ему нравилось появляться в народной толпе в костюме оборванца, пропойцы, тем более, что он и сам непрочь был выпить с кем угодно, причем никогда не пьянел. Костюм этот все-таки делал свое дело, позволяя вступать в разговоры с совершенно незнакомыми ему людьми из трактирной или базарной толпы, а поговорить с ними он любил, бросая в толпу афоризмы из Шекспира или Диккенса, тотчас же располагавшие к нему случайных собеседников, тоже в карман за словом не лазивших. На этой почве у него завязывались иногда самые странные знакомства, давно уже переставшие меня удивлять.

Мне нравились природная оригинальность, талантливость и острый ум этого человека с наружностью поэта или художника, доставлявшей мне, тоже поэту,

чисто художественное удовольствие. Особенно хорош собой он бывал после сильной выпивки накануне, когда прекрасное лицо его принимало оттенок страдальческой изможденности: какой великолепной «натурой» мог он быть в эти минуты, и я часто жалел, отчего я не живописец и не скульптор, чтобы воспроизвести этот редкостный экземпляр человеческой красоты.

Козьма, помимо посещения лекций, серьезно и много читал, много переживал и думал, ухищряясь еще где-то служить, не говоря уже о политической работе. Вместе с тем иногда он часами лежал, ничего не делая, на своем «девственном ложе» и принимая в это время самых неожиданных посетителей.

Настоящее его имя было не Козьма, а Казимир, намекавшее на польское его происхождение. Фамилии его я не знал. По его словам, его мать в свое время была знаменитой красавицей, блистая в варшавском «бонтонном обществе», отец участвовал в польском восстании, был сослан в Сибирь, где родился и вырос Козьма.

— Д-да! — как бы переводя дух, с глубоким вздохом крякнул вдруг Козьма до того звучно и неожиданно, что я невольно вздрогнул.

— Чай есть, черный хлеб есть — вместо белого, а сахару — ни в рот ногой! Живем, как сорок тысяч братьев!

— Это ничего, — отвечал я спокойно, понимая, что не об этом думали мы оба, — напьемся и без сахару, а черный хлеб я даже люблю!.. Тем более, что теперь пост!

— Да, пост!.. — иронически проворчал хозяин.

Я налил два стакана жидковатого чаю.

Вдруг дверь комнаты отворилась, и на пороге ее, на момент замерев в пластической позе, предстала перед нами довольно странная фигура: мужчина среднего роста и крепкого телосложения, лет сорока. Небольшая русая, клинообразная бородка, одутловатое лицо, огромный лысый лоб и длинные, свалявшиеся волосы, слегка вьющиеся, закинутые назад, придавали его голове писательский вид, но одет он был в женскую

казинетовую на вате кофту, подпоясанную веревкой; голая смуглая шея показывала полное отсутствие белья, рваные штаны представляли мозаику заплат и были заправлены в стоптанные, низенькие, рыжие сапоги. Измятый, бесформенный картуз непостижимого цвета с разорванным козырьком дополнял его костюм.

Он театрально снял свой картуз и, держа его на отлете, галантно произнес:

— Честь имею кланяться!

— А, Гаркуша! — лениво протянул Козьма. — Что давно не был? Ну, знакомьтесь!

Я с некоторым недоумением пожал грязную руку нового знакомого, а Козьма, не изменяя позы, продолжал:

— Садись вот здесь! — он указал ногой на ящик с книгами.

— Грейся! Водки у меня нынче нет, но ты можешь утилизировать вот этот стакан чаю. Ну, как твои дела?

Гаркуша сел и тотчас же с живостью заговорил:

— А дела мои поправляются! Получил паспорт! Теперь — обеспечен квартирой, никто не может выгнать! Я ведь квартирую под стогом сена, — внезапно обратился он ко мне, — ну и, знаете, забыл сегодня распорядиться, чтобы в моей комнате трубу закрыли: выдуло страшно!

— Хо-хо-хо! — сочувственно засмеялся Козьма, выпуская новый клубок табачного дыма. — Ты, брат, живешь подобно Диогену!

— Да, подобно Диогену! — серьезно подтвердил Гаркуша. — Только с той разницей между нами, что он жил в бочке, а я — под стогом! Извини, дорогой Козьма, мою новую подлость: шинель, которую ты мне подарил, я пропил. Нашлись люди, которые не постыдились подпоить меня и выманить эту шинель: много ли мне нужно, чтобы опьянеть, ведь я вечно голоден!.. И вот, как видишь, хожу опять в таком же шлафроке, каким снабдил тебя! Прости меня и не сердись!

— Ну, что ты? — возразил Козьма задушевно. — Мне только жаль тебя, твою беззащитность! И жаль, что тебе никак не поможешь!

— Зато теперь у меня — квартира Диогена! Ну-с, получил письмо от жены моей, ограбившей меня со своим любовником. Жена моя — дрянь баба, но любовник ее мне, право, нравится!

Гость принял от меня стакан чаю и, прихлебывая, продолжал:

— Просит она выдать ей отдельный паспорт, а я и сам-то до вчерашнего дня без паспорта жил! Впрочем, ответил ей письмом вполне литературным. Я даже наизусть его знаю и, если хотите, могу продекламировать перед вами!

— Валяй! — разрешил хозяин.

Гаркуша откашлялся, продолжая торжественно и театрально:

— Окруженная ореолом таинственности минувших дней, жена моя, голубка, Настасья Романовна! Приняв на себя образ странника, с котомкой за плечами и с деревянным кондуктором в руках, шествуя по шпалам пятым классом, я попал в сей город, где несчастная фортуна завлекла меня в такие катакомбы неизвестности, где сам Беспятый не блуждал. Живу я под стогом сена, душою изнывая и телом умирая, и попал в такую корпорацию отпетой жизни пьяницы, где у каждого каменное сердце, железная грудь и обращение довольно зверское!

— Хо-хо-хо, — не выдержал Козьма, — ну, дальше!

— Слушайте дальше: «так как опозитура моей собственной грязной личности, — продолжаю я дальше в моем письме,—более походит на всех зверей, нежели на человека, то прошу тебя — вышли мне немедленно пять рублей. Поверь, что мои слова настолько достоверны, сколь гора Голгофа, быстрее молнии долетают до сердца и ударяют как бы дверью в лоб! Заочно целую в уста твои сахарные и остаюсь верный муж твой Антон Гаркуша! Передай поклон тому, кто пользует тебя, а что касается до паспорта...

Тут лицо «декламатора» приняло юмористическое выражение и он закончил, подчеркивая, с авторским наслаждением растягивая и смакуя каждое слово:

— Что до паспорта, то ты, как с-кры-тая шка-тул-

ка... и как пьявка... бесцельно волоча-ща-яся по свету, можешь проживать и без оного!

Автор письма скромно умолк, прихлебывая чай, а Козьма вынул трубку изо рта, покраснел, потом посинел, страдальчески выпучил глаза, издал звук старинных стенных часов, собирающихся бить и только после этого раскатился звонким хохотом.

— Скрытая шкатулка? — кричал он сквозь хохот. — Как? Как? Пиявка, бесцельно волочащаяся по свету? Хо-хо-хо! вот это образы! Ну, а стихи есть?

— Есть! — отвечал Гаркуша скромно.

— Вы пишете стихи? — с невольным интересом спросил я.

— То есть, как вам сказать? — замялся Гаркуша. — У меня нет ни свечки, ни пера, ни чернил, ни бумаги — ведь под стогом живу! Я и письмо-то писал в извозчичьем кабаке, где состою дневным завсегдатаем... Не имею возможности писать: я их слагаю в уме-с.

— Верно, верно! — подтвердил, набивая трубку и переменяя свою странную позу, Козьма. — Разве не видишь? Он и обличьем-то на Некрасова похож!

— Читать, что ли, стихи-то? — с волнением спросил Гаркуша.

— Валяй! — ободрил его хозяин. — Да нет ли каких посмешнее?

— Нет, — с сожалением сказал поэт, — смешных больше не сочиняю, стих у меня теперь пошел больше драматический!

— Ну, это жаль!.. Что ж, отхватывай драматический!

Гаркуша положил ногу на ногу, немного выпрямился, потеребил спутанную бороденку и начал тихим задушевным голосом:

Полно кручиниться, сердце жестокое,
Я успокою тебя!
Есть на душе моей тайна глубокая,
Тайну поведаю я!
Врезался в память приветливый, ласковый
Взгляд души-девицы, сердце ласкаючи!..
Долго ли, сердце, с тобой в одиночестве
Будем скитаться мы, грудь надрываючи?
Бедное сердце, ты все исстрадалося,

Ты уже умерло, кровью облитое,
Всеми заброшено, всеми забытое,
Валом девятым ты вдруг взбушевалося!
Полно, не бейся с напрасною силою!
Скоро ты будешь пригрето могилою,
И под сырою могильной землей
Мы успокоимся, сердце, с тобой!..

— Хорошо! — медленно произнес Козьма, не выпуская трубки из зубов. — Ну, еще!

Лицо Гаркуши светлело теперь каким-то особенным, задушевным выражением. Он волновался, вытирал лысину грязным серым платком. Заплывшие глаза сверкали острым, нервным блеском.

Вдруг он встал, и, словно весь загоревшись, сверкая глазами, с бессознательно вдохновенным лицом протягивая перед собой дрожащие руки, продолжал неожиданно сильным, проникновенным голосом:

Собирайтесь, вы, тучи темные,
Завывайте вы, ветры буйные!
Ах, ваш стон глухой будет по сердцу
Мне, безродному, одинокому!
Ой, прошла гроза беспощадная —
Все погублено, опрокинуто!..
Вся душа в крови, сердце вынуто,
Изжевал язык я с голоду!
Ах, и ноша же чугунная
Стерла плечи мне, задавила грудь,
Искры синие из глаз падают,
Кровью ног моих орошен мой путь!..
Разыграйся ж ты, непогодушка,
Завывайте вы, ветры грозные!
Всеми брошенный и покинутый,
Диким воплем я вам откликнулся!

— Скажите, пожалуйста, — обратился я к Гаркуше, когда мы вместе вышли от Козьмы, — что заставляет вас вести такую жалкую жизнь? По разговору с вами и по вашим стихам видно, что вы — человек способный, что если бы вы захотели, то могли бы жить опять попрежнему, по-человечески! Отчего вы так опустились?

— Эх, товарищ студент! В том-то и беда моя, что сильно упал я духом, жизнь меня искалечила! Ведь вот вы видите, что у меня целы и руки, и ноги, а

ведь я — калека! Урод! Нищий духом! Я не жду от жизни ничего хорошего!

— Но почему же вы дошли до такого состояния?

— Как вам сказать? И сам не знаю! Думаю, что, кажется, началось все это через мою несчастную любовь!

— Что за чушь? Любовь! Мало ли с кем приключается несчастная любовь? Но ведь не живут они, как вы?

— Это правда. Тут не одна любовь виновата, а виновата передо мной природа, что создала меня таким впечатлительным! Ах, зачем дала она мне такую нежную душу, такое мягкое, бархатное сердце? И зачем жизнь не пригрела это сердце смолоду, зачем она не погладила меня по головке, зачем против шерсти погладила? Ведь человек же я! Нет! Что я говорю! Я не человек! Я должен прятаться от людей, не имея права на солнечный свет! Часто лежу я под стогом и смотрю, как загорается вечерняя звездочка и светит мне своим холодным, голубоватым светом. Тогда я думаю: а где же моя звезда? Может быть, тебя и вовсе не было? ни разу не взошла звезда моя туманная! А ведь для чего-то родился, к чему-то стремился, чего-то хотел, страдал и отжил, заживо умер, отцвел, не успевши расцвесть! Ну, вот моя квартира: хотите посмотреть ее? Посмотрите, это поучительно!

Я молча последовал за ним через пустынный двор. Было темно, давно уже наступила холодная зимняя ночь.

На заднем дворе стоял стог сена. Две больших собаки выбежали нам навстречу и стали ласкаться к Гаркуше.

— Не бойтесь их, — говорил он, — это мои друзья! Вот видите эту дыру в стоге! Видите эту охапку сена? Пощупайте! Сено мокрое, с инеем! На ночь я залезаю в эту дыру, а сеном накрываюсь сверху и сплю. Конечно, дрожишь всю ночь! Ведь теперь не лето, чтобы жить на даче, правда?

— Послушайте! Пойдемте ко мне ночевать! Разве тут можно спать? У меня, правда, тесно, но все же в теплой комнате хоть одну ночь переночуете!

Гаркуша с недоверием посмотрел на меня и отвечал грустным голосом:

— О, знаете ли, мне теперь все равно! Я чувствую, что скоро умру! Смерть будет моей избавительницей!

— Ну, полноте, пойдемте!

Я взял его под руку, и мы вышли на улицу. Пройдя несколько шагов, Гаркуша вдруг остановился.

— Ваши хозяева увидят меня?

— Ну, так что ж? Им какое дело?

— Не пойду! — решительно заявил он, вырывая свою руку из моей. — Вам будут от них неприятности из-за меня! Не пойду! Если хотите когда-нибудь повидаться, то заходите в трактир Дормидошки: знаете, на углу, около театра, я там с утра до вечера.

— Куда же вы?

— Под стог! Прощайте! Дай бог вам здоровья!

Он сгорбился, заправил озябшие руки в рукава своей кофты и скрылся в ночной темноте.

С минуту я стоял на одном месте и смотрел ему вслед. Дул холодный ветер, падала крупа. Беззвездное небо было мутно и мрачно. Из-под горы доносился шум огромного города, черневшего бесформенной массой, осыпанной бриллиантами переливавшихся огней. Холодная, темная ночь окутывала землю.

Наутро мне вздумалось отыскать Гаркушу и записать его стихи на память о встрече с этим спившимся, но талантливым человеком. С этой целью я отправился к Дормидошке.

В грязном извозчичьем кабаке в этот час не было почти никого, кроме стоявшего за стойкой Дормидошки и Гаркуши.

Поэт сидел за косушкой водки. Он сразу узнал меня и, повидимому, обрадовался.

— А! Товарищ студент! Здравствуйте! Вот уж никак не ожидал, что придете! Спасибо! Дай бог вам здоровья!

Он был уже «подогрет» — косушка оказалась опорожненной.

— У меня есть к вам просьба!

— Какая?

— Прочтите мне ваши стихи, а я их запишу!

— Слышь, Демидыч? — обратился Гаркуша к буфетчику. — Ты все говоришь, что я дурак! А вот, видишь, ученый господин считает меня за умного, мои стихи записать хочет! А ты говоришь, что я дурак!

— Ну, диктуйте! — сказал я, вынимая карандаш и бумагу.

— Хорошо, только не выпить ли нам спервоначалу?

Я спросил водки.

Демидыч молча подал нам косушку скверной сивухи и соленый огурец с черным хлебом на закуску, вместо рюмок — толстые шкалики из зеленого стекла.

Гаркуша налил их трясущейся рукой.

— Чокнемся! Дай бог тебе здоровья!

Мы выпили и закусили.

— Странный вы человек! Отчего вы не пошли ко мне ночевать?

— Эх! — воскликнул быстро захмелевший Гаркуша. — Ведь мне и самому хотелось пойти к тебе — ведь я шел за тобой! Да! Сам отказался, а потом воротился и все шел. А ты идешь, не оглядываешься! Кабы ты оглянулся! А мне было стыдно! Э, что тут! наливай еще! Скорее бы забыться и умереть! Вот чего я хочу! Смерть уже скоро придет, я чувствую!

В тусклые окна кабака било сиявшее по-весеннему солнце, с улицы доносился праздничный звон колоколов.

— Слышишь звон? У людей праздник, но для меня это — похоронный звон! Ну, пиши!

Он диктовал и пил, быстро пьянея. Я торопливо исписывал клочки измятой бумаги.

— Да! — рассуждал он вперемежку с диктантом. — Жизнь — обман, насмешка! Лучше бы не родиться! Пью, чтобы скорее умереть, и чем скорее, тем лучше! Давно уже погиб!

Долго ли, сердце, с тобой в одиночестве
Будем скитаться мы, грудь надрываючи?
Ах, и ноша же чугунная
Стерла плечи мне, задавила грудь!
Кровью ног моих орошен мой путь...
Изжевал язык я с голоду!..

Язык Гаркуши начал заплетаться. Стихи путались. Лицо приняло детское выражение. Он было начал диктовать страшное стихотворение под заглавием «К сивухе», но вдруг остановился и подозрительно вгляделся в меня, как бы не узнавая.

— Нет! Не буду больше! Да ты кто такой? Откуда взялся? Может быть, ты мне померещился? Что ты мучаешь меня? Зачем тебе мои стихи?.. Ты, видно, их отпечатать хочешь под своей фамилией? Нет, врешь! Ха-ха-ха! Дай-ка я сам под ними подпишусь! Да! Вот так оно будет вернее! А то видишь, какой выискался!.. Ха!

Шатаясь, он тяжело встал из-за стола и, схватившись за сердце, крикнул:

— Все люди — подлецы! Все мерзавцы!.. У каждого — каменное сердце, железная грудь и обращение довольно зверское!..

Гаркуша покачнулся и вдруг, задыхаясь, замертво грохнулся навзничь.

VII

Однажды я получил записку от «Старика», опять служившего в управлении железной дороги.

«Старик» категорически приглашал меня явиться утром в управление, так как прошение мое принято, и я зачислен на должность.

Известие это скорее испугало меня, чем обрадовало: я чувствовал неспособность к канцелярскому труду! Непобедимое, врожденное к нему отвращение! Пробовал служить и прежде, но ничего из этого не выходило: переписывать бумаги не мог, бессознательно изменяя канцелярский язык, незаметно для себя то пропуская, то прибавляя целые строки. Составление бумаг, докладов и отчетов, которые мне поручали, казалось мне непреодолимо трудным и до того скучным, что я тупел, теряя всякую сообразительность. На меня нападала ужасающая лень, переходившая в ненависть к этому роду труда. Если же приходилось заниматься еще и по вечерам, то жизнь, наполненная ненавистной работой, теряла для меня смысл, каза-

лась каторгой. Я приходил в отчаянье и думал о самоубийстве. Кроме того, я ненавидел канцелярское начальство, а оно не могло терпеть меня. Чиновники беспричинно трепетали даже перед самыми маленькими своими начальниками, постоянно чувствуя себя в чем-то виноватыми; начальству нравился этот трепет забитых, навсегда испуганных людей. Что за жалкий народ были канцелярские писцы, отупевшие, лишенные всяких интересов, разговаривавшие только о служебных дрязгах и мечтавшие об ассигновках, прибавках жалованья и наградных к праздникам, скучно напивавшиеся каждое двадцатое число! Никогда у меня не было с ними ничего общего.

Теперь опять представляется канцелярская служба, о которой я сам просил и за меня хлопотали — как же от нее отказаться? По какой причине? Если признаться в неспособности, так ведь никто не поверит, подумают, что просто лентяй, отлыниваю от настоящей работы! А вдруг служба в управлении дороги не похожа на другие канцелярские службы? Может быть, она даже понравится мне? Попробую в последний раз, и если опять не повезет — тогда я, действительно, никчемный, ненужный человек, бесплодно ищущий и не находящий своего места в жизни. Тогда прощай любовь к Валентине, не пойдет она с бродягой разделять полуголодную бесприютную долю!

Мысль о Валентине и моей любви к ней заставила меня колебаться.

Вот почему я пошел на зов «Старика».

Он встретил меня в приемной и тотчас же повел через амфиладу комнат, наполненных пишущими людьми.

— Ты поступишь на мое место! — сказал он смеясь.

— А ты?

— Меня отправляют в ссылку! Я давно держу твое прошение наготове. Теперь лови момент.

Мы вошли в кабинет помощника управляющего и начальника канцелярии. Нас встретил представительный мужчина средних лет, с лысеющим лбом, холеной каштановой бородой. Друг представил меня. Начальник взглянул на нас обоих умными, веселыми глазами и подал мне руку.

— Отлично! — быстро заговорил он с легкомысленным видом. — Вы уже зачислены, остается только представить вас барону. Пойдемте!

Он встал, захватил с собою какие-то бумаги и сделал элегантный жест, приглашая меня следовать за ним.

Пройдя через комнаты канцелярии, остановились у массивной двери с тяжелой драпировкой. Мой спутник беззвучно отворил ее, и мы очутились в роскошном кабинете барона Штемпель, управляющего дорогой.

За огромным письменным столом сидел пожилой, высокий и стройный, по-военному прямо державшийся человек с короткими седыми усами, седой стриженой головой, обрюзглым бритым лицом и мешками под глазами.

— Вот, ваше превосходительство, новый секретарь особой канцелярии! — представил меня начальник канцелярии.

Барон поднял усталые веки. Я поклонился. Он мельком взглянул на меня, кивнул головой и вдруг загудел неожиданно звучным басом:

— Очень рад! Очень рад! Что? Да, да! Вместо прежнего? Хорошо, хорошо! Как фамилия? Где служили?

Я отвечал ему в тон, так же коротко, как он спрашивал. Даже голос мой звучал в ту же низкую, басовую ноту. Говоря, я рассматривал барона с невольным интересом: он кого-то напоминал из виденных мною людей, я не думал о том, что говорю, а думал о лице барона, о его усталых глазах.

Начальник канцелярии чуть-чуть потянул меня за рукав и повторил какой-то вопрос барона, на который я не сразу ответил, занятый посторонними мыслями. Услышав мой голос, похожий на его собственный, барон слегка удивился, поднял седые брови. Взгляды наши встретились, и он отвел в сторону свои тусклые глаза.

Помощник подсунул ему для подписи принесенные бумаги. Барон Штемпель взял со стола штемпель и стал отстукивать свою подпись. На бумаге тоже выходило — «Штемпель».

— Экий голос у вас! — сказал мой патрон на обрат-

ном пути. — Почти как у барона, даже не подходит для молодого секретаря! Таким голосом только бы распекать подчиненных! Ну, пойдемте! Я вам представлю их. В вашем распоряжении будут две прехорошенькие барышни, только вы с ними полегче!

Особая канцелярия, начальником которой я неожиданно сделался, помещалась совершенно отдельно, вдали от комнат управления, и представляла большую светлую комнату со шкафами дел по стенам и двумя столами — письменным и канцелярским: за последним сидели две барышни, очень красивые, элегантно одетые, и писали что-то. Одна была бледная блондинка с роскошными золотыми волосами, другая — смуглая брюнетка с сочными, как вишни, губами.

Мой начальник подошел к ним и прежде всего поцеловал у обеих ручки с едва уловимой фамильярностью. Он шутливо представил меня им, а я не подошел к ручке. Начался игривый разговор с непонятными для меня намеками.

У блондинки были грешные, опытные глаза. С ней мой начальник обращался с той небрежностью, которая переходит иногда в шутливое презрение. Мне не понравилась их общая заметная близость, странные взгляды и атмосфера флирта, которым вдруг запахло в моей «особой канцелярии».

Рабочий Абрам сделался моим близким приятелем: нас сблизило опасное, но увлекательное дело — мы переправляли на заводы и фабрики подпольную литературу, которую я получал сначала от «Старика», а потом, когда он уехал — от Козьмы, с которым я тоже часто виделся.

Связавшись со службой, я уже не имел времени заниматься ни литературой, ни пением в капелле. По вечерам должен был корпеть над «сверхурочной» работой, таская домой папки канцелярских «дел».

Мое участие в революционной деятельности держало меня под постоянной опасностью ареста, тюрьмы или бегства из города; таким образом, о спокойной, оседлой жизни нечего было и думать.

На-днях Абрам принес какой-то запакованный ящик, довольно тяжелый и спрятал его в моей комнате в плите, сказав, что скоро «сплавит». Я не стал расспрашивать, что это за ящик.

Я давно уже понял мою унизительную роль: «особая канцелярия» представляет как бы замаскированный гарем моих начальников, а я не что иное, как молодой евнух при этом гареме. То и дело раздается звонок из кабинета барона, и я, как лакей, должен являться на этот звонок. Барон отдает мне нелепые приказания, возражать ему нельзя, а делать нужно, но не то, что он приказывает, а что велит его помощник, в котором вся сила.

В сущности, генерал не злой, но безнадежно бестолковый, ничего не смыслящий в своем деле человек. Его помощник, как я и ожидал, великий бабник, жуир, кутила, прожигатель жизни, но делец, и фактически управляет дорогой.

Моя лакейская должность кажется мне невыносимой, и я мечтаю о том, чтобы меня за что-нибудь выгнали со службы. Моя недавняя голодная, совершенно необеспеченная жизнь в этом городе представляется мне теперь в розовом свете.

Каждый день провожаю Валентину из гимназии. Я ничего не говорю ей о своем недовольстве службой, и бедняжка радуется за меня, думая, что наконец-то я «устроился»; она чувствует себя почти моей невестой, хотя между нами попрежнему ничего не говорится о любви. В гимназии скоро начнутся выпускные экзамены, она кончит курс, получит диплом, и я вижу, как она ждет неизбежного объяснения.

Теплое, солнечное апрельское утро. Город залит ликующими весенними лучами. Сияют кресты и купола церквей, окна магазинов и высоких каменных домов. По тротуарам бежит нарядная толпа. Деревья распускаются. Издалека слышно, как в университетском саду поют студенты.

В этот утренний час улицы особенно оживлены: все спешат на работу, на службу, на занятия. Только я иду не торопясь, занятый своими мыслями. В хлопотах службы я две недели не был на «Клоках».

Вдруг вижу: навстречу мне, мелькая в толпе, быстро идут Ефрем и Козьма, оживленно жестикулируя. У Ефрема шинель нараспашку, картуз набекрень, вид залихватский, а Козьма вновь в необычайном наряде — кавказском костюме из белого сукна, в бурке и папахе, лихо сдвинутой на затылок. Чорт его знает, до чего к лицу ему бывает всякий костюм, но в особенности этот, при его черной бородке, обрамляющей поразительно красивое лицо.

— Ба! — закричали они оба, смеясь и загораживая мне дорогу. — Куда?

— На службу!

Друзья расхохотались.

От них пахнуло на меня свежевыпитым пивом, а Ефрем, остановясь, тихонько, но красиво запел:

Ой, честь ли боярину кичку носить?
Добру молодцу да по воду ходить?
Гусляру-певуну во приказе сидеть —
По-то-лок коп-тить?

— Пойдем с нами!.. — добавил Козьма. — Слышишь, как наши заливаются?

— Сходка назначена, — перебил Ефрем, — по поводу закона о нашей солдатчине! Ты знаешь, масса студентов исключена: Францевича, Крупицына, Данилу, меня — всех в солдаты! Козьму, Гизо и «Старика» — в ссылку на три года, в Ташкент! Всю клочковскую — на смарку!.. Идем на сходку! Демонстрация будет!

Я молча повернул обратно.

Известие о внезапной расправе с молодежью поразило меня.

— Да ведь это полный разгром всего клочковского района!

— Совершенно верно!

— И не только клочковского! Универсантов тоже здорово вычистили! В духовной семинарии бунт был! Бурсаков исключили — человек двадцать! А кроме того — в рабочих кварталах аресты!..

Мы шли теперь тройкой, быстрыми шагами прибли-

жаясь к университетскому саду, откуда гремел густой студенческий хор:

Отречемся от старого ми-ра!

Университетский сад представляет огромный парк — остаток леса, спускающийся через «Швейцарию» — естественные холмы и овраги — с возвышенности к речке, за которой расположены «Клоки». В этих оврагах «Швейцарии» и происходили всегда студенческие «сходки».

Мы вошли в сад со стороны «Клоков» через калитку, откуда меж кустов шла узенькая тропинка. Пение умолкло. Очутившись на краю оврага, мы увидели на дне его большую толпу в несколько сотен человек, что-то кричавшую. В это время с противоположной стороны оврага показались полицейские с револьверами у пояса, рассыпавшиеся цепью. Их было много: за первой цепью, спускавшейся в овраг, показалась вторая. Осанистый человек в светлосерой шинели и белых перчатках, стоявший над спуском, махнул рукой: цепь полицейских стала растягиваться, окружая овраг. Тогда толпа кинулась вверх по откосу, где еще не было полицейских, и бросилась бежать в рассыпную.

Мы остановились в нерешительности. Мимо нас, запыхавшись, пробежало несколько молодых людей, одни были в студенческих шинелях, другие в рабочих блузах.

— Эге, — побледнев, сказал Ефрем, — дело скверно! Поворачивай, ребята!..

Мы кинулись обратно к калитке, но ее загородил собой дюжий полицейский. Раздался пронзительный свист. Кто-то схватил Ефрема за шиворот, но тут Козьма, сбросив бурку и папаху на землю, ловким ударом свалил полицейского. Ефрем юркнул в калитку. Козьма перескочил ров, и вслед за ними откуда-то мелькнуло бледное лицо рабочего Абрама, стали перескакивать через изгородь бегущие студенты. Свист, топот, крик, свалка. Группа полицейских снова завладела калиткой.

В тени кустов надев на себя бурку и папаху, я

повернул навстречу бегущим и медленно пошел на главную аллею, к парадному входу.

Мимо меня пробежало несколько полицейских, подозрительно оглядевших меня; я шел так тихо и спокойно, что они даже не окликнули меня. И немудрено: парадные каменные ворота, выходившие на главную улицу, охранялись полицейскими. Я пошел прямо на них.

— Что за человек?

— Артист из сада «Тиволи»! Пропустите, пожалуйста, спешу на репетицию!

Околоточный еще раз оглядел меня и, махнув рукой, пожал плечами:

— Пропустите! — потом начал что-то тихо говорить человеку в порыжелом пальто.

Я прошел ворота.

Ноги мои просили прыти, но я шел с прежней медленностью, ни разу не оглянувшись. Остановился у театральной афиши: Сад «Тиволи». «Гастроли Украинской труппы». «Цыганка Аза».

Очень удачно сказал про «Тиволи»: там могло и не быть никакой труппы. Вдруг почувствовал, что на меня кто-то смотрит: оглянулся — недалеко от меня рассматривает витрину человек в порыжелом пальто. Прибавил шагу. «Он» — тоже... Мы шли долго. «Порыжелое пальто» неотвязно поворачивало за мной. Я хотел зайти в Управление, показаться на службе, но раздумал: раз я «артист», то и пойду в «Тиволи». «Пальто» шло за мной до дверей театра.

Изнутри помещения доносились звуки оркестра и густого, сильного хора. Я вошел в вестибюль театра. Хор умолк, уходя за кулисы. Музыканты складывали инструменты. Около конторы стояло несколько молодых людей различного типа. Я не знал, что мне делать, на что решиться.

— Вы тоже на пробу? — спросил меня высокий детина басом. — Идите к дирижеру. Он только что пошел за кулисы.

Я хочу как можно дольше задержаться в театре. Иду на сцену.

Дирижер, высокий, черноусый человек с бледным,

нервным лицом, стоит в узком проходе около кулис, с кем-то разговаривает.

Я приподнимаю мою папаху.

— Вы меня? — спрашивает он быстро. — На пробу?

— Да.

— Пойдемте!

Кругом проходят люди с бритыми физиономиями. На сцене репетируют пьесу.

Мы наверху, в пустой комнате.

Дирижер вынимает скрипку, ударил смычком сразу по всем струнам, давая тон:

— Спойте что-нибудь!

Я спел романс «Дивлюсь я на небо».

Покрутив ус, дирижер сказал:

— На первый месяц — пятьдесят рублей, а потом, когда усвоите репертуар, вам прибавят. Через неделю мы уезжаем! Можете вы собраться в неделю?

— Могу!

— Ну, тогда идемте к хормейстеру!

Внутренность дощатого летнего театра была неуютна, висели грязные, истрепанные декорации, света за кулисы почти не проникало, мы наталкивались на бутафорскую мебель, скамьи, табуретки, пробираясь за задним занавесом, и наконец вошли в низкую комнату, откуда слышно было пение под скрипку. Пели по нотам несколько певцов. Им аккомпанировал на скрипке приземистый человек в грязном пиджаке с висящими вниз усами и кротким выражением круглого лица. При нашем появлении скрипач опустил скрипку. Певцы умолкли.

— Вот вам, Тиша, еще новый хорист! — сказал дирижер. — Пройдите с ним завтрашние хоры!

«Тиша» неловко протянул мне грязную руку и кротко сказал нутряным, утробным голосом:

— Пожалуйста! Знакомьтесь и посидите пока! Сейчас с тенорами кончу!

Я поздоровался с хористами.

— Сделаем передышку! — сказал Тиша, вынимая папиросу.

Тенора оба были маленького роста. У одного, по фамилии Матвеев, была веснущатая плюгавая физио-

номия и прекрасный, легкий, высокий голос. Другой — юноша лет двадцати, с едва пробившимися усиками — назвал себя Гинским: лицо его было более симпатично. В углу стояли два баса, тоже молодые люди: один высокий, с мощной фигурой, с красивым лицом, другой — постарше, приземистый, жилистый, с физиономией Мефистофеля из мелкого юмористического журнала. Высокому фамилия была Бугай, а «Мефистофелю» — Пакля.

Все они, подобно мне, только что поступили в труппу.

— Вы не студент? — с любопытством спросил меня Гинский, запустив руки в карманы брюк, поджав одну свою коротенькую ножку и, как балерина, повертываясь на другой.

— Нет!

— Ну, все равно, вероятно были студентом: по лицу видно! А вот мы с Бугаем — бурсаки из духовной семинарии! Я из пятого класса, он из второго!

— Тильки що выгналы! — звучным «кантанто» подтвердил Бугай, улыбаясь.

— За что же?

— Бунт у нас був, семинарский! Окна у бурси выбилы, мебель переломалы. Выключили, бодай им! Що воно робить? К батьке и на очи не кажись: взбучку даст! а вин у мене товстый, да здоровущий пип! Забоявся я, да вот прямо из бурси с труппой утик!

Все засмеялись, а Пакля сказал, улыбаясь замечательно сложной, хитро-морщинистой, ядовитой улыбкой:

— Бугай! Вы, говорят, рояль на спине подымаете? Как же вы своего батьки забоялися?

— Эге! — возразил Бугай. — Подывились бы вы прежде на моего батьку, а потом бы уже и говорили! Сами-то вы не из духовных?

— Нет! Я православный! — ядовито возразил Пакля. — Из крестьян, в деревне вырос, а потом в капелле пел, да по монастырским хорам скитался!

— Тертый калач! — вставил слово Матвеев. — Кто в монастырях жил, тот и чорта не боится!

— В чорта я еще верю немножко, — с ехидством отвечал Пакля, — а вот в бога, да в совесть, да в людскую правду, в добро это самое, извините, не верю!

— Уж не книг ли вы начитались?

— А что ж? В монастырях, пожалуй, кое-чего и читав, а главное, людских морд видев столько, что чорт их все и пригадае! Даже умных людей видел! Я не о вас, конечно, говорю, Матвеев!

Пакля обвел всех насмешливым взглядом.

— Где бог? Нет его у людей! Ни за какую подлость не видал я наказания людям! Все можно, нет ни добра, ни зла! Ничего нет!

— Оттого вы в чорта и верите, что и по обличью-то на него похожи!

— Ну, довольно, хлопцы! — вмешался Тиша, вынимая скрипку. — Басы и баритоны, пожалуйста!

— А вы, Тиша, где получили образование? — не унимался Пакля.

— В университете! — неожиданно ответил хормейстер.

— Неужели?

— А что ж? Кончил медицинский факультет, да прямо на сцену! Двенадцать лет хормейстером!

— И довольны?

— Очень!

— Зачем же вам нужен был университет?

Тиша нахмурился.

— А так уж оно вышло! Судьба! — И добавил загадочно: — Слишком ночь темна на Украине! Ну, довольно разговоров! Повторим сначала общий хор.

Тиша развернул ноты и с взволнованным видом рванул на скрипке вступительный аккорд.

— Украйнофил! — подмигнув в его сторону, вполголоса сказал Матвеев и запел соло великолепным, мягким, серебристым тенором, так не подходившим к его невзрачной, корявой наружности:

Сгинут наши вороги,
Як роса на сонци:
Запанюем, братця, мы
На своий сторонци!

Актеры репетируют. Кругом типично актерские, бритые физиономии с наигранной важностью, простотой в манерах или комической живостью, смотря по амплуа.

Репетируя, они безучастно бормочут вполголоса свою роль вслед за громким чтением суфлера, сидящего перед ними за столом, шутливо улыбаются друг другу в самых трогательных любовных или драматических сценах. Они привыкли постоянно чувствовать комическое противоречие между собой и ролью, постоянно обманывать зрителей, изображать сочиненные чувства, залезать в чужую шкуру, в чужую душу.

Изображая каждый вечер то героя, то негодяя, то порок, то добродетель, всю гамму человеческих чувств и характеров, эти люди продолжают играть роли в жизни, ибо у некоторых сцена вытравила грань между «игрой» и жизнью.

Хористки сидят на длинных скамьях по бокам кулис, на реквизитных стульях и табуретах, от нечего делать смотрят репетицию. Они сторонятся хористов и охотно разговаривают с актерами, хотя бы самыми третьестепенными.

Пакля пристает для всеобщей потехи к давнишнему своему другу хористу Пурицу. Издевается, тонко насмехается над ним, но Пуриц этого не понимает: он замечательно простодушен, ленив, но любит коварного друга и, плохо понимая соль русского языка, смеется вместе с ним над собой. Это даровое, добровольное представление за кулисами вызывает взрывы грубого, звучного смеха всего хора. Наконец, Пакле надоедает беззащитность добродушного простака, и он отходит в сторону.

Тогда Пуриц идет за ним.

— Отчего ты не говоришь со мной еще немножко? — с трогательной тревогой спрашивает он. — Может быть, ты обиделся? Может быть, я оскорбил тебя?

Это вызывает новый всеобщий смех, и Пакля вынужден снова морочить и вышучивать друга.

На сцене все еще идет репетиция, а за кулисами примадонна Черноморская, худая и некрасивая, но обладающая выдающимся голосом, плачет навзрыд: она стоит перед «Батькой», как все здесь зовут антре-

пренера, умоляет его о чем-то, ломает руки, и ее бледное лицо облито обильными слезами.

Пожилой, осанистый антрепренер стоит перед ней с холодным, спокойным лицом, на все ее слезы отвечает неумолимо:

— Нельзя!

Певица рыдает:

— Но я не могу же, не могу сегодня петь... я без голоса! Пожалейте!.. Освободите!..

— Нельзя!

Проходят мимо приятели-комики, уже отчитавшие свои роли — Глазунов и Загорский. Загорский — серьезный, флегматичный комический актер: играет большею частью пьяных и сам всегда немножко пьян. Он высок и строен, вероятно, был когда-то красавцем, но теперь бритое лицо у него заскорузло и затвердело от многолетнего гримирования, обрюзгло от водки и беспокойной жизни. Глазунов, наоборот, молодой, полный сил, необычайно живой весельчак, с красивым, смуглым лицом и смеющимися глазами.

— Клянусь истинным богом! — выразительно, энергично говорит он и сильно стучит себя в грудь кулаком. — Клянусь истинным богом!

Вдруг они замечают плачущую и на минуту прерывают разговор.

— Эге! — с юмористической гримасой говорит Глазунов и машет рукой. Он не любит вечно ноющую «рабочую лошадь» — Черноморскую.

— Что ж она? — чуть покачиваясь, привыкший и в жизни притворяться пьяным, флегматично спрашивает Загорский.

— А таки ничего же! Капризы, как всегда! Клянусь истинным богом, — глаза на мокром месте! Идем до кассира!

Через несколько минут они уже в маленькой комнатке кассы, стоят у порога, приняв вид бродячих, уличных, нищенствующих музыкантов: у Загорского в руках гитара, и он гулко аккомпанирует жалобно поющему Глазунову, который принял вид слепого нищего. Глазунов поет нищенские стихи, но с такими скабрезными словами, что толстый бородатый кассир,

слушая их, давно схватился обеими руками за живот и, весь посинев, с глазами, полными слез, никак не может перевести дыхание — вот-вот лопнет от беззвучного смеха. Сцена эта задумана комиками с явной целью задобрить кассира и получить у него негласный аванс на трактирную выпивку.

В это время мимо кассы прошел за кулисы настоящий слепой нищий с мальчиком-поводырем и бандурой, висевшей у него сбоку на ремне вместе с сумой.

— Взять разве для картины? — сказал кому-то дирижер. — Позовите на сцену, пусть поиграет!

— Бандурист!.. — послышалось кругом. — Привели слепого бандуриста!

С бельмами вместо глаз, еще не старый, с небольшой бородой, в мужицких сапогах, широких шароварах и рваной «свитке», медленно и осторожно шел он, придерживаясь за плечо своего поводыря, такого маленького, бледненького, с голубыми глазами и белыми, словно льняными волосами, что все невольно ему улыбались.

Дитя было одето в лохмотья, грубые башмаки и огромную сивую шапку, которая постоянно надвигалась на глаза.

Сцена наполнилась актерами, артистками, хористами и хористками, музыкантами, пришедшими из оркестра. Бандуриста обступили тесным кольцом.

— Скоромне заспивай, чоловиче божий! — с притворным благочестием сказал по-украински Пакля, состроив лицемерную физиономию.

— Ни! — серьезно отвечал слепой. — Скоромне не хочу!

— Из песен Сковороды!

— Думу! — слышались голоса.

Слепой обхватил бандуру руками, и вот корявые пальцы проворно забегали по многочисленным струнам, полились нежные, задумчиво-грустные трели.

Так он стал играть, припав ухом к бандуре, словно хотел подслушать ее думу.

И вдруг говорком заговорил в такт ее нежно-печальным аккордам:

То не сива зозуля у темному гаи закувала!

Нежные струны пели и плакали, рассказывая что-то. Бегали по ним неожиданно проворные, корявые пальцы.

То сестра брату на чужу сторону
Часты пысма пысала!

И опять полились нежные трели. Голоса у народного певца не было почти никакого: он не то пел, не то рассказывал, а нежные трели бандуры лились и дрожали, плача и вздыхая о чем-то.

«Сестра» плачет, что «брат» где-то далеко, «за темными лесами, за высокими горами», некому за нее заступиться, защитить от чужих людей.

Хочет она быть легкокрылой горлицей, чтобы перелететь темные леса и высокие горы...

Лица труппы становятся все серьезнее, внимательней: неожиданно шевельнулась в сердце какая-то старая, забытая, тонкая боль. Бесхитростный певец нашел никому неведомый путь к сердцу этих искушенных в лицедействе людей; он своими нежными струнами заставил зазвучать все чистое и сокровенное, что только было глубоко спрятано в каждой душе.

Может быть, у каждого из них была где-нибудь далеко любящая сестра или милая девушка, писавшая «часты пысма», полные грустной нежности и плохо скрытого горя?

Каждому вспомнилось, как он далек, оторван от любимых и близких, в каком поразительном одиночестве, без любви и ласки, бредет глухой, безыменной дорогой, без надежд на счастье. В прошлом все разбито, разрушено, изуродована жизнь, а в душе болит незаживающая рана. Внезапное, горькое сожаление! Мучительно-сладкая, острая боль! И звучит печальное слово «зачем»? Зачем не удалась жизнь? Почему они сделались лишними в ней, бросили родину, бросили милых сердцу, любящих, честных, чистых и безвозвратно погрузились в эту бесприютную, скитальческую жизнь?

Ой, як Сич, стару нашу маты,
Тай зруйнувалы!

Он поет уже другую, старую «думу» о разрушении Запорожской Сечи. Но кажется, что в старой песне звучит что-то близкое слушателям, словно кто-то оплакивает придавленную, задушенную жизнь, тоскует по воле, плачет о погибших мечтах. Горло сжимается от внезапно прихлынувших, теплых слез.

Все стоят и слушают, низко опустив головы. Видно, как многие плачут.

У степу тильки витер
Та ковыль колыше!
Та идут стары гайдамаки,
Та гирько плачуть!

Рисуют трепетно поющие струны безотрадную степь. Идут по ней старые «гайдамаки», седые, загорелые, печально опущены их бритые головы и висят вниз длинные, седые чубы, сивые усы падают на иссохшую грудь, бегут по усам горячие, горькие слезы.

Блестит на солнце, колышется белый ковыль, а ветер струнным звоном звенит и плачет, бьется о серебряную степь.

Ой, зийшла зоря та вечировая,
Над Почаивом встала:
Выступило турецкое вийско —
Як та черная хмара!

Играет, поет слепой бандурист, у ног его сидит бледное дитя в лохмотьях и печально посматривает кругом своими милыми глазками, голубыми, как васильки в степи.

Я так увлекся сценой, что не мог принудить себя зайти в Управление отказаться от моей должности, откладывая это неприятное путешествие со дня на день, и когда, наконец, явился туда, то уже оказался уволенным.

Зато я сразу вошел в странную, увлекательную жизнь: днем — репетиция, вечером — спектакль. Мне нравилась неуютность и суголока закулисной жизни. В ней чувствовалось что-то живое, свободное и новое для меня.

Смотреть на представление каждый вечер собирается полный театр зрителей, которые наслаждаются и аплодируют работникам сцены. Что за жизнь! Здесь можно забыть о настоящей голой действительности со всей ее беспощадной и часто отвратительной правдой. Можно жить призрачной, выдуманной приукрашенной жизнью. Когда действительность так сера и неприглядна, хочется яркой, утешительной лжи, в которой даже муки, страдания и смерть изображаются красиво.

Хорошо участвовать в этой «игре» то в роли красавца-любовника, то героя или действующего лица обаятельной сказки, участвовать в театральных битвах, хорах и плясках, любить и ненавидеть, плакать и смеяться, радоваться и страдать только на один вечер, пока не опустится занавес, не снимешь грим и не смоешь румяна!

Через несколько дней весь этот бродячий табор свернет полотна декораций, погрузит вместе со своими пожитками в багажный вагон ящики с костюмами и париками — и пойдут мелькать реки, степи, горы, железнодорожные станции, большие и малые города — такое все новое и невиданное для меня, такое постороннее для всех нас, бродячих певцов и гаеров, не участвующих в действительной жизни, а только отражающих ее при свете ярких вечерних огней.

Сдав свои вещи в общий багаж труппы, я в последний раз пообедал у «бабушки» и направился на квартиру — попрощаться с хозяевами, а главное, хоть издали увидеть Валентину.

Была как раз пятница, вся семья была дома.

— Прощайте, — сказал я Симеону, — сегодня уезжаю...

— Добрый путь! — с бессознательной торжественностью отвечал он, поглаживая густую черную бороду и вскинув на меня свои красивые, печальные глаза. — Вы были для нас как свой... привыкли к вам!..

Он помолчал, опять погладил бороду и добавил со вздохом:

— Роза скучать будет!

— Не забывайте нас! — приветливо тараторила Ра-

хиль. — Если с труппой опять сюда приедете, то пожалуйста — к нам, прямо к нам: у меня — ведь вы знаете — брат оперный певец!

— Бурку можете взять с собой! Она — общественная собственность! — улыбаясь, вмешался Абрам и, взяв меня под руку, увел в свою отдельную каморку. — Хочу сказать вам пару слов на дорогу! Это хорошо сложилось, товарищ, что вы имеете возможность уехать: в городе идут аресты, за нашей квартирой слежка; хорошо, что вы сбрили усы, а в бурке вас еще здешние шпики не видали. Лезть прямо в пасть врагу — глупо и для нашего дела невыгодно! Мы бережем полезных товарищей. Нам дорого, что вы — наш писатель и наш артист. Такие люди нам очень нужны!

Абрам закурил папиросу, выпустил дым из ноздрей и, заметно волнуясь, продолжал, еще более понизив голос:

— Реакция идет на убыль, в рабочих массах копятся и зреют силы, настроение поднимается. Рабочие все чаще прибегают к открытой борьбе: в Питере через месяц готовится большая забастовка, готовимся и мы. Вы видите, как нервничает учащаяся молодежь и как жестоко с нею и с нами расправляются? Жандармы бесятся, но у нас, у рабочих, бодрости много! Когда придет наш черед, мы не будем долго разговаривать, как разговаривает интеллигенция, мы — действовать начнем! Студенты — что? Дело маленькое, их плетьми разгоняют, но если мы как следует на улицу выйдем — нас придется картечью встречать! Революция начнется!

Абрам помолчал, закуривая новую папиросу.

— А пока — проехаться вам хорошо: жизнь посмотреть, города! Через год-другой сами себя определите, а по-моему, писатель из вас должен получиться — наш! Только не отходите надолго от рабочих, вертайтесь опять до рабочего дела!

Я крепко пожал ему руку.

— А вот моя семья, родители, — зашептал Абрам, — в Америку наметили эмигрировать — погромов ждут! Что касается меня — я останусь: одна голова не бедна, а бедна, так одна!

— Роза! — послышался за стеной голос Рахили. — Поди, попрощайся!

— Ну, добрый путь! Бурку на плечи, папаху на глаза и — марш!

— А ящик сплавил?

— Нет еще! Завтра унесут!

— Скверно, Абрам! В случае чего — на меня вали: моих следов не найдут!

— Ночью в землю зарою!

Сами того не замечая, мы только теперь перешли на «ты». Крепко обнялись.

— Роза!

Когда я шел через темный коридор, Роза, выскочившая неизвестно откуда, обняла меня за шею, без слов крепко поцеловала и тотчас убежала.

Едва я вышел через калитку на улицу, как увидел Валентину: она лежала грудью на подоконнике раскрытого окна — в красной кофточке, с алой лентой, поддерживавшей ее тяжелые синие волосы; похоже было, что, увидя меня, шагающего через двор, она ждала у окна.

Девушка качала головой, укоризненно улыбаясь.

— Ну, что вы еще придумаете надеть на себя?

— Поступил в труппу и сегодня уезжаю!

Даже сквозь густые весенние сумерки стало мне видно, как побледнела Валентина.

— Вы шутите? — в голосе ее прорвалась дрогнувшая нота. — Напрасно! Жили бы здесь, устроились бы. — Устроились бы! — печально повторила она и отвернулась.

Мне захотелось крикнуть: «любит! любит!», броситься к ней, закричать, что я пошутил, что я не еду, что безумно люблю ее! Но вместо этого сказал только:

— Подарите мне вашу карточку!

Валентина рванулась, исчезла из окна и через минуту выбежала с маленьким портретом в руке.

— Вот! — сказала она, задыхаясь.

С минуту мы оба не могли говорить, слишком сильно бились наши сердца.

Из университетского сада близко слышался строй-

ный хор мужских и женских голосов, тихо певших нежную украинскую песню:

Коло млыну, коло броду —
Там дивчина брала воду!..

Валентина, не прерывая молчания, шла с опущенными глазами. Она словно прислушивалась к собственным чувствам, переполнившим ее.

Незаметно мы очутились в университетском саду, зеленевшим первою нежно-зеленой листвой, сели на скамье в уединенной, безлюдной аллее. Из чащи сада доносились контральтовые рулады соловья. Сквозь прозрачные ветви деревьев светила восходящая луна.

— Хорошо! — со вздохом сказала Валентина. — Голубая ночь! Как-то все сказочно кругом!.. Расскажите сказку о рыцарях, о странствующих менестрелях!..

Внезапное воодушевление загорелось во мне.

Сердце стучало в груди. Голос мой прерывался. Мы оба чувствовали, что настал момент объяснения: от того, что и как я скажу теперь, зависела дальнейшая наша судьба. Мне казалось, что Валентина любит меня и сам я люблю впервые в жизни. И вместе с тем боялся за себя: могу не выдержать и никуда не поехать, но тогда — прощай все мои мечты и стремления! Будущий артист, поэт и писатель погибнет, отдавши все за любовь красавицы.

Я сам не знал, на что решусь, что скажу, в какие образы выльется вдруг вспыхнувшая в моем сердце поэма о любви бродячего певца к прекрасной королевне.

Валентина молчала, опустив длинные ресницы. Лунные блики блуждали по ее побледневшему лицу. Никогда не была она еще так хороша, как в эту весеннюю лунную ночь.

— Ну? — прошептала красавица тихим, дрожащим, интимным голосом.

Тогда я начал тоже тихо, почти шопотом, едва сдерживая волнение, все нараставшее во мне:

— В неизвестном царстве, в давние годы, жил король. Слава о нем гремела по всему свету: он славен был не победами, не богатством и мудростью — нет!

но у него была дочь такой необыкновенной красоты, что из жалости к людям должна была носить на лице своем покрывало, потому что всякий, кто хотя бы невзначай увидел мерцание ее дивных глаз — умирал от безнадежной любви. Глаза ее были как звезды, ресницы — как стрелы, а во лбу горел полумесяц.

Я описывал красоту королевны, не сводя глаз с Валентины. Она с потупленным видом слушала гимн ее красоте.

— Вот раз вечером королевна сидела у раскрытого окна своего чертога и так как кругом никого не было, то она сняла свое покрывало. Вдруг зазвучали струны и где-то далеко запел какой-то прекрасный голос и так печально, что две жемчужины упали из глаз ее. Ей казалось, что так петь может только рыцарь. Она призывает слуг, велит им сейчас же узнать, кто это так дивно поет? Проходит час, и два, и три. На небе выплыл месяц, загорелись алмазные звезды. Наконец, ни с чем возвращаются слуги: не нашли певца. Королевна не спала всю ночь, до зари проливала она свои светлые слезы. Утром узнал об этом король и очень испугался. «Ведь ты увянешь! — закричал король. — Что станется тогда с моей славой?»

— Я умру, если не увижу его! — сказала отцу королевна. — Найди певца и обещай ему мою руку и сердце!

И велел король снарядить герольдов. Поехали они по всему царству, разряженные в богатые ливреи, в длинные, белые перья на широких шляпах и громко кричали: «По божьему произволенью, по королевскому веленью, призывается тот певец во дворец и отдается ему в супружество прекрасная королевна!»

Я на минуту замолчал, охваченный смутными образами моей импровизации. Валентина попрежнему сидела на скамье, опершись на одну руку и не поднимая глаз. Грудь ее дышала глубоко, вся она была воплощенное ожидание.

— Ну? — почти беззвучно одними губами прошептала она.

Тогда настоящее вдохновение осенило меня. В воображении родились и засверкали сказочные фан-

тазии, похожие на волшебную оперу, где образ Валентины и моя любовь к ней были переодеты и загримированы, облечены в театральные блестки, в пестрые, яркие краски.

— Вот сияют золотые люстры, горят и сверкают под ними хрустальные подвески. Около трона стоят оруженосцы, королевские витязи в пышных доспехах, карлики, уроды и шуты.

На троне сидит король в золотом венце и порфире, рядом с ним королевна, лицо ее закрыто тонким кружевным покрывалом. Король поднял руку, двери растворились. Королевна смущенно опускает ресницы, ожидая прекрасного принца!..

Но кто же входит?

Я опять остановился и перевел дух, не сводя глаз с побледневшего лица Валентины.

— Коренастый горбун с огненно-рыжей гривой до плеч. Обводит всех колючими, злыми глазами. Он в бедной одежде и за горбом у него висит лютня. Вот он поклонился королю и королевне, снял свою лютню и костлявой рукой перебирает нежные струны.

Глухой ропот загудел кругом: неужели отдадут уроду королевну?

Тут певучий аккорд огласил высокие своды дворца. Горбун запел. Красавица узнала дивный голос, пленивший ее в лунную ночь. Этот голос был нежен и мягок, как бархат, звучали в нем сладкие слезы, тайная печаль и мрачные муки. Он был могуч, как небесный гром, он был как молния, как буря в темном лесу! И замер, растаял, как волшебный сон.

— Певец! — сказал, наконец, король, когда была окончена песня. — Коли дочь моя согласна тебя полюбить, я не буду препятствовать ей. Но если она не захочет, то не могу же я неволить ее. Возьми тогда за свои песни какие хочешь подарки: я дам тебе кубок из чистого золота, украшенный драгоценными каменьями, или арабского коня, легкого, как ветер; подарю груду золота и алмазов! Возьми себе все, что полюбится из всех моих сокровищ, и уходи в свой путь без обиды на меня и королевну!

Наступила долгая тишина. Горбун ничего не ответил.

Он приблизился к трону, метнул из глаз огненные искры и затряс своею красной гривой.

— Нет! — сказал он. — Мне не нужны твои подарки! Одного только хочу я за свою песню: пусть оставят меня наедине с королевной и пускай она поднимет свое покрывало: я хочу видеть красоту, от которой умирают люди!

И когда все вышли, королевна не сняла покрывала. Она сидела на троне с закрытым лицом, а горбун стоял перед нею.

— Кто ты? — спросила она. — Где твоя родина, где мать и отец твой?

И ответил певец:

— Кто я — не знаю. С малых лет живу один. Весь мир — моя родина, все люди — мои родные! Скитаюсь по широкому свету и песней утешаю народ. Но если снимешь покрывало, я спою песню во славу красоты! И песня моя не умрет, твой образ в ней переживет тебя: ты будешь молодой и прекрасной вечно!

Тут сняла красавица свое покрывало. Во лбу ее засиял золотой полумесяц, по белым плечам волнами побежали темносиние кудри, а глаза мерцали, как звезды в южную, черную ночь. Дивная улыбка заиграла на ее коралловых устах.

И отступил проклятый горбун, пораженный любовью, и упал он на одно колено. Долго молчал у ног ее, бледный, как ее покрывало.

Наконец, заговорил голосом тихим и дрожащим:

— Если бы я был королем — я бы к ногам твоим положил королевство! Если бы я был богом — я украшал бы тебя звездами, рядил бы в радугу и зорю, морям и ветрам повелел бы воспевать тебя! Но я только бедный певец, только песнями богат, только странник без пристанища! Зачем жестокая судьба так подшутила надо мной? Зачем проклятый дар песен завел меня с моей дороги в твой чертог, зачем я увидел тебя?.. Зачем эта уродливая грудь служит мрачной тюрьмой для души моей, пламенной и пылкой? О, как ничтожны, бездушны и холодны все, окружающие тебя, а я — весь соткан из огня! Люблю тебя! Тебе отдам мою жизнь! Хочу воспевать тебя. Дышать твоим

дыханием! Полюби же меня! Оставь этот пышный двор, где изнываешь ты от скуки, и уходи со мной на волю, на широкий простор!

— Горбун, — жестоко ответила красавица, — твои песни прекрасны, но сам ты безобразен! Как полюбить тебя? Только песни твои люблю я, но сам ты нищий и жалок, и страшен лицом! Уйди и позабудь меня навсегда!

Тут опустила свое кружевное покрывало гордая королевна.

Я, тяжело дыша, замолчал и смотрел на Валентину.

— Чем же кончается сказка? — тихо спросила она. — Может быть, эта нехорошая королевна все-таки полюбит его?..

— Вряд ли! Никогда, даже в сказках королевны не уходят с бродячими певцами!.. Конец, вернее всего, будет такой: в сумраке бурной ночи свирепо бушевало море... гремел гром... проносились тучи... Была такая ночь, как будто подземные силы праздновали свое торжество. Горбун сидел на берегу, слушал ужасную музыку моря и плакал. Ветер развевал его волосы, дождь хлестал пылающую грудь и говорил ему: забудь ее!

— Дождь? — внезапно спросила Валентина.

— Да, — отвечал я с жаром, — был дождь!.. Такой же, как тогда, помните, когда я был у вас...

Валентина вспыхнула, закрыв руками щеки.

— Я не могла!.. — прошептала она. — У меня гостила тетка! Глупости я говорю, что мне тетка? Вы и теперь страдаете и мстите мне! Я это заслужила, но не потому, что не приняла вас тогда! Вы забыли о вашем письме в стихах? Помните ли, что там написано? Вы описали, как видели меня молящейся! Но я не молила бога, я требовала, чтобы он не совершал злодейства, не убивал невиновного! Ваше письмо — разрушительное! Бог убил того человека, а вы — вы убили мою веру, вы опрокинули, растоптали моего бога!.. Ах, как я мучилась, какое смятение переживала!.. Я тогда ненавидела, проклинала, избегала вас, боролась с вами!

Девушка внезапно замолчала и тяжело перевела дыхание, словно захлебнувшись чем-то, прихлынувшим

к горлу. Углы губ ее скорбно опустились, пальцы смуглых рук, поискав чего-то в воздухе, прижались к груди.

— Теперь эта ломка во мне кончилась: в один год я переменилась, выросла, словно проснулась! Благодарю вас! Вы случайно, нечаянно разбудили меня! Жаль — уезжаете! Но видно — так лучше!

Она встала и, овладев собой, с обычным своим видом надменной красавицы спокойно спросила:

— Надолго едете?

Я не понял тогда ее спокойствия, полный оптимистически-бодрого увлечения сценой, искренно думая, что скоро вернусь к Валентине. Я верил, что люблю и любим ею, что меня ожидает успех, что рыжий горбун превратится в красавца и тогда явится к королевне.

В окнах серого дома было темно, когда мы остановились у калитки.

— Прощайте!

— Прощайте!

Я пожал ее руку, на момент задержавшуюся в моей.

Стукнула калитка, стукнула дверь, и я остался один. Слабый свет зажегся в окне за спущенной занавеской.

Луна зашла за темное, густое облако. Все кругом потускнело, свет в окне погас, а я еще долго стоял, молча простирая к нему обе руки с внезапной тоской и болью в сердце.

Вдруг со двора послышались чьи-то быстрые и легкие шаги. Я кинулся к калитке и чуть не сшиб с ног Розу.

— Куда? — зашептала она тревожно, уперев свои ручонки в мою грудь. — Я услышала ваш голос! Зачем вы воротились? У нас обыск!.. Ищут вас!..

Голос ее сорвался. Слезы лились по щекам.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Труппа ехала в вагоне третьего класса. Антреприза всегда заказывала отдельный вагон, и в нем ехала вся артистическая братия: артисты, хористы, музыканты оркестра и сам антрепренер.

Вагон был полон, подняты все спальные верхние места, и многие расположились на ночлег: освещение было скудное, за спущенными окнами чернела влажная весенняя ночь, колеса однообразно выстукивали веселый фантастический ритм, некоторые пили чай и закусывали. Никто еще не спал. Трудно было заснуть в неумолкаемом говоре сотни людей, ехавших в самом беспечном, общительном настроении.

Большинство мужчин и почти все женщины, при свете зажженных огарков, играли в лото — любимое занятие труппы в дороге. Долго раздавался чей-то голос, провозглашавший номера лото, остальные все следили за цифрами по расположенным на коленях карточкам, пока не раздавался чей-нибудь радостный — чаще всего женский — возглас:

— Кончила!

Мужчинам лото быстро надоело, и кое-где по углам составлялся преферанс, тоже на деньги, возбуждая азарт игроков.

В лото не участвовала только драматическая героиня Левковская, красивая брюнетка с чуть заметными усиками и прекрасными карими глазами. Женщина в рас-

цвете пышной красоты, она сидела рядом со своим больным, чахоточным мужем, высоким, худым усачом в поддевке и суконном длинном плаще с капюшоном. Когда-то у него была картинная, внушительная наружность, но теперь Левковский казался тенью: исхудалый, печальный, с длинными курчавыми, висящими усами. Он дремал, изредка покашливая сухим кашлем, а жена сострадательно гладила его по густым волосам. Бывший певчий синодального хора, он в свое время славился могучим басом и теперь на сцене все еще выступал в басовых партиях, но голос заметно спадал, во время пения певец задыхался, тяжело дыша, как загнанная лошадь. Все видели недалекий роковой конец этого обреченного человека, и неизвестно было, почему он не оставлял сцену. Как все чахоточные, он, вероятно, не сознавал своего положения или не хотел разлуки с красавицей-женой, талантливой молодой артисткой, пожинавшей лавры на первых ролях. Но рядом с нею уже сидел Бурлак, любовник-герой, тридцатилетний здоровяк, распорядитель труппы: всем заметна их нескрываемая близость.

«Батько» — знаменитый артист и глава труппы — снял с себя все, кроме рубашки и брюк, и лежал в комической позе, упираясь поднятыми толстыми ногами в одних чулках в переборку вагона. В этой позе он слушал доклад «передового» — человека с черными усами, в пестром жилете и полосатых брюках — о преимуществе поездки из Орла в Киев.

«Батьке» было под шестьдесят, но это еще был богатырь, напоминавший образ гоголевского Тараса Бульбы.

Первоклассный артистический талант его считался единственным в своем роде. Тридцати лет от роду он выступил сразу на большой столичной сцене в шекспировском репертуаре, играл Отелло, Шейлока, короля Лира. Он был в числе тогдашних корифеев драмы. Будучи украйнофилом эпохи народничества, он поставил своею целью служить украинской сцене, стал писать пьесы на родном языке, обнаружив крупный талант драматурга. Его гастроли вызывают помимо восхищения первоклассным талантом трагика,

комика и певца еще и политические, украйнофильские чувства. Уже много лет, как ему запрещен въезд в столичные города и в Киев, и он кружит со своей блестящей труппой, постоянно переезжая из одного города в другой.

Глазунов смешил окружающих анекдотами, которые он не столько рассказывал, сколько играл, перевоплощаясь в действующих лиц с различными акцентами.

Комик Загорский на каждой остановке ходил в буфет и, возвращаясь оттуда все более веселым, провозглашал смешным голосом:

— Пе-ре-сяд-ка!

Все невольно вскакивали, так как ночью ожидалась пересадка, но потом смеялись проделке Загорского.

Тенор-любовник Заглоба, белокурый, хорошенький, с небольшой, но изящной фигуркой, страстно «резался» в карты с баритоном и двумя танцорами в суконных поддевках. Жена его, водевильная инженю, красивая болезненного вида брюнетка, смотрела через его плечо в карты, боясь, как бы он не проигрался.

Хор состоял исключительно из холостой молодежи. Большинство имело обшарпанный вид, но были и прилично одетые молодые люди: ученики музыкального училища, поступившие в труппу на летний сезон, семинаристы Бугай и Гинский, два брата Миницкие — рослые красавцы, породистые украинцы, напоминавшие Остапа и Андрия и даже игравшие их в пьесе «Тарас Бульба». Это были убежденные украйнофилы. Они заинтересовались видной фигурой Бугая, стоявшего у окна вагона в черкесской бурке и косматой папахе.

— У перший раз ийду у тую кацапию! — говорил он украйнофилам. — Ще николы не був у кацапии!..

Маленький Гинский увивался около них, повертываясь, как балерина, на одной ноге.

— Едем в кацапию! — покрикивал он тенорком.

В группе хористов, при громком общем смехе, пикировались, состязаясь в остроумии, Матвеев и Пакля.

— Да чем же отличается талант от профессионала? — ехидным голосом спрашивал Пакля.

— А вот тем же, — тенорком отвечал плюгавый и

веснущатый Матвеев, — талант — это тот, кто имеет искру божию, а у кого нет ее — тот профессионал!

— Ну, теперь я знаю, кто вы!

— Кто?

— Профессионал!

— Хо-хо-хо! — раскатился мужской хор дружным смехом.

— Пакля — вин такий талан, такий талан! — иронически отозвался хорист Бабень, человек с рыжими усами и в потертом летнем пальто: в голосе его слышалось самолюбие завистливого неудачника. — Такий талан, як из мокрой глины пуля! Мабуть, гадае артистом буты! Держи карман! Хорист — хористом и помре!

— А на що?

— А на то! Не ходи пузато! Колысь и я гадав, що артистом буду! Га! Четвертый сезон служу — не дают ролей! Эксплуататоры!

Бабень махнул рукой. Опять все засмеялись.

Пакля хитро и зло усмехнулся.

— Ну, какой ты артист! Вот я, если захочу, буду артистом: пустяк внимания!

— О-вва!

— Вот тебе и о-вва!

— Чи не талан ли у вас?

— А почему нет? Искру эту самую имею; не божию, а мабуть, чертякину искру!

— Да ты, не к ночи сказать, и без того, як чертяка намалевана!

Бритая подвижная рожа Пакли с пронзительными, как пиявки, глазами интересна различными оттенками то хитрой, то циничной, то насмешливой улыбки, покрывавшей его подвижное лицо, лишенное возраста, целой сетью бесчисленных лукавых морщинок.

— Э-ге! Знаю! Меня и в деревне чуть не убили за мою красоту, да за эту за самую «искру»! Хотите, расскажу?

— А ну! Не бреши только!

— Нехай пес брешет, а не я же! Слухайте! Расскажу вам к слову некоторый случай из биографии моей жизни!

Все придвинулись ближе к рассказчику. Тусклые огни вагона освещали неверным светом странное, лукавое лицо Пакли и облепившие его разнообразные фигуры. Он вынул папиросу, закурил и обвел слушателей хитрым взглядом.

— Сказать по совести, никто в нашей деревне не знав, откуда я и кто мои родители. Я — сирота. Говорили мне, що старуха-колдунья, у которой я був приемышем, принесла меня в переднике из лесу. Может, то была шутка, а могла быть и правда! Ну, таки не знав я ласки от людей. Ни, не знав! Зато всякий щипав мене, як горох при дорози! Старуха была зла, я не любив ее. Все-таки посылала она меня к дьячку до науки, и грамота мне легко давалась: шустрый був!

«Ребята на улице гнали меня, били, кричали: ведьмак! Вот я и рос один, убегал в лес или поле, лежал на земле, смотрел в небо и думал бо зна що! Сызмальства привык жить со своею думкой! О людях, о боге и о чорте думал! Людей боялся, бога ненавидел, а чорта любил! Умерла старуха, и остался я совсем сироткой, парубочком двенадцати лет! Суеверные крестьяне похоронили ведьму не на кладбище, а на чужим поли; мене же стали считать «ведьмаком»: я объясняв вещие сны, предсказывав будущее... Началось это случайно: у одного богатого мужика пропали деньги. Вора никак не могли отыскать. Пришли до меня в колдуньину избушку на курьих ножках. Стали просить, чтобы я указал им вора. Я всего один раз був в хате того мужика, но мени-таки запомнилось угрюмое лицо работницы Марины. Я и сказав наугад: «Деньги украла Марина!»

«Мне поверили и стали просить, чтобы я указав, где она их заховала. Тут я вспомнив, что в сенях у них стояла опрокинутая кадка, под которой наседка высиживала цыплят. Я и сказав:

« — В сенях стоит кадушка, под кадушкой наседка, а под наседкой деньги!

«Действительно, под наседкой оказались деньги, а Марина созналась!

«После этого я прогремел на всю округу: ко мне приезжали из других сел за предсказаниями. Иногда я

ошибався, но чаще угадывав: одинаковая жизнь и простые души крестьян мне были хорошо известны. Одной женщине я вздумав сказать, що через год она умрет, и действительно, ровно через год баба умерла. Тут я начав предсказывать все: засуху, пожары, неурожай, дожди и болезни. Сам-то я знав, що моя прозорливость есть ни що иное, як простая наблюдательность. С этой способностью я родився, и она развилась у меня. Но я любив предсказывать только одни несчастия, и мои предсказания почти всегда сбывались, может, отчасти от той веры, с которой они принимались глупыми людьми. А я издевался над ними и хотелось мне выместить на них мое одиночество, которое они мне устроили, и все обиды, из которых я ни одной не забув. Если я появлялся на улице — деревенские дивчата с визгом убегали прочь. Парни не принимали мене до своей кумпании. Когда являлось какое-нибудь общее бедствие, вроде засухи або градобития, причиной считали мене. По их мнению, я мог повелевать тучами, распоряжаться громом и молнией: великая вещь, хлопцы, человеческая глупость!

Пакля засмеялся своим особенным, жестоким смехом.

— Вот раз, когда случилась засуха, они порешили покончить со мной. Кто из вас жил в деревне, той зна́, що это совсем не редкость — убийство колдуна. Было мне тогда лет с двадцать! Толпа парубков, вооруженных кольями, погналась за мной по деревне, чтоб убить мене! Я вскочив в пустую новую избу и заперся в ней. Пока выламывали дверь, высадил кулаком окно и сильно при этом поранил руку стеклом: вот и сейчас шрам. Сиганул в окно — вижу на подоконнике длинный, овчарный нож, схватил его и с ножом в руке побежав в поле, за околицу. Парубки за мною! Добежав до старого кургана, и тут воны мене окружили. Обернувся, засучив рукава и подняв руку с ножом, а по голой руке ручьем текла моя кровь! Я так осердився, що воны як глянули на мене, закричали: «Чертяка!» Побросали колья и разбежались. Я сунул нож за голенище, перевязав руку и пийшов по дорози. Да вот так и не вертаюсь с той поры до ридной деревни!

— Ну, а что дальше с тобой было? — спросило сразу несколько голосов.

— Дальше? Пошел, сам не знав, куды! Очутився ночью посередь дикого поля.

«По правде сказать, надоела мне деревня: с четырнадцати лет я уже служив батраком в экономии помещика, ходив за плугом, погоняя шесть пар ленивых волов с утра до захода солнца с двадцать пятого марта по восьмое ноября, получая за все это время тридцать корбованцив на своих харчах! Пòтим у того же помещика косив хлеб — за десятый сноп! Копав канавы по пятнадцать копиек за сажень, полов буряки, складывав на молотьбе солому в скирды, и за все это — голодная жизнь, хуже, чем у дворовой собаки!.. Возненавидев я помещика и своих односельчан, чуть не убивших мене из-за своей же глупости.

«Решив добраться до Одессы, а от нашей деревни до этого города ни мало ни много — шестьсот верст! Шел от деревни до деревни: где поработаешь за харчи, где попросишь — прохожему хлеба кусок! И що ж вы думаете, хлопцы? Добравься-таки до Одессы! Поступив на химическую фабрику, год проработав — заболел от вредного воздуха, в больницу лег! Выйшов из больницы — ночным сторожем служив! Опять работав на фабрике, на свечной. Ну, хлопцы, не пожелав бы я и злому ворогу работать по фабрикам! Ведь это ж каторга, острог! Хуже, чем в арестантах быть! А тут как раз призвалы мене к отбытию воинской повинности: казарма, ученье, дисциплина, мордобой за що по чем! Взялы мене в музыканты, на трубе играть: как не ту ноту возьмешь — дирижер як хватит кулаком по трубе, а труба тебя по зубам! Выплюешь кровь из рота, так бы и кинувся до него, схватив бы за горло да и задавив мерзавца! А офицеры — за человека не считают солдата!.. Вышел из солдатчины — ненависть у меня образовалсь ко всем людям, особливо к тем, кто на пана похож! Кого ни вспомню: помещик, фабрикант, офицер, генерал — все гадюки!

«Поступив к кваснику — квас по городу на подводе развозить; немного легче стало — еду, бывалоче, песню про себя пою... Тут оказалось, что голос у меня гар-

ный! Услыхали люди песни мои, наши украински песни! Посоветовали в певчие поступить. Дело было в Киеве. Пошел к регенту Софийского собора — приняли в хор. А там певчие не на вольных квартирах живут, а в общежитии, на монастырском подворьи. Поселился вместе с дьяконом Еремкой, пьяницей горьким. Привык малость ноты разбирать, но зато уже и водку пить здорово выучился.

«Вот тут-то насмотревся я на жизнь нашего духовенства, в особенности на жизнь монастырскую, и — в ужас пришел: пьянство, обжорство, разврат несусветный!.. А ведь я тогда еще прямо из деревни, простой деревенский хлопец був — ничого такого и вообразить себе не мог. Например, мыть полы в монашеских кельях целиком всю женскую корпорацию из веселых домов приглашали! Пили до самого скотского состояния! А свара, а злоба, сребролюбие, церковное казнокрадство!.. И это — наши духовные отцы, которые с амвона проповеди говорили, народ поучали добродетели! Я за голову хватався, видя этот содом и гоморру: как может стоять государство с такими руководителями! Как может удержаться в народе религия, когда сам архиерей страдал половым извращением, о котором нам, деревенским людям, никогда и в голову не приходило! Сначала я ужаснувся, а потим насмехаться став!..

«Ах, как они с нашим братом, с певчими, обращаются! Без зазрения совести! Тот тебя оскорбит, этот унизит! Третий в ухо даст! И стал я вроде как мстить сплошь всем людям! Особо надоели мне в ту пору два монаха: ключарь и казначей. Тогда я став наушничать им каждому на другого и — поссорив их: схватили они оба по двухфунтовой гире и лупят друг дружку, а я стою в стороне, гляжу на этих дурней и хохочу, засунувши руки в карманы! Отдубасив их обоих ихними же кулаками!.. Ха-ха-ха!..

Недобрый смех был у Пакли.

— Но, промежу прочим, близко увидавши безо всяких прикрас жизнь духовенства, поразился, что ведь все они не верят в бога!.. Вот как мы теперь, актеры, не верим же, что пьеса, которую играем — всамделищ-

ная правда! Так и они: «со страхом божиим и верою приступите...», а сами ни страха, ни веры ни вот на эстолько не имеют! И напал на мене страх! Начал я бога искать, чтобы за него ухватиться! Не любив я бога, но тут вижу — нет его нигде! Нихто не живе по заповедям!.. Стал искать правильных людей, а не свиные морды, що кругом себя видев в ризах и рясах, игравших обедню, как мы играем комедию! Страшно мне стало, думаю — не успокоюсь, покуда хуч одного праведника не найду!

«Вот и пристроился я служкой к старцу одному. Действительно, праведный був старец. Народ к нему ходив и все чуда от него ждав, глупый деревенский народ, который мене колдуном сделав, а его чудотворцем! Но старец сделался мне антипатичен именно тем, что хороший був, а ничего хорошего, никакой радости людям не обещал: поучал от писания и книги духовные давал читать. Много я их тогда прочитав, сильно интересовался богом, но и к богу чувствовал антипатию; чорт мени понятнее був: чорт, хлопцы, всегда умно и логично рассуждает! Попалась раз книга «Потерянный и возвращенный рай» — очень интересно! В «Фаусте» чорт тоже выставлен умным и сильным. В конце концов я светские книги став читать. Беллетристику не люблю я — больше пустяковина, про любовь, а вот есть сочинения Шопенгауэра, прямо не оторвешься! Я у этого сочинителя много нашел своих собственных мыслей, словно он украл их у меня. Почему-то меня тогда интересовали рассуждения о боге и чорте, о добре и зле, и вот, хлопцы, возненавидев я это самое хваленое ваше добро, а зло, действительно, хорошая вещь! Явилась у меня такая хвилософия, что на свити нема ни бога, ни чорта, ни зла, ни рая, а есть тильки умные люди и в пищу им — дурни! Свет на том вертится, что умные дуракам головы крутят хорошими словами о боге и добре, а самим им этого добра и на дух не надо! Обидно мени було, що и сам в числе дураков оказався! Нацеливаюсь прочитать сочинения Льва Толстого, не читал я их, а разговору много слышав! Балакают люди, що и критика есть, котора за него, а котора насупротив! Ось

прочту сперва, що поперек ему: думка моя, що много-таки и наврал старик, вроде, как мой святой, у которого я служкой был!

— И чего тебе, чорту, от святых нужно?

— Не люблю я их! — искренним тоном ответил Пакля. — Бросив я старца и поступив в странствующую капеллу. Весь свет с нею произошел, во всех странах побывал. Был в Лондоне, в Париже и в Нью-Йорке, даже в Африке был! Ну, и жарища там, хлопцы!

— Я тоже был в Африке... матросом! — вставил Миницкий.

— Капеллан був надутый чванством дурак, и я любив под видом лести издеваться над ним, а вин и не замечав того, сделав мене своим советником и другом! Возвратились мы из путешествия и осели на Украине, в большом городе.

«Но вот в капелле появился один чоловик — новый хормейстер, горбатый, но такий хороший, добрый и доверчивый, что, признаюсь, я возненавидев его. Он не был мени ни вреден, ни опасен, но так антипатичен своей добротой, что я, наконец, решив избавиться от этого неприятного чоловика. На его беду он оказався очень талантливым музыкантом, а талантливые люди вообще невыносимый народ. Одним словом, не взлюбив я его! Вы, пожалуй, спросите меня, за що? А вы знаете, как ученики в школе издеваются над добрым учителем: уроков его не слушают и не готовят, надевают ему бумажки на задние пуговицы, или записку «дурак» и прочие гадости делают и, вообще, вымещивают на нем те обиды, которые получают от строгих учителей.

«Вот и я так: от людей столько обид вытерпел, столько зла от них видев, що як попався мени добрый, доверчивый, честный чоловик, идеалист, что ли, это называется, который о людях-то по хорошим книгам судит, а о том, каковы на самом деле люди, не знает, так мне и захотелось искусить его, сделать ему какую-нибудь самую скверную пакость, а потом посмотреть, что из этого выйдет?

«Являюсь раз к капеллану и все вздыхаю, мабуть расстроен чем-то. Он, конечно, уразумив.

« — Що с тобой? Чем ты недоволен?

«А я ему: — Ах, батько капеллан, зачем говорить вам о неблагодарных людях? Лучше я буду один страдать за моего доброго, умного отца капеллана!

«И я со слезами на глазах поцеловал жирную руку этого дурака.

« — Що? Що таке? О чем ты брешешь?

« — О чоловеке, который кричит, что капеллу готовит он, а вы тильки пользуетесь его талантом, що сами-то вы бездарны и ничего не розумиете в музыке!

« — Годи! Хто это?

«Молчу.

« — Говори же, хто?

« — Ваш новый помощник, отец капеллан!

« — А! так вот оно що! Ну, я жь ему покажу!

«Я стал просить за горбуна, чтобы капеллан простив его.

« — Николи! Ты за всих заступаешься!

«Он раскрасневся и начав бегать по комнате. А я смирнехонько поклонився и выйшов, весьма даже довольный собой. На другий день горбун прибежав до мене в забавной тревоге и показав письмо капеллана о своем увольнении. Спрашивает, не знаю ли я причины увольнения. Я отвечав:

« — Мабуть який-небудь мерзавец наклеветав на тебе!

«Я ругав заочно капеллана, возмущався его поступками, давал горбуну добрые советы.

« — Сходи к нему, объяснися!

« — Ходив! не принимает, выгнав, оскорбив мене! — И тут он, хлопцы, очень гирько заплакав! Ха-ха-ха! Прямо, как дитю малое! Ха-ха!

«Признаюсь, я с наслаждением слушав его рыдания. Наслушавшись досыта, начал утешать. Говорив красноречиво и даже сам искренно прослезився вместе с ним. Он стал укладывать вещи. Я ему помогав! Сам нес чемоданы до извозчика, все время утешав и сочувствовав. Прощаясь со мной, горбун знов плакав, обнимав, целовав мене, благодарив за участие, которое я приняв в его судьбе. В моих словах дурак не подозревал насмешки.

«Когда экипаж тронулся, отъезжающий все еще ки-

вал мени головой, а я вдруг не выдержав: прыснув со смеху и ясно увидев выражение ужаса на лице горбуна. А я-то хохочу, аж до земли припадаю! Ха-ха-ха!

«Так вин и уихав, а я довго смиявся, смотря вслид тому чоловику, супротив которого лично ничего не имев, который даже нравився мени и которому причинив зло из любви к злу.

Рассказчик замолчал и ехидно улыбнулся. Слушатели тоже молчали.

— Пакля, вы — циник... или... ненормальный! — с негодованием крикнул младший Миницкий.

— Як знаете! — равнодушно ответил он. — Мени байду́же — все равно!

Вагон качало и потряхивало. Колеса отбивали однообразный мотив, игра в лото кончилась, многие спали. Только в углу картежники попрежнему продолжали игру, не замечая ни времени, ни пространства и не слушая рассказа странного хориста, в голове которого, повидимому, был тяжелый и опасный сумбур.

Я стоял в проходе вагона, смотрел в темное окно. Потом обернулся и вдруг спросил:

— Пакля, а не помните ли вы фамилию этого горбуна!

Хорист насторожился, впился в меня острыми, как пиявки, глазами.

— А на вищо вам?

— Так. Знал и я одного такого.

— Хвамилие! Ось вже и не пригадаю! Ни! Не помъятаю, забув!

По хитрым морщинам его недоверчивой улыбки и по внезапному переходу на украинский акцент я почувствовал мужицкую скрытность этого человека. Говорил он смесью русского языка с украинским, переходя на последний в тех местах рассказа, где он явно врал или притворялся.

II

В русских городах театр почти везде пустовал: эту пустоту труппа ощущала по гулким звукам оркестра, когда еще до поднятия занавеса гримировалась в уборных.

Хор весело толковал о плохих делах.

— Не правда ли, какой прекрасный резонанс! — ехидно шутил Пакля.

Хор отвечал дружным, беззаботным смехом. Плохие сборы не отзывались пока на исправном получении жалованья, но пустой зал своим унылым видом и «прекрасным» резонансом действовал понижающе на психологию: не было того торжественного нервного подъема, какой всегда бывает у актеров, когда они выступают перед полным театром.

Стало известно, что мы поворачиваем обратно, на Украину, в Никополь и в Мелитополь, маленькие города Приднепровья. Была середина мая, и все сочувствовали интересному путешествию на Днепр: смена впечатлений имела для хора большое значение.

Никополь оказался крохотным, наполовину еврейским городишком на берегу разлившегося Днепра. Здесь «дела» поправились: театр наполняла еврейская публика, известная своею любовью к театру.

Мелитополь, город немцев-колонистов, весь покрытый красными черепичными кровлями на немецкий лад, тоже дал ряд хороших сборов.

Южная весна была в разгаре. В каждом из этих городков в публике преобладали нарядные женщины: увлекались тенором-любовником Заглобой и веселым талантливым Глазуновым, лезли к ним знакомиться, подносили цветы, присылали записочки, завязывались мимолетные актерские романы.

У хористов и танцоров тоже находились свои обожательницы, но более низшего разбора и невысокой нравственности.

То был особый мир женщин «подозрительного» поведения, странствовавших подобно нам из города в город; некоторые из них не то случайно, не то сознательно следовали за труппой, появляясь в театральной публике в каждом из городов, куда переезжали мы.

Так же, как и мы, незнакомки каждый вечер появлялись в особых костюмах и гриме, должны были нравиться и развлекать публику пением, танцами и притворным весельем, с тою разницею, что мы все это

делали на подмостках сцены, а они в отдельных кабинетах, или еще где-нибудь. Повидимому, проститутки искренно считали себя нашим придатком, низшей ступенью одной и той же лестницы.

Действительно, в их среде оказывались бывшие или будущие шансонетки, шантанные или опереточные хористки, и каждая метила сделаться артисткой или высокой марки этуалью с богатым покровителем. Но пока — они считали себя ровней хористам только. Отношения и знакомства у тех и других не походили на отношения их с публикой: с точки зрения публики, все мы были людьми ниже ее стоящими, но эти женщины и мы относились к публике одинаково: за деньги одни отдавали ей тело, другие — голос, но никто не открывал и не отдавал ей душу.

От публики отделяла нас не только рампа, но ничем не заполнимая пропасть: по одну сторону этой пропасти близко к нам стояли «падшие» женщины, одинаково с нами отверженные или сами порвавшие с жизнью. «Падшие» не считали нас выше или лучше их, а себя не чувствовали хуже нас. Отношения между нами установились товарищеские. Иногда они над нами по-приятельски подшучивали. Так, например, по приезде в город хористы предпочитали останавливаться не в гостинице, а искали где-нибудь дешевые комнаты. В Мелитополе около театра оказался целый квартал маленьких домишек с билетиками на окнах: везде сдавались комнаты. Танцоры и несколько хористов заняли их, но скоро убедились, что хозяйками и соседками являлись легкомысленного вида женщины, в числе которых были и старые приятельницы. Хористы, правда, были несколько сконфужены, но жизнь их в гостях у подруг сложилась очень весело.

Хор жил интересно, гораздо интереснее многих артистов. Некоторые хористы были интеллигентнее иных артистов и во всяком случае интереснее. Впечатления новой для них жизни, толкнувшей их на сцену, воспринимали свежо и ярко. Молодость и неясная, еще неосознанная талантливость бродила в некоторых из них.

Настроение у хора всегда было бодрое и не порти-

лось от плохого питания или вечного безденежья. Похождения по любовной части имели юмористический и забавный характер. Иногда были неприятности с буфетчиками из-за неоплаченных счетов, или с обманутыми мужьями из-за неверных жен, но все это кончалось водевильно.

Хористки сторонились мужского хора: одни жили с актерами, другие льнули к холостым артистам. Каждая из них стремилась в актрисы, мечтала получить какую-нибудь роль, а для этого был необходим хоть маленький покровитель, занимающий некоторое положение в труппе. Никто из хористов на эту роль не годился: с точки зрения актеров, они были париями, «низшею расой» сцены.

Однажды после спектакля Пакля, живший где-то втроем с двумя танцорами, пригласил меня к себе на квартиру поужинать.

— Так будет дешевле, чем в трактире! — объяснил он. — Да и дивчины сидят у нас голодные!

— Какие дивчины?

— У девчонок оказались мы на квартире! Умора! Совсем у них здесь «табак» дело: город немецкий, добродетельный! У нас-то сборы хорошие, а у них — полный прогар! Ты получил сегодня аванс?

— Получил!

— Вот и прекрасно, захватим бутылку водки, хлеба, колбасы и айда к нам! Можешь представить, до чего ненавистна мне добродетель, когда от нее приходится голодать двум гарным дивчинам!

Я мало интересовался танцорами и их «дивчинами», но Пакля был мне интересен, и я согласился поехать.

Купили в гастрономическом магазине все необходимое и отправились ужинать на квартиру. Танцоры Голубенко и Даниленко, испорченные деревенские парни в суконных поддевках и лаковых мягких сапогах, квартировали в соседстве двух хорошеньких девушек, одетых по-домашнему. Одну из них, блондинку с большими синими глазами, звали Магдой, другую, брюнетку — Ледой. Две комнаты, в которых обитала вся компания, оказались маленькими, но довольно уютными.

На столе кипел самовар. Голубенко бренчал на гитаре. Обстановка была почти семейная.

Когда мы выложили на стол принесенные нами закуски, девушки захлопали в ладоши.

— Пакля, хоть ты и противный, но за колбасу я тебя сейчас расцелую! — смеясь закричала Магда.

— Целуй вот его, — кивнул на меня Пакля, — сегодня вин угощае!

Девушка пытливо взглянула на меня.

— Поцеловала бы, да боюсь: очень они сурьезные!

— Из «независимых»! Они у нас все такие! — острил Пакля.

— Это что еще — независимые?

— А это — у нас в хоре есть кое-кто из образованных, ни перед кем шапки не ломают, начальства нашего не боятся, горой стоят за хористов!.. С «независимыми» и дирижер, и режиссер, и актеры считаются! Вот этот — самый из них заводило...

— Вроде атамана? — насмешливо спросила Магда.

— Нi, не атаман! Мы «профессором» его прозвали! Этот в карман за словом не полезет!

— Наверно, из выгнанных студентов! — пододвинулась ко мне Магда.

— Я затем тебя и звал, — продолжал, обращаясь ко мне, Пакля, — поговорить! К твоим разговорам давно прислухався и, сдается мне, що ты из тех.. из этих... оттуда! — Пакля подмигнул, повертел пальцами около лба. — Верно? А только все-таки не свои слова говоришь... видно, что из книг берешь. Читал книги и я, только у меня в башке от этого самого чтения еще хуже стало... путаница... мешанина... Вот и хочу тебе вопросы задать, а ты мне отвечай! Ну?

— Что ж, спрашивай!

— Перво-наперво: какая цель и назначение моей жизни, а также и всего человечества? К чему стремится и к чему придет весь мир? Каков должен быть его идеал? Было язычество, рабство, крепостничество... каждая эпоха приносила свое... Мир, говорят, движется вперед, стремится к высокому! Возможно ли его достичь? Мы — к высокому, а высокое от нас! Манит, как далекий огонек! Вот-вот, ближе, а он все дальше!

Пакля многозначительно распустил свои морщины.

— И кто я, такой маленький, но мыслями обнимающий все миры и звезды, все мироздание, устроенное с таким искусством? Мировая гармония! Я сижу вот на земле, на этой старой звезде, слухаю гар-р-м-мо-нию и не могу понять, для чего она, о чем играет эта звездная музыка! И вот — слухаю мировой оркестр, не имеющий слушателей, и — смеюсь!.. Когда-нибудь все это может исчезнуть, превратиться в ничто!

Магда зажала Пакле рот ладонью.

— Перестань, чортушка, надоел!

Леда ударила Паклю по спине.

У девушек был вид чрезвычайно самостоятельный, напоминавший курсисток.

— Перестаньте,— отмахивался от них Пакля,— дайте переговорить с умственным чоловиком, да и вы послухайте наш разговор! Не все же вам с утра до вечера чепуху болтать!

Девушки притихли. Парни, ухмыляясь, придвинулись поближе.

Пакля продолжал:

— Вот моя философия: в бога как абстрактное существо я давно не верю! Верю только в то, что могу видеть и ощущать. Против Христа тоже восстаю! Внутренне и душевно борюсь с ним, ибо не могу любить своих врагов, которые нас всегда так презирали, не считали за людей! Против добра окончательно протестую! Там, где один видит добро, другой обязательно зло находит! Не будь на свете зла — тогда бы и добро не называлось добром! Если человечество в своем развитии, в сильных толчках и переворотах когда-нибудь достигнет наивысшего блаженства, когда не будет ни болезней, ни страданий, все равно он пресытится благополучием, будет скучать, дурить и хулиганить от недовольства добром! Ты скажешь — необразован я: верно! В этом горе мое! Образованных людей мало бачив: так себе — мнимую интеллигенцию, которая дышит барством, смотрит на нашего брата, как на быдло — эдаких видав, а чтобы настоящих — ни, не бачив.

Пакля мог говорить в этом роде долго: это была

его любимая тема, всему хору надоедавшая. Танцоры, заслышав его рассуждения, взялись за шапки и, перемигнувшись, вышли — повидимому, в трактир.

Между тем, девицы накрыли стол, приготовили принесенную нами закуску.

— Ну, что же, отвечай! — закончил свою речь Пакля.

— Постойте! — остановила меня Магда. — Эту мерихлюнцию мы давно слышим. Паклинская хвилософия — надоело слушать! Скажите ему, чтобы он скорее отвязался! А вот ежели вы о женской доле можете сказать — вот это и мы послушаем!

Леда, игравшая здесь, повидимому, роль евангельской Марфы, наполнила рюмки.

Магда, светлая блондинка с бело-розовым цветом лица, была очень хороша собой.

— Ежели вы ученые и можете все объяснить, то, пожалуйста, разъясните нам, почему вы, ученые, ставите женщин ниже мужчин? Почему вам, ученым, не надо нашего ума или таланта, а требуется только наше тело!

— Как унижают-то, как оскорбляют! — вставила свое слово Леда, и глаза ее вдруг наполнились слезами.

В голосе Магды зазвенел гнев.

— Если бы вы знали, как много из нас кончают с собой, отравляются ядом, вешаются, стреляются! Объясните нам, маленьким несчастным женщинам — как нам быть, чтобы выбиться из нашего позора, из нашего насильства, из продажности нашей?

Магда с пылающими щеками откинулась назад, как бы бросая мне вызов.

— Чорт побери, постой же ты, Магдалина! — сердито вскричал Пакля. — Пускай он сначала на мои вопросы ответит! Мне самому нужно его допросить!

Но Магда кинулась ко мне с умоляющим видом:

— Голубчик «профессор», ежели Пакля начнет говорить, он никогда не кончит... а я вам в одну минуточку всю мою маленькую, ничтожную жизнь... Замолчи ты, противный Пакля!.. Я вам всю ее... в двух словах...

Магда заискивающе погладила мое плечо, оправила свои волосы и платье.

— Пусть ее! — сказал я Пакле.

«Волнуясь и спеша», девушка затараторила, глотая слова:

— Извините, я не получила буквально никакого образования. Мой отец был николаевский солдат, прослужил двадцать пять лет... Воротился весь в шрамах от ран... получал пенсию три рубля в месяц. А потом на станции стрелочником служил. Мать умерла, когда мне было три года. Отец мог меня выучить только азбуке. Семи лет он отдал меня в модный магазин... не очень я там много шила и не в шитье была там сила! На побегушках была по целым дням: за нитками, за иголками, за булавками. Чуть что не так — оставляли без обеда и ужина! В три часа утра обязана была встать. чтобы убрать семь комнат квартиры и мастерской. Ежели хозяйка заметит где пылинку, сейчас за ухо или за волосы дерет, пока не собьет с ног! У меня и теперь левое ухо длиннее правого! Спать ложилась в час, иногда в два, когда бывали гости. Или хозяйка ляжет на диван и читает какой-нибудь глупый роман, а я должна сидеть возле нее!.. Не дай бог — задремлешь; сейчас схватит за ухо, скрутит его и дергает.

А то еще бывали поручения: хозяйка имела на стороне любовника, а хозяин — любовницу, и нужно было носить любовные записки, носить так, чтобы муж не мог знать про любовника, а жена — про любовницу, и это была самая трудная задача: тот и другая, посылая меня, говорили, взяв за ухо: «Ежели попадешься — запорю до смерти!»

А в семь часов утра в модной мастерской уже начиналась общая работа. И вот я, наконец, «попалась»: обнаружилась грязная драма моих хозяев! Меня, ребенка, били в кровь, до бесчувствия, и выбросили замертво! И некому было заступиться... Профессор! Пакля! Некому! Профессор! когда я вспоминаю все это — у меня волосы встают дыбом и по телу мурашки ползают! Во сне кричу от ужаса: прокля-тая жизнь!..

По мере рассказа голос девушки повышался и дрожал, глаза сверкали, щеки ярко горели. Испитое лицо

Пакли становилось все более хмурым: облокотясь обеими руками на спинку стула, на котором сидел верхом, он все ниже наклонял лобастую голову, не сводя с Магды сверлящих, острых, как гвозди, глаз, сверкавщих из-под сдвинутых пьявок бровей.

Магда неожиданно умолкла... Из глаз ее катились слезы, на лице застыло выражение беззвучного рыдания.

— Нельзя тебе водки пить! — тихо сказала ей подруга. — Хочешь нашатырю?

Пакля встал, уперся руками в спинку стула и произнес мрачно:

— Вот вы все меня злючкой считаете, а я... внутри... мягкотелый дурак! Не могу видеть крови без содрогания. Когда вижу, как на улице бьют лошадь или собаку... меня и самого били, как лошадь. Но если бы я был там... и видел это издевательство над обездоленным, беззащитным ребенком... я бы, клянусь богом, в которого не верю, — Пакля вдруг обнажил по локоть мускулистые руки и потряс ими, — я бы вот этими руками задавил до смерти тех гадов, хотя бы их было предо мною пять или шесть!.. Ну, говори, что вышло дальше, Магда?

Она тихо сказала, вытирая слезы:

— Что говорить? Ясно, что могло выйти из меня! Так и росла, красивая выросла на свою беду... По чужим углам меж таких людей недолго честной наживешь!.. А ведь я учиться хотела... книжки читать — страсть моя! И теперь люблю!.. Бывало — в прислугах живучи — отпросишься по делу, а сама залезешь куда-нибудь на чердак или в сарай и целый день лежишь над какой-нибудь книжкой, почти что по складам разбираешь!

Магда усмехнулась сквозь слезы.

— Помню, хотелось мне грамматике выучиться и долго билась, как надо писать слово «солнце»; ведь говорят все: «сонце»; или говорят: «серце», а пишут «сердце», а если так, то почему не пишут «солндце»? А как писать «нос», может быть «ноз»? — и так далее! Целые дни просиживала я над этой мудростью, пока разобралась: учителей-то не было у меня! Но не до-

велось учиться... Попала в шантан, в хоре пела и опять не в пеньи было дело. Бывало, домой в паршивую комнатешку воротишься под утро — ревешь, ревешь!.. Сами же тебя оплюют, в грязь втопчут, а потом издеваются, презирают, как тварь!.. Вот, профессор, скажите же, как выбраться из этих нечистот тем, кто туда не своей волей попал, а насильно затоптан сволочами?

— Ну, кончила ли ты? — спросил ее Пакля.

— Кончила!

— Профессор, отвечай по порядку: сначала мне, а потом ей! Хорошо?

Все они совершенно серьезно ждали от меня ответа.

Я ответил, обращаясь прежде всего к Пакле:

— Ты напрасно от меня ожидаешь профессорской лекции: я не профессор и даже не студент!.. Правда, кое-где учился, много читал, да и сам думал по поводу того, что читал и видел. И теперь читаю, в каждом большом городе книги из библиотеки беру, что и другим советую делать. Но, чтобы сколько-нибудь уяснить себе отношение к миру, нужно заняться самообразованием: читать не так бессистемно, как читал гоголевский Петрушка, а по особо составленному списку книг, по главнейшим отраслям знания. Если хочешь, я могу составить для тебя такой список, и тогда многое прояснится в твоей голове.

После этого предисловия я произнес нечто вроде простейшей лекции о происхождении мира и человека, об истории человечества, человеческого общества, об исторической роли всех религий и, наконец, того строя, в котором мы живем и от нелепостей которого, все более увеличивающихся, страдает большинство человечества.

Заметив необыкновенное внимание моих слушателей, я с невольным увлечением перешел в область будущего.

Мне казалось, что я говорил недолго, никем не прерываемый, но остаток короткой летней ночи пролетел так быстро, что взошедшая нежно-алая заря, ударившая в окна маленькой комнаты, заставила Леду погасить ненужную более лампу.

Во время моей речи закуска была съедена слушателями, а бутылку докончил Пакля, все чаще прикладывавшийся к рюмочке.

Когда я встал из-за стола, он схватил меня за плечи, смотря мне в лицо покрасневшими глазами. Потом неожиданно оттолкнул, потерял равновесие и, присев на корточки, закружился на полу, словно собираясь плясать или провалиться сквозь землю. Он был пьян.

— Врешь! — с раздражением закричал он, сидя на полу и ударяя себя в грудь кулаком. — Через книжку врешь! Я тебя ненавижу так же, как того горбуна! Новую веру выдумалы! Людей кохаете, а я их усих ось так бы чоботом, чоботом — та и расчавчив! Нема́ ничо́го, щось ты брешешь! Нема́!

Пакля заплакал пьяными слезами.

Зато синие глаза Магды сияли увлечением и счастьем. Ее побледневшее лицо казалось лицом только что проснувшегося человека. Она вышла проводить меня до калитки.

Было раннее летнее утро. Чирикали птицы. Над крышами показалось солнце. Я шел и думал об этой красивой девушке «невысокой нравственности» и о странном, «испорченном мужике» Степане Пакле

III

Теплая летняя ночь раскинулась над красавцем-городом на высоком берегу Днепра. Это — Киев.

По матовому полю неба брошено всего только несколько звезд: колдунья-луна начала свои волшебные чары и колдует над засыпающей землей, поливает ее своими дрожащими, серебристо-молочными лучами. Ползут кругом по земле тихо вздыхающие тени, шепчущие что-то непонятное, неведомое...

Я стою под тенью гигантского пирамидального тополя над самым обрывом огромной зеленой горы, наверху которой раскинулся роскошный сад с летним театром и эстрадой в виде раковины. Оттуда несутся могучие волны симфонического оркестра. Медные трубы ревут с такою мощью, как будто хотят воскресить

мертвых. Неподвижно, словно в столбняке, смотрю я с горы вниз на блестящий, чешуйчатый Днепр. Он дремлет под луной в своей серебряной кольчуге.

Позади меня густая аллея сада с залитыми луной дорожками, и я слышу, как там гуляет разряженная, красивая толпа, всюду мелькают влюбленные парочки: это все ворожит луна, она и сама влюблена сегодня. Теплый, влажный воздух словно шепчет: как хорошо любить в эту ночь! Как хорошо!

Но некого полюбить мне, и не для меня дышит эта страстная, душная ночь! Я один, беден и голоден!

Вот уже две недели, как мы не играем в летнем театре: все театры закрыты на время «петровок», летнего поста, о котором неожиданно вспомнило богобоязненное начальство. Вдобавок наша труппа столкнулась с другою труппой, такою же большой, как наша; она тоже не играет, а в обеих труппах двести человек, все они терпят нужду! Нам выдали на две недели по пяти рублей аванса и сказали, что до начала спектаклей выдачи больше не будет. Обе труппы давно уже не обедают, но все двести человек ежедневно собираются в огромном зале большого трактира, где неизвестно за чей счет подается время от времени бутылка водки с селедкой на закуску. Бутылку эту всегда окружает толпа голодающих, и далеко не каждому удается выпить одну рюмку, селедка же исчезает гораздо раньше водки. Мне никогда не доставалось закуски и только можно было пососать кончик вилки, обмокнув ее в селедочный сок, оставшийся на тарелке.

Так живем мы уже вторую неделю. Сначала мучил голод, а потом ничего — привыкли. Вечером идем в сад слушать симфоническую музыку. Кое у кого находится несколько копеек на вход в трактир, и хористы ходят туда ловить «карасей»: так называется знакомство с трактирными меценатами, любителями общества актеров. «Караси» иногда угощают, но далеко не всех, да не все и способны унижаться до этой «ловли».

Я не хожу в трактиры, не «ловлю карасей» и так отощал, что даже потерял аппетит: есть почти не хочется, чувства и мысли обострились, и — невольный

аскет — я превратился почти в духа, живу болезненной фантазией и в эту лунную ночь, мечтаю не о хлебе, а о ласках женщины, о фантастической любви, о невозможной, воображаемой встрече с выдуманной, бесплотной красавицей, обнимающей меня в мечтах своими белыми, призрачными руками. Должно быть, так начинается бред человека, истощенного двухнедельным голодом.

Вдруг из-за куста вывернулся Голубенко в своем украинском наряде: в расшитой сорочке с красным кушаком, в синей свитке и сивой смушковой шапке. Маленький, но плотный и мускулистый, как все танцоры, двадцатилетний безусый парень, он глупо улыбается во всю свою круглую физиономию.

— Ты здесь? — говорит он, близко подходя ко мне. — А я тебя ищу по всему саду!

— Зачем!

— Одна барышня хочет тебя видеть!

— Какая барышня? Нет у меня никаких барышень!

— Ну, уж я не знаю, очень просила разыскать тебя, вон там, у куста стоит! Пойдем, ей-богу не вру!

Он берет меня под руку и почти насильно ведет через аллею, залитую лунным светом. В тени акаций, действительно, виднеется смутная фигура. Голубенко подводит меня близко к ней и тотчас же молча исчезает. Передо мной стоит нарядно одетая женщина, в шляпе с черными страусовыми перьями, в черной шелковой накидке.

— Не узнаете? — грудным голосом говорит она, протягивая мне белую крепкую руку.

Я близко наклоняюсь к ее красивому лицу, смутно белеющему в тени акаций.

— Магда!

Да, это она, моя забытая, случайная знакомая, когда-то голодавшая, а теперь пополневшая, похорошевшая и разодетая в пух и прах.

— Вы угадали!.. — смеясь, говорит она и не выпускает моей руки из своей, крепкой и горячей. — Удивляетесь моей перемене? Очень просто: мне повезло! Ну, а как ваши дела?

— Плохо! как видите — не играем!

— Знаю! А помните, как вы нас угощали ужином в Мелитополе! Я в долгу у вас! Вы не рассердитесь, если я вас тоже угощу сегодня?

Я смутился и молчу.

— Ну, по-товарищески! Право! — уговаривает меня Магда. — Я вас весь вечер ищу!

— Не могу!

— Пожалуйста, без разговору! Было время, наши дела были плохие, а ваши хорошие, теперь наоборот! Ну, по-товарищески, идем в «Шато», что ли?

Взяв меня под руку, она продолжает, переходя на «ты»:

— Не беспокойся! Я теперь двадцать пять рублей за визит получаю и субсидию от мецената, то бишь от содержателя!

Она крепко прижимает на ходу мою руку и, заглядывая снизу вверх мне в лицо, говорит тихим кокетливым шопотом:

— Очень уж ты мне понравился — своим разговором... тогда... в Мелитополе!

Труппа все еще продолжала голодать, когда кому-то пришла мысль, пользуясь обилием свободного времени, организовать экскурсию для осмотра катакомб Киево-Печерской лавры.

Толпой около ста человек рано утром мы спустились с горы к Днепру, откуда шла дорога к знаменитому историческому монастырю, бывшему когда-то средоточием древней «письменности», а теперь привлекавшему деревенских паломников для поклонения «мощам». Вот эти «мощи» и представляли для многих из нас главнейший интерес, кроме замечательной красоты окрестностей древней столицы, где на живописной горе, окруженные зеленой кудрявой дубровой, виднелись золоченые купола богатого монастыря.

На берегу Днепра стоял памятник «крещения Руси» — фонтан, устроенный в форме высокого железного креста, из концов которого била сильная струя воды.

Около фонтана — толпа паломников крестьян. Они

гуськом тянутся отсюда по живописной дороге вдоль гористого берега к Лавре.

Все «независимые» здесь: братья Миницкие, Бугай, Гинский, Матвеев, Санкевич, я, примыкающие к нам юный парикмахер Сашка и глубокий скептик Пакля. Никто из нас не верит в существование «мощей», и мы обмениваемся остротами на эту тему. Позади нас движется вся труппа. С реки дует свежий утренний ветер. Товарищи мои одеты легко в расчете на жаркий летний день, но теперь пожимаются от ветра. Пакля идет рядом — в одной сорочке, заправленной в широкие суконные шаровары. Только мне жарко в моей недавно купленной черкеске и накинутой на плечи косматой бурке: я снимаю ее.

— Профессор, дай же мени твою бурку! — говорит Пакля. — Тоби жарко, а я жь таки зазноби́вся!

Отдаю ему бурку с удовольствием: стало легче итти.

Я говорю о той общей причине, которая заставляет всех нас оторваться от реальной жизни и бродить по земле в поисках чудесного: нам опротивела унылая проза жизни! Мы ненавидим ее — серую, печальную, жестокую. Мы слишком близко знаем ее, а хотим чего-то другого, яркого, поэтического! Хотим чудес, но только не таких, каких ищут вот эти паломники.

— Толкуй! — повернувшись вокруг себя на одной ноге, насмешливо сказал маленький Гинский. — Говоришь всегда обиняками! Знаем мы, куда ты гнешь! Народ — он тоже о чем-то мечтает!

— Ось и повстречалыся с народом на одний дорози! Умный с дурнем! Дурню «мощи» нужны, а вам що? — ехидничал Пакля. — Бачите ось того верзилу — як плаче! Аж борода взмокла! Ежели буду колысь мужика играть — обязательно его сыграю!

И, ткнув меня локтем в бок, начинает один из своих странных рассказов, сразу переходя при этом на чистый русский язык:

— Вот, профессор, расскажу тебе про наш крестьянский народ. Был я на сельской ярмарке — это во время моего пешего хождения. Село большое, съехался народ со всех волостей. Картина! От кумачевых рубах,

пестрых платков и платьев аж в глазах рябит! Слепые бандуристы поют, гармошка наяривает, где пляс идет, где песни! Народ валом валит! И тут втемяшилось мне, будто кто подталкивает: залезь на воз, скажи слово! Ну, никак не могу удержаться! Влезаю на телегу и на все четыре стороны кланяюсь, а сам шапкой машу!.. Поклон всей громаде! И будто не я говорю, кто-то другой во мне говорит!.. Объявляю всем, что секретно прислан я из Петербурга от министра внутренних дел по указу его величества объявить от подземельной канцелярии всем христианам: вся земля от помещиков дарственно и беспошлинно отходит к народу! И пошел и пошел городить, сам себя остановить не могу! Вижу — затихла вся площадь, слухают мои словеса!.. Вижу — верят мне, як дураки, як диты малые! А я — не унимаюсь: вся земля вольная будет, бери кто сколь захоче!.. Кончил, слезаю с возу! Сняли шапки передо мной... Иду, народ расступается, плаче, в ноги мне кланяется, да вдруг какой-то парень усомнился: «А не врешь ли ты, пане добродию?» Тут я развернулся, да как дам ему в ухо, сшиб с ног долой!.. И что жь ты думаешь, профессор? Подействовала такая моя развязность! За грудки его взяли, свалка началась, а потом, когда вспомнили обо мне — мой и след простыл!.. Ха-ха-ха!

— Зачем же ты сделал это?

— Так, и сам не розумию! — пожав плечами, искренно ответил Пакля. — Говорю же тебе, будто бес меня подталкивает: сделай вот так, скажи вот эдак, и я говорю и делаю, будто сам не свой! Бувае в дело выходит, иногда — в хулиганство, а чаще во вред мне же... не могу я свои поступки понимать!

— Ведь тебе же могли кишки выпустить!

— Конечно, могли!.. Ну, признаюсь, любо мне было, когда они принялись друг друга колошматить!.. Не люблю мужиков! Над дураками посмеяться люблю!..

— Хитрый ты, Пакля, и сволочь порядочная! Ведь и сам же ты испорченный мужик!

— Хулиган! — послышалось со всех сторон. — Озорник!

Степан Пакля и не подумал обижаться: в ответ на

обычное негодование «независимых» он только лукаво хихикал, иронически кланяясь:

— Верно, верно!.. Ну, и умные же вы! Ну, и головы у вас! Аяй! Не дай боже!

Вот, наконец, и Лавра: она стоит высоко над Днепром между величавыми, лесистыми горами! Кругом веет тихим, торжественным настроением.

Вдруг у полукруглых старинных ворот монастыря наталкиваемся на отвратительное и ужасное зрелище: на земле с чашечками для подаяний сидят и гнусаво, мерзко поют безносые, безглазые, безрукие и безногие сифилитики! Один из них совсем безлицый: у него нет ни щек, ни губ, ни носа, ни глаз и только длинный «обнаженный» язык болтается в открытой зловонной гортани!

Смрад идет от них и смрадно их гнусавое, хныкающее пение. Это нищие. Мы все потрясены их кошмарным уродством: не жалость они возбуждают, а омерзение, гадливость и ужас. Зачем их тут посадили? Неужели только с целью собирания подаяний? Богомольцы останавливаются около них, развязывают свои кошели, и слышно, каким безостановочным потоком, медным дождем сыплются неисчислимые пятаки в грязные чашки сифилитиков. Несомненно, что эти несчастные, заживо сгнившие больные люди представляют чью-то крупную собственность, приносящую своим владельцам значительные доходы. Монастырь, давно уже представляющий из себя коммерческое предприятие, взимает с них высокую годовую ренту за «место» у монастырских ворот.

Но не в одном «доходе» тут дело: учитывается потрясающее впечатление ужаса, поражающее всех, кто входит в мрачную обитель. Это впечатление как бы подготовляет входящих к дальнейшим ужасам, ожидающим его за «святыми» стенами.

Содрогаясь от отвращения, отворачиваясь и закрывая руками лица, пробегаем мы в полукруглые ворота.

Идем через широкий монастырский двор, мимо древнего златоглавого монастыря, под какой-то каменный навес. Там во всю стену масляными красками написана картина, и мы, изумленные, смотрим на нее.

Черные голые черти с высунутыми красными языками, с хвостами, рогами и копытами варят в котлах, поджаривают на сковородах и поддевают на вилы несчастных грешников. Сначала изуродованные люди, а потом изображение истязуемых грешников действует на паломников потрясающе.

А кругом ходят спокойные и важные монахи, зажигают желтые восковые свечки, раздают их, требуя за что-то деньги.

И только, когда толпа паломников совсем обезумела от ужаса и религиозного страха, вдруг в стене открылась маленькая дверь...

Монахи выстроили всех нас гуськом, с зажженными свечами в руках, и ведут куда-то вниз, как бы в преисподнюю.

Освещая путь только восковою свечкой, мы идем в катакомбах. Впереди идет один монах, шествие заключает другой. Монотонно, заученно звучит голос первого.

Он показывает «мощи» и объясняет что-то, называет имена святых, оставшихся нетленными, рассказывает их биографии, полные невероятных, мистических чудес.

По бокам узкого прохода в полутемных нишах виднеются открытые короткие гробы, а в них лежит уродливо сделанное, неестественное подобие человеческих фигур, обшитых коричневым коленкором: ни лиц, ни пальцев не видно под чехлами, надетыми на эти большеголовые, коротенькие куклы. Это и есть «мощи». Я вынул заранее приготовленный перочинный нож и тихонько кольнул одну из них. Лезвие сначала встретило что-то мягкое, похожее на вату, и уперлось в дерево или воск. Кто-то дернул меня за рукав: за мной шел Пакля, подмигнувший мне одобрительно. Мы были в центре группы: передний и задний монахи в полутьме подземелья, конечно, не могли видеть наших опытов. Некоторые гробы стояли пустыми.

Через полчаса путешествия, поворачивая из одного прохода в другой, где без провожатых мы бы непременно заблудились, монах остановился и, показывая на освещенный человеческий череп на блюде, «чудесно»

источавший сам из себя деревянное масло, начал говорить об этом «чуде». У паломников, шедших впереди нас, не явилось даже и тени сомнения в подлинности мощей. Они окончательно ничего не видят, кроме того, что хотят видеть: они верили в мощи всю свою жизнь, мечтали о них, возлагали на них все упования, ждали чудес всю дорогу, пока шли сюда, ужасались при виде фонтана и родников, а нищие и картина адских мук совсем их доконали. Паломники плачут, крестятся.

Оказывается, можно довести людей до такого самогипноза, что они видят только то, что им приказано видеть. В подавленности их духа настолько уверены, что даже не дают себе труда обманывать более тщательно: куклы сделаны плохо, содержатся небрежно. Без морального гипноза и пятилетний ребенок заметил бы обман грубый, но его не видят наивные люди, из года в год притекающие на поклонение выдуманным святыням и поддельным нетленным мощам.

Где-то впереди забрезжил дневной свет. Вот он все ближе и ближе. Мы поднимаемся по каменным ступеням. Монахи отбирают у нас и гасят свечи.

Внезапно отворяется дверь и прямо в глаза бьет яркий солнечный свет.

Мы выходим уже по другую сторону монастыря.

Богомольцы встают на колени, кланяются золотым крестам сияющих церковных куполов.

Обратно паломники идут врассыпную, отдельными группами.

Наша актерская толпа тоже рассеялась: одни пошли верхней дорогой, другие — нижней. Мужской хор спустился по тропинке к широко разлившемуся Днепру.

После долгого путешествия пешком все устали, солнце припекало. Сели отдыхать на высоком обрыве, под которым мерно звучали набегающие волны.

Многие сняли с плеч верхнее платье, пальто, пиджаки. Бугай расстелил бурку, вынул полбутылки водки, Гинский — закуску: бурсаки принялись «подкрепляться». Только Пакля не снимал с плеч мою бурку, стоя над обрывом.

— Пакля, — кричали ему товарищи, — давай сюда бурку? Чего фигурируешь, как на сцене!

Матвеев дернул его за полу и вдруг отскочил: из-под бурки упала большая коричневая кукла — одна из только что виденных нами в подземельях монастыря.

При общем изумлении «испорченный мужик», бросив бурку, схватил чучело за ногу, раскачал и бросил в Днепр. Потом по своему обычаю присел, завертелся волчком и долго хохотал своим жестким, недобрым, странным смехом, ползая по земле и хватаясь за живот. Трудно было определить, смеется он или рыдает, но хор, глядя то на него, то на «мощи», мелькавшие в волнах, разрешился мощным хохотом, полным глубокого удовлетворения.

Я открыл глаза.

Около меня сидит мой друг и сожитель Санкевич. Он в черных брюках и заправленной в брюки нижней рубашке с расстегнутым воротом. Смугл, черноволос, худощав, с маленькими черными усиками. На вид ему лет двадцать пять, а на самом деле тридцать. Лоб у него маленький, волосы густые, коротко остриженные, смуглое, худое лицо имеет какое-то «роковое» выражение; он напоминает лермонтовского «фаталиста».

— Что это снилось тебе? — знакомым металлическим тенором спрашивает он.

— Не помню. А что?

— Ты плакал во сне. И лицо было у тебя такое жалкое, что я не вытерпел, разбудил. Да и пора на репетицию.

Мы живем в плохонькой гостинице, в маленьком номере с двумя кроватями. Комната тесная, бедная, с окнами во двор, на дворе летний теплый дождь и капли его обильными слезами катятся по стеклам.

Санкевич с похмелья печален, задумчив и находится в певучем, скучающем настроении, которому как раз соответствует дождливая погода. Он встает, подходит к окну, докуривает папироску, вполголоса напевает:

Во сне я горько плакал:
Мне снилось, что ты умерла!

Поет он очень хорошо, голос у него гибкий, певучий, с баритонным оттенком. Он и сам еще не решил — тенор у него или баритон, в хоре поет со вторыми тенорами. Думая о чем-то своем или отдавшись настроению грусти, он мурлычет фразы то из одного, то из другого романса.

Льет ливмя дождь, несутся тучи...
Полна печали эта ночь,
Но мысль о ней, как свет могучий,
Стоит и не отходит прочь!..

На последнем низком звуке он пускает грудную, настояще баритональную ноту.

Я продолжаю лежать на кровати и слушаю его пение.

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье...

— Послушай, — прерывает он самого себя, — любил ли ты когда-нибудь по-настоящему, хорошей, чистой любовью?

Я молчу.

— Была ли у тебя какая-нибудь любовная история?

Я притворно зеваю.

— В тебе, — продолжает он, — есть что-то отталкивающее людей. С тобою надо быть близко знакомым, чтобы тебя полюбить, как я, например, тебя люблю. Ты оказываешься совсем не тем, чем кажешься, но ведь женщины в этом плохо разбираются. Не думаю, чтобы ты мог иметь успех у них. Для них главное — внешность, положение... Через эту самую любовь я в сумасшедшем доме сидел! Любил я девушку светскую, богатую, красивую... После сумасшествия, когда меня вылечили, я как-то все позабыл, то есть совершенно изгладилось из памяти ее лицо, но любовь осталась; все еще люблю ее. Вот и поступил на сцену, чтобы и меня забыли!

Он тихо продолжает петь:

Шли годы... Бурь порыв мятежный
Развеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты!..

Потом мы пьем чай, съедаем французскую булку и собираемся на репетицию.

Дождь перестал. Санкевич всегда одевается тщательно: на нем сорочка с крахмальной грудью и смокинг, сильно поношенный. Я надеваю черкеску, и мы выходим на работу.

В пустом театре гулко гремит оркестр, мужской хор уже стоит на сцене и поет песню бурсаков из пьесы «Вий», написанной по Гоголю, но с большим обилием пения:

Мы, ныне, лишь от сна восстав...

При этих словах мы появляемся на сцене. В хоре смеются: опять проспали начало репетиции!

«Вий» — обстановочная пьеса, почти феерия: там фигурируют черти, змеи, чудовища, летает по воздуху гроб, ведьма ездит верхом на «философе» Хоме Бруте и превращается при эффектном голубом освещении в прекрасную панночку. А роль панночки! Что это была за выигрышная роль для примадонны Черноморской, когда она появляется перед спящим Хомой в картонных облаках, в глубине сцены, вся в белом, прозрачная и неземная, в венке из лилий, прелестная, печальная русалка! Об этой роли каждая хористка мечтала, чтобы выдвинуться, но роль панночки никому не уступала Черноморская! А роль Хомы! За нее тоже прочно держится тенор Заглоба, — такие там красивые номера! Даже маленькую комическую роль старого Дороша и ту любит второстепенный актер Кирша.

И не странно ли, что все отказывались от главной роли этой пьесы, от самой первой и вместе последней роли — «Вия», который за минуту до окончания пьесы появляется из-под сцены и орет страшным голосом: «Пиднимить мени веки!»

И затем с криком: «Вот он!» — проваливается в люк под сцену.

Для изображения этого главного гоголевского чорта был придуман остроумный костюм из пакли, увеличивавшей фигуру актера. На плечи надевалась громадная картонная голова чудовища с закрытыми глазами и спрятанным в ней механизмом, при помощи которо-

го веки открывались, а за ними зажигались две красных электрических лампочки.

Сложность костюма делала эту роль чрезвычайно трудной для благополучного исполнения: во-первых, сидеть в нем за кулисами, да еще под сценой, было очень жарко, во-вторых, никому эта роль не сходила благополучно: то вдруг веки не поднимаются, или откроется один глаз, а другой, хоть плачь, не открывается, то глаза сами откроются раньше времени, а уже о «провале» и говорить нечего: еще ни разу никто удачно не проваливался — то застрянет голова в люке, то люк уйдет из-под ног, и бедный «Вий» летит под сцену с риском расшибиться вдребезги.

Роль эту поручали обыкновенно кому-нибудь из басов, но как ни стремился каждый хорист получить хоть какую-нибудь роль, от «Вия» все они по очереди отказывались.

У хористов явилось суеверное предубеждение против этой дьявольской роли, как будто самолюбивый чорт мстил каждому, кто изображал его на сцене: должно быть, не нравились исполнители.

Дирижер, как безумный, мечется в оркестре за своим пюпитром. Некоторые из басов, боясь, что им навяжут роль «Вия», совсем не пришли на репетицию.

— Кто будет играть «Вия»? — кричит дирижер.

Все молчат.

— Чорт знает что! Не ходят на репетицию, опаздывают! Штрафовать буду! Ну, вы, Бугай, оденьтесь сегодня Вием! — тычет он палочкой в сторону высокого бурсака, стоящего позади всех басов.

— Ни, не хочу! — отвечает Бугай.

— Ну, вы, Пакля!

— Мени байдуже! — соглашается тот. — Я еще там и «мужика» играю!

— Ему идет чертей играть! — насмешливо острят в хоре.

Дирижер стучит палочкой.

— Пройдемте интермедию!

В пьесе есть «интермедия» — сцена на сцене, когда толпа возвращающихся на каникулы бурсаков дает в деревне балаганное представление в обмен на провизию.

Там фигурирует цыган и искусственная лошадь, состоящая из картонной лошадиной головы и двух хористов, скрытых под попоной, изображающих один — переднюю часть лошади, а другой — заднюю. Играть переднюю часть дирижер поручает мне, а лошадиный зад — Санкевичу.

Бугай, наказанный за отказ от роли «Вия», бросает на меня завистливые взгляды: все же мне дана роль.

Хористы острят над ним.

В заключение хоровой репетиции мы проходим шумные, многозвучные хоры — «песни в лицах» с участием женского хора.

Загудел оркестр.

Против мужского хора, по другую сторону сцены, стоит женский хор, отвечающий нам. Поет солистка, ей отвечает тенор-солист, доходит очередь до солиста-баритона, а его нет, он не пришел.

— Соло баритон! — кричит сквозь оркестр и пение раздраженный дирижер.

— Нет его! — отвечает кто-то басом.

— Бугай! Пропойте!

— Я не знаю партии! — отзывается Бугай.

Дирижер плюет в сторону хора.

— Пакля!

Пакля начинает петь, но сбивается и умолкает.

— Листопад!

Листопад испугался, запел дрожащим голосом и забыл слова.

Из баритонов остаюсь один я.

Дирижер не любит меня за опаздывания и за то, что при встречах я не снимаю перед ним шапки. Никогда бы он не предложил мне петь соло, но теперь больше некому. Кроме того, он злорадно надеется, что и я срежусь...

Я запел.

Ох и закувала сыва зозулéнька...

Я придал этим словам нежность, которую чувствовал в певучей музыке песни. Всегдашний солист пел ее, как бы не понимая слов, а я спел выразительно, да

и голос звучал красиво. Хор дружно подвел меня к новой фразе солиста:

Ох и наступае то чорная хмара!..

Тут я развернул голос и дал громовую ноту, как нарастающую тучу. Никто не ожидал, что у меня поставленный, обработанный голос. Женщины все повернули головы в мою сторону. Из теноровой партии радостно выглянул Санкевич и дружески подмигнул мне.

После репетиции он подбегает ко мне, жмет руку и ласково гладит мне горло.

— Здорово! Ты произвел фурор!.. Даже я не ожидал, брат, что у тебя, мрачного, угрюмого флегматика, столько нежности, столько чувства в пении и этого самого... огонька!.. Браво, дружище! Тебе бы не в хоре быть!..

Подходит сценариус.

— Батько зовет вас!

— Иди, иди! — толкает меня Санкевич. — Не упускай момент!

Через минуту я стою в уборной перед нашим антрепренером.

Толстый, с седыми усами, он широко улыбается, протягивает мне руку.

— А я в первый раз сегодня услыхал ваш голос!.. Недурно! Недурно!.. Вы учились пению?

— Да, учился.

— Так чего же вы не просите ролей? Голос хороший, поете выразительно! Занимайтесь — и я вам буду роли давать!.. На первый раз возьмите все ноты для соло в хоре и выучите арию «Султана»... Будем выступать вместе в «Запорожце за Дунаем»! Хе-хе!.. Возьмите ноты и подготовьтесь, а там посмотрим!..

Щеки мои вспыхнули, как у мальчика. Смутился, кое-как поблагодарил, взял ноты и вышел из уборной.

Хор галдел в коридоре и при моем появлении сразу умолк, должно быть, говорили обо мне.

Санкевич взял меня под руку и, уводя к выходу из театра, сказал с важным видом:

— Поздравляю! Бери аванс и, конечно, вспрыснем успех... Извозчик! в «Палермо»!

III

«Батько» празднует в Киеве, куда ему, наконец, разрешили въезд, свой двадцатипятилетний юбилей. Идет опера «Запорожец за Дунаем». В роли запорожца «Карася» выступает юбиляр. После второго акта предполагается публичное чествование, юбилейные речи на сцене, поздравления от различных депутаций, чтение телеграмм и прочее. После спектакля вся труппа отправится в первоклассный ресторан, где приготовлены для ужина две больших комнаты.

Театр переполнен и слышно, как он гудит торжественным гулом тысячной толпы.

Хор гримируется в большой продолговатой комнате за сценой, в верхнем этаже. Вдоль глухой, длинной стены примощена вместо гримировального стола широкая кровельная доска. Кругом грязно и неуютно, как в сарае. Сверху светит электрическая лампа, на полу свалены в кучу костюмы для хора и бутафорские предметы.

Мужской хор — человек двадцать — в белых вышитых рубашках и голубых шароварах сидит в ряд за столом и раскрашивает свои лица: перед каждым собственное зеркальце, жестяной ящик с красками, кисточками, пудрой и заячьей лапкой для наведения румян.

Стоит общий говор, смех, перебрасываются шутками. Глухо доносятся волны оркестра и невнятный шум собравшейся публики.

Я сижу среди этого веселого, беззаботного хора, перед маленьким зеркалом.

Солист хора, выступающий сегодня впервые в небольшой, но красочной роли «Султана», я весь отдался в распоряжение парикмахера Сашки, и он с дружеской заботливостью гримирует и одевает меня. Чтобы создать из моей худощавой, высокой фигуры царственный образ, он облек меня в ватную толщинку, накладную грудь и плечи и уже сверх этого натянул шелковый с золотом панцырь, а затем богато расшитую бисером турецкую куртку. На мне длинные, широкие шаровары из тяжелого атласа алого цвета, белые шелковые чулки

и сафьяновые легкие туфли с загнутыми кверху носами, талия туго перетянута широким светлоголубым атласным кушаком. На голове белая чалма с павлиньим пером и луной из разноцветных камней.

Лицо совсем не мое: смуглое, румяное, горбоносое, обложенное коротко подстриженной черной бородкой, с черными бровями, с подведенными глазами, оно кажется мне сказочным лицом восточного красавца, напоминает образ легендарного Гарун-Аль-Рашида.

— Готово! — говорит, наконец, Сашка тоном художника, закончившего удачный портрет. — Теперь запомни: ты — Султан, идеальный властитель, переодетый купцом, чтобы видеть подлинную жизнь народа! Войди в роль сейчас же, за кулисами, а не тогда, когда выходишь на сцену.

Сашка отходит от меня на два шага и смотрит, как на собственное художественное произведение.

— Отлично! — говорит он. — Вот это будет настоящий Султан! И фигурой и голосом взял!

— Сегодня полный сбор! Плохой резонанс!

— Ну, а когда хорош резонанс, не получишь аванс!

Взрыв смеха. Отрывочное пение. Кто-то рассказывает анекдот из закулисной жизни.

Затрещал звонок.

— К выходу! — кричит снизу сценариус. — Султан! Где Султан?

Захолонуло сердце. Моим выступлением начинается акт. Сашка довершает костюм, накинув мне на плечи широкий и длинный плащ из черной материи. Спускаюсь по лестнице из уборной за кулисы и чувствую, как дрожат мои руки и ноги. Сердце то замирает, то усиленно бьется, но это не страх, а что-то другое: жуткая радость, нетерпение и напряженность.

Внезапно затихает закулисный гул, поплыла знакомая певучая музыка оркестра, и занавес медленно поднимается.

Я стою между кулис и дрожу всем телом. Вдруг чувствую внезапное желание убежать назад, сбросить плащ, чалму и никогда не выходить на эту ярко освещенную сцену, где чувствуется тягостное присутствие огромного, страшного, тысячеглазого чудовища.

Но я знаю, что уже поздно бежать, судьба моя решена, я должен выйти на сцену, хотя бы там меня и ожидал провал, позор, ужас и гибель.

— Выходите! — шипит сзади сценариус с книгой в руке. — Выходите! — и слегка трогает меня за плечо, как бы пуская в ход.

Медленно поднимаюсь по ступенькам на помост, появляюсь на возвышении, в глубине сцены, среди декоративных скал.

Сцена залита ярким голубоватым светом. Это лунная ночь на благословенном востоке, куда когда-то переселялись запорожцы. Горные скалы, стройные кипарисы, красивая, фантастическая жизнь в стране волшебных сказок, восточной роскоши и неги.

За рампой против суфлерской будки мечется дирижер, оркестр звучит, как докатившаяся до берега волна, дирижер делает выразительный жест своею палочкой, и я запел высоко над сценой, в самой глубине ее, завернувшись в черный плащ со скрещенными на груди руками. Голос мой прозвучал полно, чисто, красиво.

Отрадно сердцу здесь, спокойно!

Там, за рампой и оркестром — черная безмолвная бездна. Я не вижу в этой бездне людей, не вижу лиц и глаз, но чувствую, что на меня льется страшный магнетический ток тысячи взглядов.

И я чувствую необыкновенный прилив физической и нервной силы, сверхъестественной энергии. Мне кажется возможным поднять сто пудов, разнести и обрушить зрительный зал.

Сила и звучность моего голоса как бы удвоились, голос льется свободно, без напряжения, и я купаюсь в звуках, как жаворонок в лучах утреннего солнца. Нет больше ни страха, ни волнения, мне кажется, что я совершенно спокоен и крепко держу в руках волшебные, невидимые, туго натянутые нити, которым повинуется огромный, жестокий зрительный зал.

Я не помнил, когда спустился с возвышения и очутился у рампы, когда развернулся мой плащ, обнаруживший блеск красочного костюма, и вместе с тем

знал, что проделываю все, заранее обдуманное: первые фразы арии пропеть наверху, в глубине сцены, в картинной позе, завернувшись в плащ, во время паузы спуститься, а к рампе подойти как раз к моменту нового вступления. Все это я проделываю, как лунатик во сне. Дирижер подавал вступление обеими руками, как бы желая обнять меня. Суфлер заботливо шептал из будки слова арии, и я нежно любил их обоих в эти минуты.

Казалось, что оба они увлечены моим пением, усиленно помогают мне, приподнимают и несут ввысь мой неудержимо льющийся, все нарастающий голос.

В восторге от самого себя, я беру, наконец, страшно высокую, финальную, последнюю ноту, долго держу и, покачав ее, бросаю в зал, как ракету.

В темной яме черного зрительного зала что-то грохнуло, словно упала тяжесть. Я стою у рампы и усиленно слушаю, как они аплодируют мне, как будто от сна очнулся, не понимаю, что такое случилось! Аплодисменты то затихают, то возрастают, из темной глубины слышатся крики. Дирижер взмахивает палочкой, и оркестр начинает сначала. Я биссирую.

После повторения арии и новых аплодисментов, сажусь на бутафорский камень. По пьесе у меня небольшой монолог, выражающий мысли переодетого султана. Я произношу его, как бы думая вслух, лицом в сторону публики. Обернулся и вижу громадного запорожца с чубом и в шароварах «шире Черного моря»: запрокинув голову, пьет горилку прямо из горлышка бутылки.

— Здравствуй, добрый человек! — говорю я слова своей роли и кладу ему руку на плечо.

Запорожец поперхнулся так естественно, что в публике раздался смех. Добродушное, усатое лицо его вызывает у меня настоящую, искреннюю улыбку. Я никак не могу представить себе, что это наш антрепренер, а не Иван Карась, простодушный герой, в лицах рассказывающий о битве с арнаутами, в которой он когда-то спас от смерти будущего султана.

Как приятно иметь хорошего партнера на сцене! Мне казалось, что я, переодетый султан, разговариваю с на-

стоящим запорожцем, немножко смешным, наивным, но чрезвычайно симпатичным человеком.

Мы поговорили по душе, и я обещал простаку показать самого султана, назвавшись приятелем калифа.

Благодаря таланту великолепного артиста эта сцена прошла у нас чрезвычайно естественно. Простившись с запорожцем, я ухожу за кулисы, от всей души полюбив это дитя природы, непосредственного, доверчивого, простодушного Ивана Карася!

Весь хор стоял за кулисами и молча расступился, когда «султан» прошел со сцены в уборную, взглянув на них с той благосклонностью, с какой смотрел на Карася. Я все еще чувствовал себя благородным, заботящимся о народе Гарун-Аль-Рашидом.

Уборная была пуста. Я сел на табурет и вдруг почувствовал страшную усталость. Нервы сразу сдали. Сквозь краску грима по всему лицу выступил пот. Снял чалму, сбросил плащ и, тяжело дыша, облокотился на гримировальный стол. Успех! Первый успех на сцене! Я не знал, как это случилось, я не добивался артистической карьеры: случайность выдвинула меня. Дебют удался. Мне аплодировали, я биссировал, кроме того, жил на сцене и несколько минут искренно верил, что я «халиф на час» — живое лицо из восточной сказки.

Какое счастье ощущать на сцене внезапный прилив душевного огня и забвения самого себя! Какое счастье вдруг перевоплотиться в вымысел, жить выдуманной, яркой, красивой, фантастической жизнью!

В комнату вбежал парикмахер Сашка.

— Эй, султан, ты что же тут сидишь и нахохлился!.. Ведь фурор произвел! Теперь до тебя и не доплюнешь! Раздевайся скорее! Юбилей кончился. Все были на сцене, а батько слушал речи, сложивши вот так ручки на животике! Прослезился старик, доволен! Все едем в ресторан! Да ну же, разгримировывайся!.. Сейчас весь хор сюда привалит!

Сашка, весело болтая, начал снимать с моего лица наклеенную бороду, снял накладную толщинку, и опять я стал самим собой, походя скорее на бедного студента, чем на сказочного султана.

В большом зале роскошной гостиницы накрыт ужин почти на сто человек. Вся труппа разместилась за столами, сдвинутыми «глаголем». В центре сидит «Батько» рядом с пожилою важного вида дамою в черном глухом платье. Это — жена, приехавшая на юбилей из Петербурга, с которой он редко видится, круглый год разъезжая с труппой по Украине, Галиции, Бессарабии... Говорили, что всякий приезд жены скверно действует на настроение маститого артиста. И, действительно, склонивши к ней ухо, он с видимым неудовольствием слушает ее шопот. Кто-то из главных артистов сказал длинную, преувеличенно льстивую речь, какие обыкновенно говорят юбилярам. Его называли великим, гениальным, гордостью украинской сцены, первоклассным писателем, наследником Шевченко, вторым Шекспиром и создателем украинского театра.

Но эта лесть мало действовала на юбиляра, он сидел хмурый и чем-то недовольный.

«Передовой» труппы, а в данном случае распорядитель ужина, все время хлопочет, то выходя из комнаты, то снова неслышно появляясь. Речи говорятся на русском языке по заранее выработанной программе. Сказал свою речь распорядитель труппы Бурлак, после него очередь выступить Глазунову. Назначено для разнообразия и мое выступление со стихами в честь юбиляра.

Мое место напротив юбиляра, рядом с хорошенькой смуглянкой, только что поступившей в хор. Она часто обращается ко мне с какими-то вопросами, вскидывая на меня лукавые взгляды своих жгучих глаз; я отвечаю рассеянно, волнуясь перед вторым моим выступлением в этот вечер.

Встает Глазунов, стучит вилкой по тарелке и начинает бойкую хвалебную речь, но юбиляр внезапно останавливает его и, не скрывая раздражения, обращается к гостям с резким словом на мягком, певучем украинском наречии:

— Выбача́йте мени́, пано́ве, на моим слови: я ду́же дяку́ю вам на ваше гарне частува́ння до моей скромной осо́би! Но мое сердце неначе ножом полосуе ваша ба-

лачка на чужий мови!.. Уси вы диты нашой ридной Украйны, котра усих вас питае своима сосцяма, як матирь, но мий праздных дуже помрачаетця, що нихто не бажае балакаты на ридной мови! Прошу размовляты на украинской мови, але ж того не буде, краще пиду из кимнаты!

Проговорив это взволнованной скороговоркой, юбиляр сел с расстроенным и злым лицом.

Наступило неловкое молчание. Дело в том, что никто в труппе не умел изъясняться на украинском языке, все говорили по-русски, а на «ридной мови» знали только заученные роли пьес. Да и сам «Батько», безупречно владевший украинским языком, в «жизни» тоже всегда разговаривал на русском языке. Неизвестно, знал ли он, что артисты образцовой украинской труппы не владеют родным языком, но, настроенный самолюбивою супругою, он теперь неожиданно и властно потребовал невозможного, угрожая в противном случае «выйти из кимнаты».

Течение речей остановилось, тем более, что как раз очередь была за мной — читать стихотворение, написанное на русском языке. Все замерли в величайшем смущении.

Вдруг словно кто-то подтолкнул меня.

Я поднялся и громко, экспромтом сказал необходимое предисловие по-русски. Сказал, что не украинец и прошу разрешить мне прочесть стихи, написанные на моем родном языке.

Я говорил с большим пафосом, и юбиляр милостиво кивнул мне головой. Тогда я вынул коротенькое стихотворение и продекламировал его с необычайным жаром. Оно заканчивалось:

Здесь ночи летние теплы!
Здесь все хранит былого тайны!
Ура! да здравствует прекрасная Украйна!

Труппа, чувствуя во мне своего спасителя, грянула аплодисментами.

Лицо юбиляра прояснилось, и он с растроганной, широкой улыбкой потянулся ко мне, чтобы пожать мою руку.

Туча рассеялась. У всех отлегло от сердца. Кое-кто попытался говорить по-украински и хотя выходило плохо, но ораторов спасали аплодисменты и общее приподнятое настроение.

Шампанское, а потом «горилка» сделали свое дело. Стало шумно и весело.

Мной безраздельно на весь вечер завладела черноокая соседка. Это была женщина лет двадцати семи, южного типа, слегка напоминавшая мне ту, которую я бросил ради сцены.

— Вы герой сегодняшнего вечера! — кокетничая, говорила она. — И артист, и певец, и поэт! Где вы учились пению?

— Брал уроки у одного артиста Московского Большого театра! — И я назвал его фамилию.

Соседка моя радостно всплеснула руками.

— У Матвея Иваныча! Да ведь это друг нашей семьи! Он умер на моих руках в театре, когда пел «Риголетто»! Как приятно, что у нас с вами в прошлом был общий знакомый! Давайте поближе познакомимся! Меня зовут Бэллой Александровной. Мой муж прежде хорошо зарабатывал, но разорился, и вот я — хористка!

— Я тоже хорист!

— О, нет! Вы уже выдвинулись из хора, да и не к лицу вам быть хористом! Расскажите мне, кто вы такой, откуда?..

Я сказал, что там, где есть земля и небо, там моя родина! А где меня приласкают, там мои и родные, что я не знаю, где находятся те липы, под которыми протекло мое детство. Сказал, что болен беспокойством духа и что только жизнь беспокойная меня успокаивает.

Бэлла слушала, опустивши длинные ресницы, смуглая, румяная от шампанского. Я рад был вылить ей мою душу. Бэлла умела слушать, умела нравиться.

Говорил я до тех пор, пока парикмахер Сашка, в сильном подпитии, не подошел к нам и не сказал с удивлением, обращаясь к Бэлле:

— И откуда у него берется столько слов, чтобы так долго говорить?

Бэлла поднялась и, не обращая на него внимания, сказала мне интимным тоном:

— Пора домой, проводите меня!

В окнах брезжил рассвет. Зал уже наполовину опустел.

Она взяла меня под руку, маленькая, изящная, с лукавыми черными глазами.

Я ушел с нею к выходу, а Сашка, покачиваясь, промычал нам вслед с добродушно-пьяной иронией:

— Сул-л-тан!

Мне снилось, что я проснулся, открыл глаза и увидел сидящую у моего изголовья красивую девушку. Она была вся в черном, в плюшевой шапочке на тяжелых синевато-черных волосах и с муфтой в руках. Длинные черные ресницы были опущенными. Нежно-алые губы улыбались загадочно и грустно.

— Валентина! — вскричал я изумленно и радостно.— Неужели это вы?

— Ну, да, я! — отвечала она с прежней улыбкой и не поднимая ресниц. — Приехала повидать вас! Прошло уже три года, а вы все еще ездите по свету и не возвращаетесь ко мне! Были в нашем городе и не зашли! Помните, ваша труппа играла в летнем саду, я пришла в сад днем, чтобы увидеть вас, а вы, проходя, только поклонились мне издали! Разве так делают? Ведь вы мне стихи писали и сказки рассказывали!

— О, — с горечью вздохнул я, — если бы вы знали, как мне хотелось тогда подойти к вам! Но я был плохо одет, на мне было такое смешное желтое пальто, да кроме того, вы были еще с кем-то! Мне показалось, что вы надо мной смеяться будете! ложный стыд и мелкое самолюбие остановили меня!

Валентина подняла на меня свои громадные черные глаза, как бездонные озера, и мороз пробежал по моим жилам.

Она улыбнулась коварно.

— Нет! — возразила она. — Может быть, это и так было, но я знаю главную причину! Сердце поэта изменчиво, как ветер! Вы увлекаетесь Бэллой, я видела

вас с нею! Но берегитесь ее, берегитесь! Она принесет вам несчастье!

— Я не люблю ее! — возразил я с искренним чувством, — но она так похожа на вас, в ней я люблю вас, всегда только вас! Как грустно мне, Валентина, что вы отталкивали мою любовь, о которой я вам никогда не говорил! Я был уверен, что вы любите другого!

— Нет! — грустно прошептала Валентина, — я любила и люблю только вас. Я вечно думаю о вас и все жду, когда же вы вернетесь.

Тут Валентина медленно склонилась ко мне, я обнял ее, и мы слились в бесконечно долгом поцелуе.

Поцелуй был так долог, что я, наконец, первый хотел прервать его, но она не могла оторваться. Я вспомнил, что в одной комнате со мной спит мой товарищ Санкевич, что он может проснуться и увидеть наши объятия. Действительно, Санкевич тотчас зашевелился на своей постели. Тогда я оттолкнул ее от себя, чтобы она опять села на прежнее место, но она упала на пол подле кровати, тщетно пытаясь встать, как подстреленная птица, потом медленно и страшно стала, проваливаясь куда-то, расплываться, таять и, наконец, безмолвно, безропотно исчезла.

Это было так страшно, что я закричал и, казалось, проснулся. Санкевич тоже вскочил от моего крика и подошел ко мне. Я был в ужасном состоянии, зубы стучали, от ужаса я не мог вымолвить ни одного слова.

Санкевич, не понимая, что со мною, посадил меня за стол и о чем-то спрашивал, но я только выл и заикался. Он заразился моим ужасом и тоже закричал дико и страшно.

Наконец, я получил дар слова и, весь дрожа, стал рассказывать мой страшный сон. Рассказывал, как оттолкнул любимую девушку и как она на моих глазах пропала, как застреленная птица.

— Я не имел права любить ее, оттолкнул ради сцены и литературы! — задыхаясь, говорил я. — Но эта вырванная из сердца любовь такая пытка...

На этот раз пробуждение было действительное. Я лежал на постели в номере гостиницы и вспомнил, что

уже годы скитаюсь с труппой, стал профессиональным певцом и актером, а теперь выступаю во многих операх, пьесах и водевилях. Теперь пошел третий месяц, как мы играем в Одессе, я сегодня не занят, весь день и вечер могу делать, что хочу. Поселился я один для того, чтобы записывать в заветной тетради свои впечатления; веду что-то вроде дневника, в котором есть стихи, рассказы и начатая пьеса: пишу для себя из внутренней потребности или застарелой привычки. В такие свободные дни я или отдаюсь творчеству или бесцельно брожу по городу. В окна светило холодноватое, осеннее солнце. За тонкой стеной в соседнем номере слышны голоса и женский смех: там живет Бэлла.

При мысли о ней я вскакиваю с постели и хватаюсь за голову: голова горячая, должно быть, нездоров, оттого и приснился этот кошмар.

Валентина часто снится мне и всегда в печальном виде, всегда преследует меня во сне. Расставшись с ней ради каких-то самому мне неясных исканий, я и сам не знал тогда, как сильна была любовь моя.

Я был уверен, что скоро вернусь, но сцена захватила меня.

А вот Бэлла часто говорит мне, что я люблю ее, Бэллу! Может быть, она и права! Я отчасти верю ей! Действительно, как-то не могу обойтись без нее. Она лицом немножко напоминает Валентину, но только лицом: душа ее совсем другая, хищная, кошачья! Она умна, хитра и должно быть чувственна, опытна в любовных делах. На репетициях и спектаклях, в свободные часы за кулисами я разговариваю только с ней, говорю много, неистощимо, и она любит слушать мои рассказы. В гостинице нарочно устроила так, что я поселился рядом с нею. Провожаю ее после спектакля, а после обеда захожу для разговоров. Вечером вместе пьем чай, и я вечно что-то рассказываю, фантазирую, придумываю для нее смешные истории, пишу в ее альбом стихи. На столе у нее стоит мой портрет.

Бэлла то залезет зачем-нибудь на окно и ждет, чтобы я догадался снять ее оттуда, то в свободный вечер придумает итти в оперу вдвоем со мной. Я хлопочу,

бегаю, достаю билеты и чувствую себя счастливым, когда сижу с ней рядом в партере или ложе великолепного оперного театра.

А она держит себя со мной так, как будто с нею самый дорогой, близкий для нее человек.

В труппе все считают наши отношения близкими, но мне кажется, что я не ухаживаю за Бэллой, даже самое это слово оскорбляет меня, да и особенного успеха я не добиваюсь и не имею: только изредка позволяет она поцеловать ее в щеку, да и то под видом шутки. Но я рад хотя бы мимолетной и насмешливой, шутливой ласке Бэллы. Иногда она долго, внимательно смотрит на меня своими умными глазами и говорит как бы про себя:

— Вы самый интересный мужчина в труппе и все-таки — не в моем вкусе!

Или:

— Разве я вас в самом деле люблю, что ли? Нет! Так себе! Я несчастная женщина: мужа не люблю! Другого любила я!

У Бэллы двое детей — две девочки, шести и восьми лет, которых она возит с собой. Муж сколько-то высылает ей, но, очевидно, немного. Действительно, она не свободна, и любовь к ней, женщине с парой детей и без мужа, не сулит ничего путного.

— Я тоже вас не люблю! — говорю ей.

Бэлла смотрит на меня лукавыми, дразнящими глазами, — смеется.

— Неправда! Любите! Любите!

Иногда она вдруг становится холодной, невнимательной, всегда ускользающей под благовидным предлогом, только чтобы подразнить меня, но уличить ее во лжи никак невозможно: ей просто некогда, она позабыла обо мне.

Вдруг начинает ходить к ней тенорок Гинский, милый, веселый юноша, мой друг и почитатель моих острот и рассуждений. Она начинает в шутку целоваться с ним при мне и в это же время лукаво смотрит на меня, наблюдая за мной: ей хочется, чтобы я ревновал и поссорился с Гинским; рада видеть, когда я мучаюсь.

Иногда после спектакля я долго жду ее в коридоре,

чтобы проводить домой, но, оказывается, она ушла с каким-нибудь музыкантом.

После этого между нами образуется стена молчания. Я хожу несколько дней, как в воду опущенный. Избегаю встреч: завидев ее на улице, перехожу на другую сторону, почти не кланяемся. Вдруг она кличет меня, улыбается, кивает хорошенькой головкой и, как ни в чем не бывало, зазывает к себе, как будто между нами никакой черной кошки не перебегало. А я, вместо того чтобы отомстить ей, снова расцветаю. И опять все идет по-старому.

Вот так она играет мной, как кошка мышью: то отталкивает, то приближает к себе, а я, как зачарованный, лишился воли и позволяю проделывать над собой все эти женские штучки. Часто она упоминает о каком-то своем знакомом Носовском, который был ее «другом дома» в Ташкенте. Его-то, должно быть, любила она, с ним изменяла мужу. Рассказы о нем всегда злят меня, и Носовский представляется мне бледным молодым человеком с длинным, острым носом. Иногда она боится меня, чувствует, что мне не до шуток, что во мне происходит что-то серьезное, что она играет опасную игру. Может быть, только это и влечет ее ко мне: есть женщины, которых убивают измученные ими любовники, — Бэлла из таких.

За последнее время она отдалилась от меня. На сцену выходит тонко подгримированной, как на бал, в шикарных костюмах, сохранившихся с дней богатства. Особенно хорош у нее цыганский костюм, который очень идет к ней. В этом костюме она старается быть на глазах антрепренера, и он, наконец, обратил на нее внимание. В антрактах спектаклей я часто вижу их разговаривающими за кулисами. Знаменитый артист и писатель, он очень любит женщин и знает в них толк.

В Бэлле есть что-то чувственное, разжигающее страсть, и кроме того она умна, образованна, умеет вести остроумный разговор.

У меня явился неожиданный, сильный соперник, до сих пор покровительствовавший мне, как начинающему артисту.

Правда, он старик, а я молод, но он знаменит, богат, он хозяин труппы и любимую хористку может вывести в артистки, о чем они все так мечтают.

Бэлла была у него на квартире: в хоре ехидно говорят, что антрепренер ей «начитывает роли».

Все это поведение Бэллы рисует ее с дурной стороны, возбуждает во мне ревность, презренье и даже ненависть, но я знаю, что стоит ей поманить меня, как я опять покорно приду к ней, чтобы только дышать с ней одним воздухом, слышать ее смех и насмешливые, торжествующие уверения в любви моей к ней.

Мне необходимо видеть ее ежедневно, искать в ее чертах сходство с Валентиной.

Я встал, оделся, но не пошел к ней, преодолел в себе это властное влечение и, чтобы не уступить ему, вышел из гостиницы, сам не зная зачем и куда.

Толпа, текущая по улицам большого города, одушевлена какой-то стремительной энергией. Это заразительно. Резкое сопоставление вопиющей нужды с роскошью и богатством делают всех завистливыми, ненасытными, недовольными.

Толпа бежит, как поток. Чуждая мне, суетливая, бежит она по широким тротуарам, как будто случилось что-то необыкновенное, важное, лица мелькают, не оставаясь в памяти.

Я иду по тротуару кипучей улицы в суетливой, в бегающей толпе, задирая голову на окна верхних этажей и неловко задевая плечом встречных. Вот из окна четвертого этажа смотрят две хорошенькие женские головки: увидав меня, всплеснули руками, посмотрели одна на другую и расхохотались. Неужели с первого взгляда и с высоты четвертого этажа можно сразу отличить в толпе праздношатающегося человека? Я приветливо раскланиваюсь с ними и возбуждаю еще больший хохот. Момент — и толпа уносит меня дальше, а хохочущие девушки исчезают в окне.

Потолкавшись в толпе, направляюсь на приморский бульвар. Прохожу мимо храмоподобного здания биржи. К ее подъезду подкатывает щегольской экипаж, оттуда с важностью вылезает толстяк с восточным типом лица, в цилиндре и с массивной золотой цепью

на животе. Толпа около подъезда расступается, швейцар услужливо помогает ему взбираться по ступенькам, а во всей фигуре подъехавшего так и чувствуется магическое слово — «деньги».

Против биржи над бульваром стоит памятник Пушкину: это большой бронзовый бюст на высоком пьедестале. Я долго стою здесь и смотрю на Пушкина.

Бронзовая голова великана гордо и свободно смотрит в даль, туда, где до самого горизонта кочуют свинцовые волны осеннего моря, где соприкасаются с ними осенние облака. Он видит также, как под горой, глубоко внизу, кипит огромный порт, грузятся пароходы, бегают вдоль берега поезда с каменным углем и, как муравьи, трудятся маленькие, черные, грязные от угля человеческие фигуры.

Тяжело и одиноко осеннее море! Свинцово-седое, туманно-серебристое, оно напоминает мне снежное поле в лунную зимнюю ночь. Какая пустыня, какое великое одиночество! Мерно и глубоко стонет осеннее море, и стоны его обращаются в песнь, мрачную, как реквием.

— Опять один! Всегда один! — раздается за моей спиной знакомый металлический баритон. Оглядываюсь — Санкевич. Он в коротком пальто и маленькой шапочке. Стоит предо мной, со своей гордой осанкой, худой, смуглый, и улыбается, сверкая зубами из-под маленьких черных усов.

— Ты совсем отдалился от меня! — говорит он, садясь рядом со мной на скамейку. — С тех пор, как ты поселился один, рядом с этой Бэллой, ты уже стал не тот. Ты изменился, от тебя пахнет женщиной! Отодвинься от меня, не выношу бабьего духа!

Санкевич с притворной брезгливостью толкает меня плечом и строит кислую гримасу.

— Ну, что, отмалчиваешься, хитрец, разыгрываешь из себя казанскую сироту, а сам к бабьей юбке прилип! Меня злит, что я люблю тебя! Я должен был бы тебя ненавидеть! Ты мою дружбу и любовь к тебе принимаешь как должное, свинтус ты эдакий! Мне хочется ругать тебя самыми последними словами: Пуриц ты! Бабень ты! Пакля! Голубенко!

Перечисляет он вместо ругательств имена хористов и потом добавляет:

— Нет! ты хуже Голубенко!

— Друг мой, не бранись!

— А что ж! разве можно из-за бабы забывать друзей? А я — как осел, развесивши уши, верил твоей философии, которую ты перед всем хором рассусоливал! И как подумаешь, что такая смазливая бабенка выбрала себе эдакого чорта, как ты — поразительно!

— Да с чего ты взял? Я ей совсем не нравлюсь, никакого успеха не имею!

— Не имеешь! Толкуй там! Не хитри у меня!.. А если не имеешь, значит, ты просто дурак и разиня! Дают свинье холст, а она говорит — толст! Смотри — не зевай, не то опоздаешь: я как-то видел, как наш антрепренер гладил ее жирной рукой по щеке.

— Ну, вот, то-то же! Куда же нам!

— А что ж! Его — для выгоды, а тебя для любви! Не будь я сам влюблен — я бы тоже приударил! Хорошенькая такая цыганочка!

— Как же ты меня ругаешь, а сам влюблен?

— Я — другое дело! Моя любовь — в прошлом, забыть не могу!.. Помнишь, я рассказывал тебе: ее замуж выдали, а я с ума сходил!.. Навсегда потеряна для меня, а люблю! Во сне только и вижу! На новых живых женщин и смотреть не хочу!.. Для меня теперь одно — сцена! Я думал, что и ты такой же и за это любил тебя. Ведь выдвинулся же ты из хора в артисты. Выдвинусь и я! Мы ищем и уж когда-нибудь найдем же, добьемся своего, явимся миру! Придет время, когда наши таланты признают и поклонятся нам! Ба! К нам, не захотевшим примириться с жизнью, на четвереньках подползут и будут лизать ноги, будут говорить, что мы гениальны и что всегда это подозревали! И какую бы глупость мы тогда ни сказали, все будут находить замечательным! И не будет у нас прошлого, оно исчезнет, станет сном, сказкой, клеветой и сплетней!

Санкевич желчно засмеялся и продолжал, все больше возбуждаясь:

— Ничего не будет! Нам покажется, что мы никогда

не были жалкими хористами, никогда не голодали, не скитались, не ходили голодранцами, что ничего этого и не было никогда, что это чья-то глупая выдумка! На вершине жизни появимся мы, на самом гребне волны! И восхищенные поклонники нашего внезапного таланта впрягутся в победную колесницу, повезут нас в храм славы! Нами будут восхищаться, перед нами будут пресмыкаться, путь наш будет усыпан цветами! Ведь было же это с некоторыми счастливцами, отчего не может быть и с нами? Только не нужно связываться с женщиной! Истинный артист должен быть свободен от любви!.. И еще должна быть смелость и уверенность в себе, даже нахальство нужно, чтобы не затоптали нас, как топчет стадо первую зелень цветов!

В это время на скамейку против нас присели две хорошо одетые дамы. Санкевич взглянул на них, умолк и, ткнув меня локтем, сказал вполголоса:

— Вот прекрасный случай испробовать себя! Что если подойти и сесть рядом с ними? Кто из нас решится напустить на себя нахала? Ну, давай спорить: кто сядет, тому другой ставит бутылку красного!

— Что ж, идет, начинай!

Друг мой встал, запустил руки в карманы и большими шагами направился к дамам. Но еще не дойдя до них, неожиданно смутился, струсил и свернул в сторону.

— Не могу! — огорченно сказал он, возвращаясь обратно. — А ты?

Я встал, спокойно подошел к незнакомкам и, извинившись, сел рядом с ними.

— Сегодня прекрасная погода! — сообщил я им.

Дамы тотчас же встали и ушли.

— Ты выиграл! — печально и завистливо сказал Санкевич, подходя ко мне. — Твоя бутылка! — продолжал он, взяв меня под руку. — Все, что я говорю, может случиться с тобой, но вряд ли со мной!.. Даже когда мы оба играли лошадь на сцене, то и тогда тебе досталось играть переднюю часть лошади, а мне — заднюю: ты всегда опережал меня!

Поздно вечером я вернулся в гостиницу и, войдя в свой номер, прислушался: через тонкую стену с забитой дверью ясно слышался голосок Бэллы и еще чей-то мужской, глубокий, спокойный голос.

— Что это у вас за портрет на столе?

— Это мой друг! — отвечала Бэлла.

— Нельзя сказать, чтобы красивый, но мне кого-то напоминает!

— Зато умный! Я хотела бы вас с ним познакомить, да его сейчас дома нет, ушел куда-то!.. Я уверена, что он вам понравится! Вы, двое умных, поговорили бы между собой, а я бы послушала!

— А себя вы не считаете умной?

Бэлла засмеялась.

— Природный-то ум есть, но не развит он у меня!.. Хватает ума настолько, чтобы любить умных! Я и вас больше за ум любила, чем за наружность!

— Очень вам благодарен!

— Когда придет, я позову его!

— Ничего не имею против!..

Чтобы не услышать еще чего-нибудь о моем уме и наружности, я решил прервать этот разговор, вышел и постучал в дверь Бэллы.

— Войдите!

Бэлла сидела на турецком диване за овальным столом, уставленным винами и закусками. Посреди комнаты стоял хорошо одетый мужчина большого роста, широкоплечий, царственного вида красавец, типа Бориса Годунова, с густой черной бородой, похожий на возмужавшего Козьму. В сравнении с ним, я худой и бледный, вероятно, казался невзрачным, бесцветным.

— Наконец-то! — дружески сказала Бэлла. — Где вы пропадали? Знакомьтесь!..

— Носовский! — сказал гость, улыбнувшись и пожимая мою руку своей большой, сильной рукой.

При звуках бархатного голоса, прозвучавшего как бы знакомо, и в особенности при виде его улыбки я еще раз с удивлением посмотрел на него: так вот он какой, этот мой соперник из прошлого Бэллы!.. А я-то представлял его длинноносым человеком! Да не

Козьма ли это, превратившийся в солидного, европейски одетого барина?

— Слышал я о вас, но только не знал, что вы такой... красивый! — мы пристально посмотрели друг на друга.

— Правда? — вскричала Бэлла, раскрасневшись и сверкая глазами. На ней была легкая шелковая полосатая кофточка, соблазнительно облегавшая ее изящный, стройный бюст. От выпитого вина или от чего другого Бэлла казалась возбужденной.

— Правда, красавец? Вот моя старинная любовь!.. И ведь нечаянно встретились на улице... я думала, что он в Ташкенте, а он оказался здесь, в банке служит!.. Сознайтесь, вы кутить шли?

— Да, я шел было в ресторан сегодня! — лениво ответил Носовский, добродушно улыбаясь.

— И не раскаиваетесь, что попали ко мне?

— Нет!

— Там бы вам дороже обошлось, а здесь дешевле и интереснее!..

— Пейте и вы! — стрельнула в меня Бэлла зажигающим взглядом. — У меня сегодня такая встреча! Наливайте! Носовский! За что мы выпьем?

Сели за стол. Носовский, улыбаясь добродушно-грустной улыбкой, наполнил стаканы вином. Его лицо и улыбка невольно нравились мне; улыбаясь, он пристально смотрел мне в глаза. — Козьма! — чуть не вскрикнул я, но он отвернулся.

— За любовь! — вскричала Бэлла.

Носовский пожал плечами.

— За красоту! — предложил я.

— Нет, — возразила Бэлла, — все это старо, шаблонно и не нравится Носовскому! Выпьем за южных женщин, за нас, южанок!

— Какая же вы, однако, южанка? — спокойно возразил Носовский.

— Я родилась в Ялте, выросла в Ташкенте, мой народ — караимы!

Чокнулись и выпили.

Комната Бэллы разделялась занавеской на две по-

ловины: за занавеской давно уже спали дети и старуха-нянька около них.

— За южанок, у которых кровь, как огонь! Это не то, что ваши холодные северянки! Мы умеем любить! Мы умеем замучить, любя!..

— Тише, Бэлла, дети спят!..

— Пусть спят!.. Я и детей моих люблю страстно! Я отняла их у мужа и вот скитаюсь одна! Что моя жизнь теперь? Не жизнь, а прозябание! Но я помню мои лучшие дни. Носовский, сядьте подле меня!

Носовский с покорным видом перешел к ней на диван. Бэлла положила свою черную кудрявую голову на его могучее плечо.

— Помните Ташкент? — понизив голос, продолжала она мечтательно. — Как было хорошо!

— Да, помню!

— Я любила вас тогда и теперь люблю!

Носовский вздохнул.

— Я тоже любил вас!

— Я знала, что вы здесь! Была в ваше отсутствие у вашей жены!.. Она белобрысая северянка, некрасивая, старше вас, ревнивая! Так в меня и впилась, но я не сказала, кто я! Думала и не увидимся здесь, да вот сам попался! Зачем вы женились?

— Судьба! — Носовский опять вздохнул.

— Судьба! — со слезами в голосе тихо повторила она. — Да, наши пути разошлись, я разбила мою жизнь, взяла на руки детей моих и ушла скитаться вот с этим актерским табором. Хотела забыть вас — и не могла!

Медленно, почти безвольно, как бы подчиняясь невидимой силе, она обвила его шею своими маленькими, тонкими руками и откинула голову, изнемогая от страсти. Носовский наклонился к ней.

Я встал из-за стола и сделал движение, чтобы уйти.

Бэлла вдруг оттолкнула Носовского и рванулась ко мне.

— Стой, — закричала она свирепо, — назад! Не сметь уходить!.. Может быть, и тебя полюблю, но прежде истерзаю, измучу всего!.. Что мне Носовский!

Это прошлое, от которого нет сил освободиться!.. Сидите здесь! Вы оба мне нужны!

Носовский тяжело поднялся.

— Пора! — печально сказал он. — Уж поздно... я пойду!

Он снял с вешалки щегольское пальто и шляпу.

Бэлла его не удерживала.

Она подошла к нему, маленькая, изящная, как кошечка, дразняще соблазнительная, и молча положила беспомощные оголенные смуглые руки на плечи могучего красавца. Потом они оба вышли, не затворив за собой дверь, которая так и осталась раскрытой настежь. Слышно было, как пошли по коридору и остановились у лестницы.

Несколько минут я сидел один у стола. Бэлла не возвращалась. Подошел к двери, хотел уйти к себе, но невольно остановился на пороге.

— Завтра? — вполголоса спросила Бэлла. — Да? Казимир!

При этом имени я вздрогнул.

— Завтра! — ответил он уходя.

Бэлла подбежала ко мне, втолкнула обратно в комнату, захлопнула за собой дверь и упала в мягкое кресло, закрыв лицо руками.

Я подошел к ней.

Она открыла лицо, смоченное слезами, схватила меня за обе руки, привлекла к себе.

— Целуй меня ты сегодня, а завтра, может быть, я не захочу! Завтра, может быть, до тебя очередь не дойдет!..

Она обняла меня в неистовой жажде объятий. Лицо ее побледнело, изменилось, ноздри чувственно трепетали. В этот момент ее отдаленное сходство с Валентиной совершенно исчезло. Я почувствовал к ней злобу.

Она закрыла глаза, стараясь представить на моем месте Козьму: мне предлагали заменить его сегодня.

Я не мог поцеловать ее.

Молча ушел, оставив Бэллу в страстной жажде объятий того, кого она любила.

На другой день в нашем театре шла опера «Запорожец за Дунаем». Я выступал в роли султана и в заключение в сильно комическом русском водевиле, идущем всегда под хохот публики. Заметив в передних рядах партера видную фигуру Козьмы, я постарался захватить слушателей, биссировал арию. Роль «отца» в водевиле сделана у меня художественно.

В этой роли я видел когда-то знаменитых комиков, использовал их, внеся в нее кое-что и свое: жест, случайно найденный мной еще в Грае, в сцене с теткой Валентины, производит теперь фурор. Словом, выступал с привычным успехом.

По окончании спектакля, когда я переодевался, в мою уборную вошел Козьма.

— Можно?

— Ну, конечно!

Мы без слов обнялись.

— Ты что вчера притворялся, будто не узнал?

— Нельзя было при Бэлле, да и ты помалкивай; по нелегальному я — Казимир Носовский! — понизив голос, прошептал Козьма и продолжал вслух беспечным тоном: — Главное, никак не ожидал тебя встретить в качестве артиста, да еще такого! Исключительно красивый тембр голоса. Ты, брат, художником стал, наверное скоро на столичную сцену попадешь!

— Расскажи лучше о себе!

Козьма улыбнулся грустно.

— Что рассказывать? Удрал. За границей был. Женился. Теперь — здесь, временно... Кажется, перевожусь в Петербург!

— Вот это хорошо! На будущую зиму у нас там намечены гастроли!

— Значит, встретимся! А как ты насчет литературы? Оставил?

— Не совсем! Для себя пишу!..

Козьма вдруг оживился:

— Знаешь, что? Тебе, повидимому, в оперу дорога, но мне нравились и рассказы твои! Вообще Россия погибает от обилия талантов!

Мы оба засмеялись.

— В бродячей жизни как-то отстаешь от общественности... — заметил я. — Как ваши-то дела? Я говорю, конечно, о рабочих!

— Дела идут на повышение несомненно! Нарастает широкое движение... Знаешь, что? Хорошо бы нам увидеться в столице: все наши старые клочковцы там: «Старик», Ефрем, Данило, Францевич. Твои земцы — тоже! Всех встретишь! Ну, не буду тебя сейчас задерживать, как-нибудь зайду!

Козьма задушевно пожал мне руку и, выходя, пробормотал:

— А к Бэлле ты меня не ревнуй! У меня с ней прощальная встреча — и кончен бал!

Я пошел домой пешком, взволнованный мыслями о старых товарищах. Мои театральные успехи и игра в кошку и мышку с Бэллой показались теперь пустяками. Нисколько не удивился и не огорчился, когда меня обогнал шикарный извозчик: в пролетке сидел Козьма, обнимая за талию Бэллу.

«Завтра!» — вспомнился мне их вчерашний разговор. Я долго не мог заснуть в своем номере: все чудились шаги Бэллы. Но в ее комнате было темно и тихо.

V

Только на сцене можно чувствовать себя мальчиком до старости: в день двадцать пятого выступления артиста Пакли в роли «Вия» группой «независимых» было подготовлено шуточное чествование «юбиляра».

Утром, еще до начала репетиции, Паклю насильно, под руки вытащили из-за кулис на сцену, где собрался весь мужской хор.

В синей суконной поддевке, сивой шапке и шароварах, он скроил на своей бритой, морщинистой физиономии притворно-умильное выражение и встал на авансцене в позе чествуемого юбиляра, склонив голову и сложив замочком руки на животе, явно копируя былой юбилей антрепренера.

Хор пел торжественную кантату, заранее сочиненную и разученную:

Наши мысли
Нависли,
Будто капля!

Дружно и нежно с оттенком смиренного комизма затянули тенора. И вдруг громозвучно затянули басы:

Слава тебе, Пакля!

Пакля играл юбиляра, притворяясь плачущим. На самом деле насмешливое чествование ему не нравилось, но что поделаешь с «независимыми»! Он имел к ним пристрастие, участвовал в их разговорах и спорах о высоких материях: о философии, религии, литературе. Под их влиянием он уже два сезона запоем читал религиозно-философские сочинения Льва Толстого, книги Ренана, Ницше и многое другое. Хор теперь уже организованно собирался в своей артистической уборной на мои «лекции».

Собрания эти были очень серьезны, и Пакля не пропускал ни одного из них. Особенно занимал его вопрос о ликвидации бога. Ликвидировав его, он до этих пор считал дозволенным делать все, что вздумается, во вред ближнему, так как надеялся, что наказания за это ни от кого не будет.

«Независимые» тоже отрицали бога, но насчет того, что человеку «все можно и все дозволено», резко ему возражали: Пакле казалось, что вместо бога у них есть что-то другое.

При столкновении с городской жизнью он вместе с суевериями отбросил от себя веру во что бы то ни было доброе на свете. Оставшись без морали и без этой веры, он погасил в своей душе все светлое, весь естественный оптимизм, который дается каждому человеку от природы, и, сам того не сознавая, очутился в объятиях примитивного, низменного скептицизма. Людей он презирал или ненавидел и мстил им за свое разочарование в них разными каверзами, играя на недостатках людских, издеваясь почти с дьявольским сладострастием. Это была любовь к злу, зло для зла. Он чувствовал недоверие ко всему хорошему в людях,

чего иногда не мог не замечать и чего сам себя лишил по недоразумению. Свою «правоту» в отрицании добра и поклонении «злу» в спорах с «независимыми» он отстаивал горячо и яростно, но его отсылали к неизвестным ему книгам, и вот почему Пакля набросился на книги. Он читал день и ночь дома, в антрактах репетиции и спектакля, перестал ходить в кабаки, похудел, осунулся и, почти обезумев, ругался с «независимыми».

Наконец, прекратил споры, умолк, замкнулся в себе, но все еще таскал книги из библиотеки, а некоторые покупал и перечитывал несколько раз. Над ним смеялись, издевались, он огрызался, а теперь, слушая кантату, в которой высмеивался его «Вий»,—с притворным видом, а на самом деле искренно, плакал, сам не зная от какой обиды.

— Спасыби вам, хлопцы, — обливаясь слезами, отвечал он ехидным, ядовитым тоном, — разумную кантату спели! Ну, и музыка! Ай-ай! Ну, и уши же у вас! Ну и головы! Ай-ай!..

В этих двусмысленных словах звучала недвусмысленная насмешка, но играл он плачущего юбиляра отлично.

— Плачет-то как! — смеялись в хоре. — Добрый какой!

— Я такий! Такий! Ай-ай! Добрые тоже и вы!.. Вот и не знаю, як же отплатить вам за ваше добро!

— Не надо!

— А як же не надо? Ни, спасыби, велыке спасыби усей громади! По́ вик не забуду! Кланяюсь низко, шлю привет!

Пакля поклонился, касаясь рукою пола.

Из хора выступил Санкевич, в смокинге, в рубашке с крахмальной грудью, в белом галстуке, одетый, как на концерт. В руке у него был огромный свернутый в трубку свиток стихов, сочиненных мной — по просьбе «независимых».

Чтец развернул свиток, ударил по нему ладонью и загремел с необычайным пафосом:

Пакля! В память юбилея,
Подношу, благоговея,

Благодарный этот стих
От товарищей твоих!
С той поры, как в роли «Вия»
Чуть не умерли другие,
Ты один за два сезона
Без ругательств и без стона
Удивляешь в «Вие» нас
Вот уж двадцать пятый раз!

Юбиляр вытащил красный платок для новых театральных слез. Хор наслаждался игрой в юбилей. Санкевич выходил из себя от чрезмерного пафоса.

Длинное стихотворение читал он горячо и театрально, как на эстраде. Под конец, придя в окончательный раж, преувеличенно горячась, потрясая головой и свитком, закончил, искренно входя в роль юбилейного декламатора:

Вий! Красуйся на престоле.
Подвиг тяжкий продолжай
И своей прекрасной роли
Никому не уступай!

Это была, конечно, насмешка над исполнителем ненавистной всем роли Вия.

Грянули аплодисменты. Пакля кланялся во все стороны.

Вдруг он принял совершенно другой, значительный вид. Горбоносое лицо его, с покатым лбом, сверлящими глазами и выдающимся вперед подбородком приняло выражение окаменелой злости.

Хор умолк, ожидая нового шутовства и ехидства, но «юбиляр» заговорил уже без украинских оборотов и без актерской игры.

— Ну, хлопцы, довольно, гòди! Скажу вам сейчас серьезное слово насчет этой несчастной роли, которая всем принесла несчастье и от которой вы все отказывались! Двадцать четыре раза я сыграл эту роль удачно! С удовольствием играл! Вы знаете, что такое Вий? Я его понимаю так: это — темный, крестьянский, земляной дух! Взгляд у него тяжелый: сам не может открыть глаз, железные веки ему поднимают другие, но когда поднимут — он видит все, как никто! Страшный взгляд у него, и никакими молитвами не открестишься от этого взгляда! Таков Вий, крестьянский чорт, бес-

пощадный, свирепый, очень страшный! Это вам не оперный Мефистофель, в которого дамы влюбляются! Его лучше не трогать, не открывать ему глаз, не отрывать от земли! Вот и я, хлопцы, чувствовал себя эдаким Вием! От земли я! От крестьянской пашни! Ходил ли я по ней с закрытыми глазами или мне их вы только сейчас открыли — не знаю, но — нехорошо мне!

Он помолчал, сделал морщинистую гримасу. Молчал и хор.

— Вот три года колесим мы по нашей прекрасной стране: сколько городов проехано, сколько горилки выпито, да и пережито, передумано немало! «По летам и кудрям не старик еще я», но столько видел за мой недолгий век противных морд, вытерпел обид, що возненавидев земляных людей за их злобу к самим себе! Встретил вас, независимые, и тебя, профессор!.. Открыли вы мне вашими речами железные веки, землей засыпанные, как у Вия. Прозрел я и все насквозь увидел! Оторвался от земляных людей! Возненавидел темный дух, которым они дышат, бога же искал для того, чтобы спросить: отвечай из преисподней вылезшему, где твое добро, которое ты делал людям? Что же случилось? Мне доказали, что нет его, что отмщения за мои муки и награды за них не будет, что все существующее — разумно! А если я не согласен? Не желаю считать безобразие нашей жизни разумным! Глупо и смешно сделана она!.. Пинка желал бы я дать всей этой публике, для которой мы поем, пляшем и плачем на сцене!

Я проклинал людей и смеялся над ними: до чего же просто обманывать слепой народ, покуда ему глаза не открыли! Тогда обиделся я! Но постойте, независимые! В моей голове буря происходит! Отравили вы меня книжными мыслями! Великие мысли сыпались на мою голову, как искры, жалили, как пчелы, но одна мысль попала в мозг мой и застряла там: знаете ли, какая? Это мысль об уничтожении зла на земле — вечной кровавой драки, мысль о том, возможно ли в самом деле человеческое счастье? Эта мысль мучит меня и нет на нее ни от кого ответа! Прежде не делал я различия между людьми: помещик — негодяй, но и

мужик — хам! всех их я в одну кучу клал! Мужик, ежели он никого не боится, то обязательно разбойником или хулиганом делается!.. И я тоже: ежели бога нет — все горшки перебью и никто мне не указ! Все сделаю, что мне чорт нашептывает!.. А тут вы мне поперек: нельзя!.. С досадой скажу, действительно — нельзя! Книга не велит! Дочитался и додумался я до того, что ведь ненавидеть-то не всех людей надо, а только тех, кои паразитами называются, из-за которых вместо дружбы — злоба промежду людей повелась!.. Вот играем мы старую бывальщину, как гайдамаки на Украине с панами расправлялись!.. Отчего же не приходит опять такое время? Пошел бы и я гайдамачить!

А раз оно так, хлопцы, то уже противно мне стало играть на сцене Вия! Открылись мои глаза, а опять заплющить их не желаю! И назад, к земляным людям, в нижние пласты земли воротиться несогласен. Снимаю с себя виеву шкуру и предлагаю ее вам! Очень прошу вас, хлопцы, играйте сами Вия, а я бильше не хо̀чу!.. Сейчас пиду до конторы, откажуся!

Сказавши эту странную речь, юбиляр иронически поклонился и повернулся уходить.

— Вот тебе и раз! — недовольно загалдел хор. — Забастовка! Но этот номер не пройдет!.. Мы тоже не желаем! Гей, Пакля! Вий!.. юбиляр!..

Хор, смеясь, хватал его за руки, намереваясь вернуть на сцену, но Пакля выбежал за кулисы и, хлопнув дверью, зашагал в контору.

Контора не приняла во внимание тех путаных рассуждений, по которым Пакля хотел сложить с себя установившееся за ним амплуа. Вечером он должен был играть две роли: «мужика» и «Вия». Физиономия его окаменела, не предвещая ничего хорошего.

В третьем акте бурсаки, возвращающиеся по домам на каникулы, встречают мужика с возом всякой живности. Хоровым пением религиозных стихов они так разжалобили его, что он, плача от умиления, сам отдал им всю провизию. Пакля, изображая мужика, копировал богомольца в кафтане и лаптях, виденного нами у монастыря, и так долго, разнообразно и сложно плакал на сцене, что вызвал смех и аплодисменты

публики. Никогда еще так хорошо не плакал он в роли своего «мужика».

В антракте Пакля быстро снял грим, переоделся и, спустившись по лестнице на сцену, где друг его, декоратор, обставлял четвертый акт, сказал:

— Не могу я сегодня играть «Вия», а Бурлак не освободил, хоть сдохни!..

— Чего же не можешь? Болен, что ли?

— Болен, не болен, а тоска смертная!.. Когда любил чорта — играл его, а теперь возненавидел — не могу играть: словно беды жду!.. Оденься, пожалуйста, замисть мене, честью прошу! Вся и роль-то из двух слов!

— Не зазнавайся! — возразил декоратор, человек со щетинистыми усами, одетый в синюю блузу. — Видишь, у меня по горло дел, а Батько, когда подлецов играет, — всегда перед выходом ищет, к кому бы придраться, сам себя разозлить старается!.. В роль подлеца входит! Черти! — закричал декоратор на театральных рабочих, двигавших из-за кулис декорацию. — Не те окна тащите! Ведь мы же не хату ставим, а панские хоромы!

— Так не выйдешь?

— Нет! Не мешай! Что за капризы, играй сам! — декоратор повернулся и ушел.

— Ну, помни! — крикнул ему вслед Пакля, грозя кулаком.

В это время на сцену вышел Батько в гриме и костюме «пана» — отца умершей гоголевской «ведьмы». Он хмурился, смотря на установку декорации и реквизита.

Пакля вкрадчиво подошел к антрепренеру и начал ехидно:

— Хорошая постановка! Нечего сказать! Обратите внимание, разве это панские хоромы? Это — хата! Простая хата! Нравится вам?

— Какое, чорт, нравится? — вспылил Батько. — Безобразие!.. Эй, вы там! Позвать сюда декоратора!

Пакля отошел за кулисы и оттуда наблюдал разговор: слов не было слышно, видно было только, как Батько энергично тряс кулаком и головой прямо перед

носом покрасневшего декоратора: легко было догадаться, какие слова говорит разъяренный артист, настраиваясь на подлеца.

Властные люди незаметно для себя часто подчиняются своим лакеям и льстецам.

Хозяин труппы не подозревал, что на его слабостях играл ничтожный хорист, смеявшийся над ним.

Когда антрепренер большими шагами удалился со сцены, Пакля подошел к декоратору, красному, как вареный рак.

— Что? — ехидно спросил он друга.

— Это ты нашептал?

— Я. Захочу и не то еще сделаю!

— Ну, слушай, пощади ты меня, наконец!

— Я пошутил.

— Хорошие шутки! Ладно, согласен! Коли хочешь, выйду вместо тебя, сволочь ты!

— Я не сволочь, а психолог! А просить тебя я раздумал: сам выйду! Ведь и я настраивался на чорта, как Батько на подлеца. Когда брошу чертей играть, совсем переменю характер: хочу добрым сделаться!

— Толкуй, как же!.. Нет хуже, если чорт за добрые дела возьмется!

В начале пятого акта пьесы, в котором изображалась страшная ночь в церкви и когда хористы разгримировывались в общей уборной, в дверях ее появился совершенно пьяный Пакля со связкой книг подмышкой. Вид у него был взбудораженный.

— Возьмите! — закричал он, бросив книги на пол. — Разрешил все вопросы: я вам не Вий больше!

— Ну, ну! — возразил ему костюмер Яша, он же театральный портной — долговязый, худой человек с желтым, испитым, безбородым лицом, как раз в это время принесший в уборную шкуру Вия, сделанную из пакли, и страшную его голову с клыкастой пастью. — Чего шебаршишься? Надевай! Скоро твой выход!

Он бросил к ногам пьяного костюм и ушел из уборной.

Пакля, покачиваясь, стоял над Вием в своей суконной свитке и сивой шапке на затылке, подбоченившись и криво усмехаясь.

Хористы, вытирая полотенцем мокрые от вазелина лица и пудрясь, подшучивали над ним.

— Наюбилеился юбиляр!

— Целый день плакал для ради юбилея!

— Талантливо плачет!

— Слезный дар имеет!

— А теперь где-то один назюзился!

— И нас не пригласил!..

— Хлопцы, подберите книги!

Пакля, ничего не отвечая на реплики, высокомерно рассматривал костюм и голову Вия. Потом плюнул и сильно пнул ее сапогом. Голова чудовища перевернулась, загромыхала железными крышками глазных отверстий, в которые можно было просунуть кулак, как бы огрызнулась высунутыми из пасти клыками.

— Что, дурак, получил от меня пинок? — бормотал Пакля. — Какой ты чорт? Просто пустая голова! Вот тебе еще!

Он опять ударил ногой голову, на этот раз жалобно задребезжавшую:

— Що? Думаешь злякався я тебя? Ничогисеньки не злякався! Ты просто — дерево, картон, папье-маше, и делал тебя Яшка! Не верю я ни в бога, ни в тебя! Ты — человеческое скотство! Низость человеческая! Власть тьмы! В последний раз в тебя залезаю я, вроде как душа твоя! Без меня ты — просто пакля!

— Да ведь и ты — Пакля! — со смехом возразил ему Сашка-парикмахер.

Хор гулко рассмеялся.

— В самом деле, какое совпадение! — заметил Санкевич. — В этом есть нечто, над чем стоит подумать!

Пакля молча с внезапным ужасом уставился остановившимися глазами на костюм Вия. Случайная игра слов поразила продолжавший быть бессознательно-суеверным мозг его: он назвал чорта паклей, позабыв, что и его самого называют так же. Он тоже только вместилище невыносимых противоречий в темной, пьяной голове мужика Степана Пакли.

А на сцене, изображавшей внутренность ярко освещенной старой церкви, стоял философ Хома Брут, очертивший себя заколдованным кругом.

Красавица-«ведьма» зашевелилась в гробу и села. Гроб сам собой поднялся на воздух и стал носиться над сценой.

— «Чур» мене, «чур»! — кричал тенор Заглоба, игравший Хому.

Акт должен был оканчиваться появлением из-под земли Вия с его громовыми тремя словами: «Поднимить мени веки!»

Когда, наконец, этот момент наступил и на сцену вылезла страшная фигура чудовища с горящими ярким светом глазами, из-за кулис, как полагалось по пьесе, выскочили ребятишки, одетые чертями, и стали высовываться огнедышащие реквизитные драконы, изрыгавшие искры и серное пламя под искусным руководством декоратора и его помощника — костюмера Яшки.

Одна из этих искр случайно упала на «Вия» и застряла в пакле его костюма.

Пакля на Пакле тотчас же загорелась. Ничего не видя в надвинутой на плечи картонной голове с закрытыми железными глазами, несчастный начал бегать по сцене, натыкаясь на декорации и невольно поджигая их.

Огонь побежал по декорациям кверху, повалил дым.

На сцене, за кулисами и в публике началась паника. Занавес опустили. Публика с гулом ринулась к выходным дверям. В зрительном зале слышался рев дерущихся, визг, плач. Толпа обезумела.

Начался тот знаменитый «пожар в театре», о котором тогда много писали в газетах. Били и топтали женщин, дрались ножами, стреляли из револьверов. Толпа завалила собою двери изнутри здания и не могла уже отворить их. Люди гибли в дыму и пламени.

Труппа успела выскочить в боковые двери из-за кулис. Успели спасти театральный гардероб. Погибли только декорации.

Пакля, представляя собою живой горящий и бегающий факел, наступил на плохо задвинутый люк и, пылая, совершенно театрально провалился под сцену, откуда сразу вырвался столб дыма и пламени.

Суеверные хористы долго потом вспоминали страшную гибель изобразителя Вия, уверенные, что сердитый, обидчивый и злопамятный чорт отомстил за отступничество от земляного духа, олицетворяющего собою «власть тьмы».

VI

Труппа высадилась на станции «Бердичев», чтобы оттуда на лошадях ехать пятьдесят верст в Житомир, где начинался театральный летний сезон.

Была ранняя весна. Южное апрельское солнце яркими ликующими лучами заливало этот маленький, приземистый городок, утопавший в невылазной весенней грязи. Грязные улицы имели оживленный, праздничный вид: через грязь, высоко поднимая цветные шелковые юбки, группами шли еврейские женщины, разряженные в праздничные платья: была еврейская пасха.

Около внутренней стороны вокзала оказалось несколько экипажей, запряженных тройками жалких одров с извозчиком-евреем на козлах. Вокруг приезжих поднялся шум: извозчики отбивали седоков друг у друга. Я и Санкевич беззаботно стояли на ступеньках вокзального подъезда, рассматривая дряхлые экипажи один хуже другого, запряженные тройками фантастических животных с вытертой шерстью и разбитыми ногами.

Багажа у нас не было: его увезли раньше вместе с багажом театра, а мы, запустивши руки в карманы, критиковали бердичевские тройки.

— Лошади тоже! — презрительно ворчал Санкевич. — Живодерня! Эх! У нас в Орле-то! Орловские!

Глазунов сел с женой в лучшую коляску с поднятым верхом и махал нам рукой.

— Независимые, садитесь с нами, здесь четыре места! Чего вы, как Счастливцев с Несчастливцевым, философствуете? Давайте ваш багаж!

— Нет у нас багажа! — гордо ответил Санкевич. — Все мое ношу с собою!

Глазунов покатился со смеху. Его жена, водевильная артистка, приветливо кивала нам из коляски.

— Скорее! Видите, самая лучшая тройка!

Мы сели на передней скамейке, поеживаясь в наших подбитых ветром костюмах и грея руки в карманах. Апрельское солнце хоть и ярко светило, но было еще холодновато.

При выезде из города Глазунов остановил ямщика около винного магазина.

— Стой! Водки захватить надо, ночью холодно будет!

И пошел по грязи на крыльцо магазина. Вернулся с бутылкой в руке.

— Где у нас колбаса-то? — спросил он жену. — Заправимся перед выездом!

Выпили по глотку вонючей сивухи.

— Ну, и город! Даже водки порядочной нет, как репей проглотил! — возмущался Санкевич.

За городом выехали на шоссейную дорогу. Одры, против ожидания, побежали довольно быстрой рысью, полгоняемые длинным бичом извозчика.

Кругом были ровные поля с небольшими холмами на горизонте.

Ехали весь остаток дня и захватили часть ночи. Ночью в поле совсем стало холодно. Изредка согревались глотком водки, но она была такая противная, что так и не допили бутылку. Санкевич жаловался, что от бердичевской водки у него начинает болеть голова.

Наступила темная, беззвездная ночь с влажным весенним ветром.

Глазунов сначала рассказывал комические приключения из актерских путешествий, но потом умолк и задремал. Санкевич уткнулся носом в поднятый воротник пальто. Слышалось только цоканье копыт, дребезжанье коляски и причмокивание нашего возницы, добросовестно подгонявшего лошадей.

За годы путешествия по городам Украины, Бессарабии и Западного края я уже привык к вечной перемене мест, и все дорожные впечатления сливались в памяти в один сплошной калейдоскоп. Везде мы жили по гостиницам, играли в театре перед одинаково чуж-

дой нам публикой, а вся наша жизнь проходила на сцене. Все сжились друг с другом. Некоторые, как я и Санкевич, выдвинулись на вторые роли: мой друг играл теперь в водевилях и мечтал перейти в драму или оперетку. Я подумывал о столичной сцене, но бродячая жизнь не давала ни на чем сосредоточиться. Настоящее не удовлетворяло, но и будущее казалось неопределенным, туманным. Единственное, что отчасти нравилось, это нескончаемые путешествия, постоянная смена впечатлений. Иногда мы ехали пароходом по Днепру или Бугу, пересекали Черное море от Одессы до Крыма, в некоторых больших городах побывали по нескольку раз. Но города стали казаться похожими один на другой, театры везде одинаковые, жизнь по гостиницам тоже. Вот промелькнул сегодня перед глазами жалкий Бердичев и словно потонул в ночной мгле навсегда.

Наконец, засветились впереди тусклые огни, и мы въехали в Житомир. Колеса застучали по мостовой тихого, провинциального города. Город уже спал, хотя было не больше десяти часов вечера. Коляска остановилась у подъезда небольшой двухэтажной гостиницы, имевшей мрачный, трущобный вид.

Нам с Санкевичем отвели комнату с двумя кроватями, принесли зажженную свечу. Номер был холодный, нетопленный. Мы попросили сейчас же затопить печку. Истопник молча принес охапку дров, положил в печку, зажег. Немножко погревшись у огня, легли спать, сказав истопнику, что дверь не будем запирать и чтобы он закрыл трубу, как только истопится печка. Он что-то проворчал в ответ и ушел. Едва мы легли и погасили свечку, как тотчас же заснули глубоким сном усталых людей, проехавших пятьдесят верст в холодную ночь. Спали, наверное, несколько часов, когда, среди глубокой ночи, тишины и тьмы, я проснулся от жестокой головной боли. Голова болела невыносимо, я лежал на спине с закрытыми глазами и невольно задавался вопросом о причине боли. Голову ломило, как я думал, от ужасной бердичевской водки, которою мы согревались в экипаже. Решив так, закрылся с головой, чтобы заснуть опять. Это удалось

бы мне, несмотря на боль, но вдруг Санкевич тоже проснулся, встал с постели и с тяжелым стоном грохнулся на пол. Я привскочил, сел в кровати, и едва только сел, как ощутил тошноту, тяжелое сердцебиение, шум и звон в ушах — все характерные признаки угара. Так вот причина ужасной головной боли!

Бросился к другу, неподвижно лежавшему на полу в одном белье: он был без чувств. Я схватил его в охапку, волоком потащил к двери. Ноги и руки мои дрожали от слабости, голова кружилась, перед глазами шли зеленые круги, сердце бешено колотилось, в ушах стоял трезвон.

Успел дотащить тело товарища до двери, открыл одну ее половину, вытащил его по пояс через порог. Но тут последние силы оставили меня. Перешагнув через бесчувственное тело в коридор и громко крикнув, я сам повалился на пол. Никто не услышал моего крика. Повторить его я уже не был в силах. Зеленая тьма струилась перед глазами, сердце билось шумно, как молот, в ушах мерно и гулко ударялись волны густого, медного звона. Мне казалось, что я утопаю, проваливаюсь в бездну, и мое тело какой-то поток уносит, качая на зыбучих, больших и звенящих волнах. Звон раздавался все глуше и медленнее, волны несли и качали все тише и поплыли ровной, беззвучной гладью. Туманные, невыразимые мысли сплетались в фантастическую бессмыслицу, путались и замирали, как угасавшие огоньки. Мое маленькое «я» поднялось над моим телом, улетая все выше и выше и, наконец, исчезло из окружающего мира; ни меня, ни моей жизни не стало, все поглотило темное, бездонное, бессмысленное ничто.

Но в безграничной, бесформенной тьме чуть слышно билась какая-то живая точка: это было бедное замирающее сердце. Кто-то сжимал его большою мягкою лапою, но оно ускользало и слабо вздрагивало. Долго происходила эта мучительная борьба и, наконец, появилось смутное ощущение моего бытия. Кто-то душил меня, и я, всхлипывая, задыхался. Грудь давила противная тяжесть, я изо всех сил напрягался, чтобы освободиться от нее. Кто-то тяжело дышал мне в лицо:

на мне лежало огромное зеленое чудовище, величиною в рост человека, покрывавшее всего меня своим омерзительным, мягким и скользким телом. Два горящих зеленых глаза смотрели мне прямо в лицо. Чудовище походило на черепаху или жабу гигантских размеров. Оно слегка шевелилось и наползало на меня, не позволяя освободиться. Это продолжалось бесконечно долго. Я не сознавал, где и что со мною происходит, ни о чем не думал и не понимал происходящего.

— Готов! — раздался громкий голос. Я очнулся и открыл глаза.

Раннее утро. Я лежу навзничь на холодном полу коридора. В окно розовыми лучами светит восходящее солнце. Дверь в нашу комнату открыта, на пороге уже нет Санкевича. С усилием хочу поднять голову, но страшная боль в висках и необычайная слабость во всем теле заставляют меня принять прежнее положение. Хочу крикнуть, вместо крика получается слабый жалобный стон.

Слышу голос Санкевича: — Очнулся!..

Он лежит в нескольких шагах от меня, пытается встать — и не может.

— Это ты сказал «готов»?

— Да, это я про тебя сказал! Думал, что ты уже умер!.. Но, должно быть, все умерли, кроме нас!

Санкевич говорит чуть слышным, прерывающимся голосом.

— Надо закричать!

Я собираю все мои силы, приподнимаюсь на локоть, и прежний жалкий стон вырывается из моей груди. Обессилев, падаю на пол. Все поплыло кругом. В глазах темнеет, в ушах звенит, и я снова погружаюсь в небытие.

— Полетим! — говорит знакомый ласковый шопот.— Хорошо летать! Это очень просто, нужно только усилие воли. Мы отталкиваемся от земли! Вот так! Ну!.. Вместе!..

Кто-то невидимый обнимает меня, и я чувствую, что можно летать, если сделать внутреннее усилие воли. Мы отталкиваемся от земли и, обнимая друг друга,

легко поднимаемся ввысь, испытывая от этого необычайное счастье.

Как птицы, реем в воздухе, то снижаясь, то поднимаясь вверх. Иногда касаемся ногами земли, но отталкиваемся от нее и радостно, счастливо взмываем вверх над землей. Счастье от летания невыразимо. У нас нет крыльев, есть только воля, и это она поднимает, возносит нас к облакам. Мы любуемся сверху на необычайно зеленые рощи, сады и синие реки, залитые зеленоватым светом луны.

— Я все еще люблю тебя! — шепчет мне летунья, обнимая меня в нескончаемом воздушном полете. — На все пошла бы с тобой, на всю печаль твоих скитаний, все невзгоды разделила бы, все твои неудачи! И ты меня любил! Но как больно вспомнить, что хотел ты вырвать из сердца эту любовь! Навеки, добровольно лишился меня, но позабыть не мог! Вот я опять с тобой, милый! Зачем ты отрекся от счастья? Гонишься за несбыточной мечтой, и твои дни текут так уныло, так одиноко! Ведь я неотделима от тебя! Живу в твоем сердце! Везде, всюду и всегда с тобой! Я в нем еще жива! Ты гонишься за призраками, но никогда не забудешь меня! До старости, до седых волос, до могилы, до самой смерти будешь любить меня. Но теперь я оставлю тебя! Довольно летать.

Тут воля моя ослабла, и я чувствую, как быстро летим мы оба вниз.

— Кто ты? — спросил я в испуге и отчаяньи. — Я не вижу тебя!

— Посмотри!

Она наклонила ко мне прекрасное бледное, золотистое лицо свое с черными печальными глазами из-под длинных, как стрелы, ресниц. Давно знакомые волосы цвета воронова крыла упали мне на лицо.

— Валентина! — вскричал я и с этим криком проснулся.

Я лежу на кровати в большой незнакомой комнате. Солнце яркими лучами пробивается сквозь бахрому приспущенных гардин высокого большого окна. Золотой поток солнечного света перекинулся, как мост, от окна через всю комнату, и мне кажется, что светлое,

живое пятно, похожее на женский призрак, уплывает по золотым струнам дрожащих солнечных лучей. В ушах моих слышится утихающий мелодичный звон, в висках все еще стоит тупая, туманная боль, голова обмотана мокрой белой чалмой, в такой же чалме лежит кто-то на соседней кровати, и я простираю руки вслед улетающей сонной грезе моей. Мне еще чудится ее печальный голос, упреки и слова любви. Кажется, что все это не только бред: я действительно боролся с чудовищем, был спасен жаждой жизни и силой любви, заключенными в моем сердце, мое «я» поднималось и летало над землей, в то время когда бесчувственное тело лежало поверженным, отравленное ядом угара.

Житомир — маленький, тихий, захолустный городок на берегу реки Тетерева. Весной он чрезвычайно живописен и уютен со своими одноэтажными домиками, с тополями и акациями, с тишиной от почти полного отсутствия езды на улицах. Самое большое здание в городе — это театр красивой архитектуры, стоящий на возвышенном месте с маленьким садиком, откуда виден не очень широкий, но полноводный Тетерев, заключенный между гористыми, зелеными, почти отвесными берегами.

Что-то романтическое есть в здешней природе, в этой уходящей куда-то извилистой, глубокой реке, в которую смотрятся с обеих сторон высокие, скалистые горы, а на другом берегу вечно шумит водяная мельница, и ее водопад издали белеет и машет клубящейся пеной, напоминая что-то живое и сказочное, как баллада.

С верхушки остроконечной горы свешивается высоко над водой причудливой формы утес. Кажется, что скала валится в реку, но уже столетия висит она так. Туда часто ездят компаниями любоваться красивым видом. О скале сохранилась поэтическая, грустная легенда.

Сотни лет назад жил здесь польский граф, пан Чапский, безумно любивший свою красавицу жену. Но она изменяла ему, и в припадке тоски рыцарь покончил с собой оригинальным и страшным способом: он разо-

гнал своего бешеного коня на вершину горы и вместе с конем бросился в реку. Часть скалы свалилась вместе с ним и с тех пор верхушка ее стала походить на человеческую голову. Это было в рыцарские времена, а может быть, ничего подобного и не было, но скала удивительно напоминает голову рыцаря в шлеме с опущенным забралом, которая словно наклонилась с вершины горы и смотрит на голубые волны реки, шумящие глубоко внизу, словно ждет, не появится ли из пучины погибший века тому назад рыцарь.

Легенда не умирает. Ее рассказывают каждому приезжему, приглашая посмотреть «Голову Чапского», единственную достопримечательность города. Легендарный рыцарь увековечил свое имя страшною гибелью, как бы в поучение грядущим поколениям, что любовь, запечатленная смертью, не умирает, оставляя о себе вечную память.

Я любил в свободные часы переходить по узеньким мосткам, устроенным специально для пешеходов, за реку, на другой ее берег, где издалека белел пенистый водопад водяной мельницы и подолгу сидел там на большом камне рядом с водопадом.

Хорошо думалось под гармонический шум водопада, созерцая романтический уголок природы и за рекой тихий городок, окутанный весеннею зеленью.

Я часто думал о гонимых правительством украинских труппах, в одной из которых работал сам, обязательно называемых «русско-малорусскими», потому что рядом с пьесой ставился в принудительном порядке какой-нибудь русский водевиль. Думал о вынужденном цыганском образе жизни актеров такого табора, не во всякий город и не во всякий театр допускаемого.

Наша труппа, как, вероятно, и все остальные бродячие украинские товарищества артистов, составлялась большею частью из людей, гонимых жизнью или полицией. Совершенно естественно, в число этих людей попал и я; в бродячем хоре была все такая же незадачливая молодежь, как и клочковцы, которой нужно было прежде всего учиться, но закончить образование никому не удавалось. Женщины, служившие в труппе в качестве артисток и хористок, тоже представляли

из себя сплошной человеческий лом: это были неудачницы, потерпевшие крушение в личной и семейной жизни, прежде чем поступить на сцену; девушки и разводки, вроде Бэллы, порвавшие с семьей в поисках «светлой жизни», но уже с обожженными крыльями, попавшие в омут бродячей труппы. В женской части хора участвовали также второстепенные артистки — жены такого же сорта артистов. Вообще же выдвижение из хора в артисты было редким исключением. Тем не менее все «независимые», оставаясь в хоре, числились артистами — выступали во второстепенных ролях.

Хор играл значительную роль в украинских пьесах: он, представляя на сцене народ, пел не с безучастным видом, с каким обыкновенно поет оперный хор. Украинский хор живет на сцене.

Репертуар украинских пьес, кроме классической «Наталки-Полтавки», «Запорожца», «Назара Стодоли» Шевченко и пьес самого Батьки, был невелик: пьесы сколько-нибудь идейного содержания много лет уже были под запретом. Правительство едва терпело украинский театр. Народ разрешалось изображать преимущественно веселящимся, поющим и танцующим, а не страдающим. Все это было довольно далеко от действительности.

Но так как во главе образцовой труппы стоял известный общественный деятель, украинофил, писатель и знаменитый артист, то самое имя его, внушавшее известное опасение правительству, привлекало политические симпатии публики, стягивало лучшие артистические силы и даже учащуюся молодежь обоего пола, составляющую большую часть хора.

Как все большие артисты, Батько на сцене сурово-требователен к своим партнерам, вспыльчив и раздражителен, но в частной жизни остроумен, добродушен и даже бесхарактерен, насколько вообще бывают бесхарактерны люди, избалованные всеобщим поклонением. Несмотря на солидный возраст, все еще любит женщин и, конечно, не без успеха у них. Когда на репетиции ему приходится разговаривать с молодыми артистками, они волнуются, краснеют и смотрят на могучего старика подобострастно.

Бэлла всего только раз была у него на квартире, получила ноты для какого-то выступления, но не стала их разучивать: выступление не состоялось вследствие мизерности ее голоса и во избежание провала: настолько-то она умна, чтобы сознавать у себя отсутствие артистических данных. Тем не менее старик иногда при встречах на репетиции благосклонно отвечает на игру ее искрометных глаз. Со мной она продолжает прежнюю тактику: то приближает к себе, то отталкивает, втайне увлеченная нашей скрытой борьбой: каждый из нас желает сломить характер другого; мы оттого и не можем окончательно расстаться. Я не думаю ревновать ее к престарелому артисту, тем более, что старик заметно благоволит ко мне, по-своему оценивая мои успехи на сцене.

«Батько любит тебя! — говорят мне актеры, передавая его отзывы о моих выступлениях. — Талантливым тебя считает, а ведь он редко кого так называет!»

Предстоящей зимой будем играть в Питере. Хорошо бы там осесть, перейти в оперу. Тогда я превращусь из рыжего горбуна в красавца, поеду искать Валентину: ей всего-то теперь двадцать два года, может быть, и не вышла еще замуж. Валентина стала моей навязчивой мыслью, всюду сопровождающей меня. Мое сердце занято любовью, оборвавшейся в самом начале. Среди женщин, встречающихся мне на пути моем, я ищу все еще Валентину, ее черты, ее образ... Только по этой причине чем-то связан с Бэллой, которая влечет меня внешним сходством с той, кого я люблю, и отталкивает внутренней антипатичностью. Мне кажется иногда, что я одновременно люблю и ненавижу ее.

Так думал я, полулежа на белом камне у водяной мельницы, где свергающийся водопад плотины вертел большое мельничное колесо, осыпая меня мелкой водяной пылью.

Обдумываю мое давнишнее литературное произведение, пьесу, над которой работаю по ночам, без конца переделывая и бескорыстно наслаждаясь этой работой, уверенный в том, что никогда никому не покажу ее.

В сущности — что я такое? Молодой человек, прохо-

дящий вместо университета какие-то тяжелые жизненные этапы в огромной, отсталой и дикой стране? Да и все мы, «независимые», таковы.

Вот, например, Сашка—парикмахер. Считаю не лишним занести в этот дневник моих путешествий недавнюю историю, приключившуюся с Сашкой.

Это — красавец юноша, всего двадцати двух лет. В своем суконном казакине табачно-коричневого цвета, в маленькой шапочке на густых темнорусых волосах, ладно сложенный крепыш, он напоминает мне сказочный образ Мизгиря из «Снегурочки».

Сашка — прекрасный театральный парикмахер, умеет делать всевозможные парики и обладает искусством художественного гримирования.

Давно зная наизусть весь хоровой репертуар, парикмахер однажды вышел петь в хоре. У него оказался выдающийся тенор, от природы поставленный. Бурлак — любитель хороших голосов — предложил ему разучить с хормейстером партию Петра в «Полтавке». В результате Сашка с успехом дебютировал и неожиданно сделался артистом: перешел на амплуа «любовника», затмевая успех Заглобы. Он нравился публике не только пением, но и наружностью. На парикмахерскую должность вместо себя выписал брата, тоже парикмахера, некрасивого, угрюмого парня, нисколько не похожего на Сашу. Сашка взял из хора восемнадцатилетнюю жену, хорошенькую и скромную девушку. Новоиспеченный артист с чрезвычайной легкостью усвоил первые роли, по-старому оставаясь членом группы независимых. Образования у него не было почти никакого, но подобно Пакле он пытался чтением пополнить свои знания. Всем казалось, что при случайно обнаруженных незаурядных способностях и если принять во внимание его крайнюю молодость, из Сашки мог выйти настоящий артист.

Но случилось совсем неожиданное и непонятное: некрасивый брат-парикмахер отбил жену у Сашки. Причиной могли быть почти детский ее возраст, беспечность Сашки и настойчивость парикмахера.

Сашка жестоко запил, и карьера его пошатнулась: выступал то заметно пьяным, то без голоса. Краткая

его карьера могла кончиться возвращением в парикмахеры, если не полным увольнением из труппы.

Наблюдая жизнь и судьбу моих товарищей и сослуживцев, тяжелые переживания и гибель Пакли, душевный надрыв Санкевича, изломанную жизнь Бэллы, неустойчивость Сашки и всеобщую безалаберность остальных, я в конце концов был недоволен и самим собой: мне казалось, что три года — это слишком много для путешествия по родной стране с бродячей труппой. Пора выбираться куда-то, избрать, наконец, определенную дорогу в жизни, а не брести по ней подобно каторжнику от одного этапа к другому.

Оглядываясь на пройденный путь, тяжело было сознавать свою оторванность от культурной среды и невольный отход от борьбы за лучшее будущее страны. Она, эта борьба, одна давала удовлетворение, оправдание и определенную цель существования в удушливой атмосфере эпохи безвременья.

— Про-фес-сор! — донесся с реки протяжный возглас знакомого металлического баритона.

Я поднял голову: с реки приближалась лодка, в которой виднелись фигуры Санкевича, Бугая, Гинского, Матвеева и Сашки-парикмахера: слово «парикмахер» попрежнему служило дополнением к его имени.

Лодка быстро причалила к моему камню.

— Ты сегодня выступаешь, а сидишь полдня под водопадом, ведь простудишься! Вылезай! — тотчас же начал ругать меня Санкевич. — Не иначе, как стихи сочиняешь!..

— Едем смотреть «Голову Чапского»! — подхватили остальные. — Видишь, какая погода! Наши все туда едут, все лодки разобрали! Ну!

Я вскочил в лодку. Бугай взмахнул веслами, и мы выехали на середину голубой реки, гладкой, как зеркало. Впереди, по направлению к утесу, плыло несколько лодок. Вдали, в голубой дымке легкого речного тумана, яснее вырезалась гигантская голова рыцаря в шлеме с опущенным забралом, склоненная над рекой с верхушки скалистой горы.

— Здесь когда-то дрались запорожцы в червонных жупанах с поляками! — смеясь, сказал Санкевич.

Кто-то тихо запел знаменитую украинскую хоровую песню, остальные голоса примкнули и слились в тихий, словно издали быстрым темпом приближающийся, все яснее доносящийся хор:

Закувала та сыва зозуля
Раным рано на зорú:
Ой, заплакалы хлопцы-молóдци,
Тай на чужинú, в неволи... в тюрмú!.

Хорошие, отборные голоса собрались в нашей лодке. Дружно выступили прекрасные, сильные тенора:

Воны плакалы, гирько рыдалы,
Свою долю проклиналы,
Ой, повий, повий, та буйнесенький витре!..
Тай по над морем...
Тай — вынеси нас...

С мрачной мольбой нарастали басы:

Из неволи... в чистое поле...

В этих звуках ясно чувствовалась тюремная тоска.

А на Вкраини — там соничко сяе,
Козацтво гуляе
И нас выглядае!..

Охнул и оборвался хор, но из него вылетел заливистый Сашкин тенор, словно крик сторожевого:

По сúнему морю...
Байдакы пид витром гуляють...

Эту героическую песню мы всегда с увлечением пели в столь же героической пьесе «Невольник», написанной по поэме Шевченко. Здесь в образах исторической борьбы чувствовалась трагическая судьба великого поэта и его народа, погибавших в многолетней рабской неволе.

Содержание песни было близко и нам.

Ой, як зачулы прокляти султаны —
Тай извелилы ще гирше куваты
кайданы!

Это была песня скованных людей, все та же вековечная песня о неволе, тюрьмах, о жажде освобождения, какие пела всюду вся страна.

Бугай, здоровенный бурсак, так разогнал лодку, что она оставила за собою другую, плывшую впереди нас.

В лодке сидела большая компания актеров и актрис, аплодировавших нашему пению с криками: «браво, независимые!» В центре всей группы выделялась монументальная фигура Батьки, рядом с которым сидела Бэлла. Рулевым веслом правил суфлер Павлов — молодой, еще безусый, глуповатый юноша, смешивший всех разговорами о своем дворянском происхождении и носивший по этому случаю картуз с красным околышем. Поступил он в труппу недавно, но уже успел стать мишенью для острот. Известен как сплетник, состоящий при Батьке в должности «наушника» и шептуна, весьма подходящей для дворянина и суфлера.

И чего туда затесалась Бэлла?

Наша компания раньше всех взобралась на вершину горы и расположилась на каменной площадке перед входом на «Голову Чапского». Оказались некоторые запасы для пикника. Все сидели на камне вкруговую. Единственная чарка ходила по рукам. Я отказался от своей очереди: сегодня выступать.

— Так и я же занят сегодня в том же спектакле! — возразил Сашка. — Эка важность! — он налил полную чарку и, подняв ее ко рту, воскликнул ухарски: — Берегись душа, потоп будет!

— Не напивайся сегодня, Сашка, опять петуха пустишь!..

Сашка махнул рукой:

— Наплевать! В жизни моей я однажды навсегда ошибся дверью — вместо университета в кабак попал...

Сашка встал и, распахнув казакин, подошел к обрыву.

— Посмотрите лучше, какой вид, какая картина! Сидим на «Голове Чапского»! Вот отсюда он вместе с камнем прянул... Через измену жены!.. Хорошо! — вздохнул он, заглянув вниз и с наслаждением вдыхая степной, ароматный ветер. — Разогнал коня — и со всего маху!

Он шагнул на самый край утеса и почти столкнулся с длинноносым человеком в картузе с красным околышем, поднявшимся по тропинке снизу.

— Ба! Павлов! Дворянская голова! Что тебе нужно?

— Вот кому бы к лицу была фамилия Носовский!— сказал я.

— Прошу без намеков! — обидчиво сказал суфлер.— Нет ли у кого штопора? У нас там внизу пикник собрался!..

— У кого это — у вас?

— У нас, дворян! Батька, Загорский, Левковская! Целый цветник дам! Все больше около Батьки увиваются, а он пошел с Бэллой прогуляться Конечно, распутные у нас актерки, но хуже всех Бэлла: строит из себя неприступную добродетель, а сама потихоньку с Батькой живет!

В это время из-за утеса показалась фигура Батьки, быстро свернувшая с тропинки на дорогу, круто уходившую за выступ скалы.

Я молча подошел к суфлеру и ласково, но крепко взял дворянина за шиворот.

— А вы не отопретесь от ваших слов, если передать их Батьке?

Суфлер побледнел.

— Я ничего вам не говорил! — залепетал он, стараясь освободиться.

— Это хорошо! — спокойно сказал я, не выпуская воротника. — Мне показалось, что вы порочите не только честь всех наших артисток, большею частью замужних, но и честь замужней женщины, имеющей детей... Вы этого не делали?

— Пустите! — пищал Павлов, тщетно вырываясь. — Ничего я вам не говорил и говорить с вами не желаю!

Я потрепал суфлера по плечу.

— Ну, если не говорили, то, вероятно, мне это послышалось! Саша, дай ему штопор!

Сашка понял мою последнюю фразу по-своему: скинул рукав казакина с правой руки и, сжав увесистый кулак, решительно шагнул к суфлеру. Павлов моментально исчез за скалой, словно сквозь землю провалился.

Часов в шесть вечера, готовясь итти на спектакль, мы с Санкевичем пили чай в нашем номере.

В дверь постучали. Вошли танцоры Голубенко и Даниленко в красочном украинском наряде — в расшитых сорочках, в широких шароварах, подпоясанных красным кушаком, похожие друг на друга, как две собаки одной породы.

Остановясь у порога, Голубенко, добродушно и глупо улыбаясь, таинственно поманил меня пальцем.

— На минуточку зайди в наш номер — дело есть!..

— Какое дело? Говори!..

— Пойдем, там узнаешь! — танцоры переглянулись.

Санкевич подозрительно воззрился в лица парней.

— Секретов нет! Пожалуй, пойдемте оба!

Мы все четверо перешли по коридору в их номер около лестницы.

Я вошел первым и не без неприятного удивления встретил там Павлова. Он был в парадном костюме, застегнутом на все пуговицы, в коричневых лайковых перчатках, одну из которых заранее снял, держа в правой руке. Левой он опирался на солидную камышевую трость с набалдашником, с которой до этого никогда не ходил. Вид у него был картинно-официальный.

Танцоры встали у дверей. Мы с Санкевичем опустились на стулья.

Павлов стоял.

В ответ на мой вопросительный взгляд он сказал, подходя ко мне с холодным поклоном:

— Господин профессор, честь имею! Как дворянин!.. Сегодня в семь часов!

Он протянул мне перчатку.

Ничего не понимая, я взял ее, с недоумением рассматривая: перчатка была обыкновенная, не первой свежести. Я положил ее на стол.

— Что это значит?

— Дуэль. В семь часов. Как дворянин, я не мог иначе. На площадке «Головы Чапского».

Лица танцоров у порога осветились любопытно-радостными улыбками.

Санкевич курил папироску, откинувшись к спинке стула в своем смокинге и крахмальной сорочке, закинув ногу на ногу, с тем видом, какой он принимал в водевилях, когда играл «джентльменов».

— По какому случаю?

— А по такому, что сегодня после прогулки Батько прислал за мной и... одним словом... вы уже успели сообщить ему клевету на меня относительно госпожи Бэллы...

Павлов страшно волновался. Руки его дрожали.

Я улыбнулся.

— Представьте, Павлов, что я ничего подобного ему не сообщал.

— Вы лжете... вы — трус!..

— Вряд ли, но дело не в этом, а в том, что ровно в семь часов мы оба обязаны быть в театре и участвовать в спектакле! Я пою, а вы мне суфлируете, не говоря уже о том, что у нас обоих нет никакого оружия, кроме реквизитного, в выдаче которого, пожалуй, Яшка может отказать?

Я понял его умысел поставить меня в необходимость отказаться от вызова, а затем выставить меня трусом.

— Послушайте, Павлов, — галантно вмешался Санкевич, внезапно начавший сюсюкать по-дворянски, — извините меня, но мне кажется, что вы — дурак!

Павлов поднял плечи, как будто на них были эполеты.

— Господин Санкевич?..

Мой друг сделал театрально-успокаивающий жест обеими руками:

— О, поверьте, Павлов, я нисколько не навязываю вам эту мысль: это мое совершенно частное, объективное мнение, но — мне так кажется!

Он вздохнул и развел руками.

Вся сцена начинала приобретать водевильный оттенок. Но Павлов искренне злился, не желая быть смешным.

— В таком случае, господин Санкевич... я буду стреляться и с вами! — выпалил он, сам путаясь в своих словах.

— О, пожалуйста! — еще галантнее сказал мой друг. — Я служил в армии и стрелял когда-то недурно! В туза без промаху попадал!

Павлов побледнел, не найдясь, что сказать. Мы вста-

ли и вышли из номера, сопровождаемые танцорами. У лестницы Павлов внезапно обратился ко мне:

— Так вы отказываетесь от дуэли?

— Сегодня — да!

Тогда он неожиданно поднял палку, очевидно захваченную им с собой с заранее обдуманной целью, но я бросился на него, предупредив занесенный удар. Я схватил его за обе руки выше локтя и, крепко сжав их, сбросил противника вниз по лестнице, где танцоры, как два дрессированных пса, на лету подхватили его.

— Ну, и личико у тебя было! — задумчиво говорил мне Санкевич, шагая со мной по коридору. — Мне даже стало жаль несчастного идиота! Повидимому, и силешка есть-таки у тебя!

— Есть немножко! Но в какую пошлую историю влопались мы!..

— История кончена: дуэль, можно сказать, внезапно состоялась. Не пойму только, как это Батько узнал, потому что ты действительно не мог ему ничего говорить, так как все время был со мной?

— Да ведь во время разговора на пикнике он проходил мимо! Неужели не видал?

— Значит, это было за нашими спинами? Ба!.. Случись суд — никак не докажешь! Только ты один и видел! Ну, бросим! Скверно, что на сцене так мало настоящих артистов, как мы с тобой, и так много пошлых дураков!.. Эге, семь часов, пора на работу!

Перед началом первого акта оперы, после второго звонка, я пришел за кулисы и тотчас же наткнулся на довольно странную бытовую сцену: мимо меня бегом пробежал Павлов и, как кошка, взобрался по веревочной лестнице на верхушки декораций, тревожно оглядываясь на Батьку, шагавшего за ним тяжелыми, большими шагами в костюме и гриме запорожца с толстой, длинной палкой в руке.

— Слезай, уши нарву, неуклюжее животное!..

Это была обычная сцена: Батько часто раздражался на суфлера, неудачно подававшего ему реплики, прибегая иногда к отеческим затрещинам. Сколько он ни

стучал палкой о кулисы, желая достать виновного, Павлов не слез. Батько плюнул и, ворча, зашагал в уборную.

Я сел на подвернувшийся венский стул между боковых кулис.

— Это все вы! — истерично зашипел подскочивший Павлов. — Все из-за вас! Я вам в морду дам!

— Тогда я ударю вас стулом по голове! — вежливо предупредил я, вставая со стула.

Мы опять стояли друг против друга, готовые к новой «дуэли»: я — с поднятым стулом в руке, он — со сжатыми кулаками.

— Павлов, на место! Начинать! — крикнул режиссер Бурлак, внезапно и решительно вставая между нами.

Суфлер юркнул под сцену. Зазвонил третий звонок. Спектакль начался.

Я поднялся по лестнице в отдельную уборную, которую занимал вдвоем с Сашкой. Он выступал в партии тенора-любовника.

Когда я оделся в мой роскошный костюм, бывший парикмахер, оказавшийся на этот раз трезвым, по старой привычке осмотрел и поправил сделанный мною грим. Я превратился в сказочного Гарун-Аль-Рашида и тотчас же забыл о глупых закулисных дрязгах с недоразумениями, клеветой и дракой. Даже ничего не сказал Сашке: мне нужно было до выхода сосредоточиться на мысли о поэтической, сказочной жизни, изображаемой на сцене, вообразить себя благородным властелином, инкогнито изучающим жизнь бедного народа.

В антракте спустился за кулисы, чтобы с поднятием занавеса выйти на сцену.

Но тут ко мне подбежала Бэлла в гриме и костюме «дивчины», в ярких лентах, в венке из бумажных цветов.

— Возьмите ваш портрет! — сказала она, сверкая глазами и бросив мне портрет, который до тех пор стоял у нее на почетном месте. — Мы больше не знакомы! Павлов открыл мне глаза на вас: всю эту клевету не он выдумал, а вы — из ревности! Я — презираю вас!

Но я уже не был самим собой: вместо меня стоял благородный Гарун-Аль-Рашид.

Зазвонил третий звонок. Поплыли чарующие волны оркестра, медленно поднялся занавес. Я плохо понял, что говорила Бэлла, машинально спрятал портрет. Оркестр, в котором звучали волшебные струны, подхватил и унес меня в мир красоты и поэзии.

VIII

Проснулся на кровати в незнакомой комнате. В ней было два окна, завешенные приспущенными гардинами, сквозь гардины просвечивало утреннее солнце. В комнате стояла вторая кровать с неприбранной, измятой постелью, а за столом сидел Санкевич в черных брюках и нижней сорочке. Он брился перед маленьким зеркальцем, сидя ко мне спиной и не обращая на меня внимания.

Болело все тело, саднило в груди и горле, вспоминалось что-то неприятное, какой-то кошмарный сон, в котором я догонял улетавшую от меня Валентину, чудились незнакомые лица, странные крики. Было ли это во сне или наяву, я никак не мог припомнить. Помнил, что наша труппа ехала по морю на пароходе. Что же потом случилось? Почему не помню, как попал сюда и где я? Вижу только, что за столом бреется Санкевич, мой постоянный сожитель и спутник в нескончаемых скитаниях бродячей труппы.

Я приподнялся на постели и кашлянул... Кашель был простудный. Саднило где-то глубоко в груди.

Санкевич быстро обернулся ко мне с намыленной щекой и бритвой в руке.

— О-го, — сказал он многозначительно, — здоровый бронхит ты себе накупал! Ведь теперь сентябрь — совсем не сезон для купанья!! Ну, как самочувствие?

— Где мы?

— В Одессе, конечно! В гостинице. Что, у тебя память отшибло, что ли?

— Никак не вспомню, как мы сюда попали с парохода! Крепко же я спал!

— Да, крепко! — иронически повторил Санкевич. — Повозился я с тобой! Неужели не помнишь, что ты в море тонул?

— Тонул?

— Ну, да! И как тебя угораздило свалиться с парохода, когда он уже у пристани стоял, не понимаю! Совсем бы ко дну пошел, если бы не счастливая случайность. Везет тебе! Попал прямо на узел канатов под водой, тебя и выперло обратно! Сам-то я не видал, только слышу шум — человек упал в море! Гляжу, а тебя уже на берегу откачивают! Совсем мертвого вытащили матросы! Спрашивают: не ваш ли это? Наш, мол! Ну, тут доктор явился, привел тебя в чувство. Привезли сюда, ты и бредил целую неделю! Намаялись мы все с тобой! Дежурим по очереди!

— Помнится мне, спал я на палубе... А проснулся здесь! ха!

— Ладно, что хоть в себя пришел, а то было бы двое похорон! Вчера умер от чахотки муж примадонны нашей, Левковский!

— Неужели?

— Отмаялся, сердечный! Сейчас иду на похороны, отпевание будет в кладбищенской церкви. Наш хор поет!

Бедный Левковский! За последние полгода он уже не выступал на сцене, лежал на смертном одре, мы видели его только во время переездов труппы, когда вели под руки в вагон или на пароход эту ужасную, скелетоподобную фигуру с вытаращенными от ужаса глазами и свистящим, коротким, как у загнанной лошади, дыханием. Неизвестно, почему его не положили где-нибудь в больницу, а возили с труппой из города в город. Вероятно, не хотели, чтобы он умер в одиночестве, брошенный женой и товарищами по сцене. Так и таскала труппа умирающего товарища за собой, пока он не скончался. Вот судьба и конец актера!

— Я тоже пойду на похороны.

Санкевич кончил бриться, попудрил лицо и сказал, обернувшись ко мне:

— Не советую! У тебя, наверное, горло здорово простужено, не сможешь петь!

Я сел, спустил ноги с кровати и попробовал голос: звук был хриплый, больной, верхние ноты совсем пропали.

— Горло лечить придется! Лежи уж лучше дома!

— Нет, пойду!

Я встал и начал одеваться. В теле чувствовалась слабость, но скучно было оставаться дома одному, лежать на положении больного.

Мы оделись и вышли из гостиницы. День был теплый, солнечный. Взяли извозчика и долго ехали за город на кладбище.

Маленькая кладбищенская церковь была полна. Под управлением дирижера нашего оркестра красиво и густо пел великолепный хор, расположившись на эстраде позади клироса. Посреди церкви виднелся гроб. Ближе всех к нему стояла Левковская с заплаканными глазами и рядом с ней Бурлак. Левковский своим умиранием долго мешал им, а теперь лежал в гробу, примиренный с жизнью и смертью.

Санкевич прошел на эстраду, чтобы участвовать в хоре, а я остался в толпе. Кроме нашей многочисленной труппы, в церкви было много посторонней публики, собравшейся проводить в последний путь известного артиста, а может быть, и послушать замечательный театральный хор. Впереди меня стояла стройная и, повидимому, молодая женщина во всем черном. Лицо ее было под густой черной вуалью. Стояла, не поднимая и не поворачивая головы. Я невольно посмотрел на нее, стараясь рассмотреть ее лицо, но вид у нее был грустный, безразличный.

Она ни разу не подняла глаз. Началось отпевание. Хор запел тихо, в минорном тоне, оттеняя печальные, красивые слова, звучавшие как глубокие вздохи.

До сих пор я относился к смерти с юношеским, жизнерадостным легкомыслием, не верил в нее: казалось, что смерти подвержены другие, но не я. Почти равнодушно отворачивался от умирающих и мертвых, так я был полон жизнью, радостью прекрасного земного мира. Радовала природа, ее реки, горы и моря, шумные города и вся человеческая жизнь, всегда манившая вперед, обещавшая все новые горизонты.

Но теперь, после четырехлетних скитаний, когда я и замерзал, и в море тонул, и ставил свою жизнь на карту, а главное, много думал и многое пережил, отношение мое к смерти значительно изменилось: хотелось оставить в жизни заметный людям след.

Когда кончилось отпевание и гроб вынесли к приготовленной могиле, все провожавшие тесной толпой сгрудились к ней, с жутким любопытством наблюдая, как глухо стучала земля о крышку гроба. Только два человека стояли в отдалении, словно боясь присутствовать при печальном акте погребения: это были комики нашей труппы Глазунов и Загорский, неразлучные друзья и собутыльники. На людях они никогда не были серьезны, даже молчаливое их появление вызывало улыбку, на мир они смотрели с их профессиональной, юмористической точки зрения, хотя мне кажется, что комики и юмористы — в душе самые мрачные люди.

Выходя из ограды кладбища, я вдруг увидел Санкевича, и глазам своим не поверил: он шел под руку с той дамой в черной вуали, на которую я обратил внимание в церкви. Он не просто шел, но как бы нес нечто драгоценное. Вся фигура его изображала воплощенное благоговение. Он не заметил меня или притворялся, что не замечает, и, поспешно усадив даму на извозчика, сам сел с нею рядом.

Все это заинтриговало меня. Санкевич был убежденный женоненавистник и никаких женских знакомств за ним не водилось. Они укатили на извозчике на моих глазах, а я, дивясь успехам друга, пошел в город пешком. Шел долго, предаваясь разнообразным мыслям, и, наконец, оказался около городского сада. Вдруг меня окликнул женский голос: на противоположной стороне улицы стояла нарядная красивая девушка с поднятым зонтиком в руках и кивала мне хорошенькой головкой.

Это была Роза, дочь квартирной хозяйки, у которой я жил в комнате три года тому назад, в далеком университетском городе; я не сразу узнал ее; тогда она была девочкой-подростком, а теперь передо мной стояла цветущая девушка с румянцем во всю щеку, с красивыми глазами, выросшая, похорошевшая.

— Роза! Ты ли это, дитя мое? — шутливо воскликнул я. — Какими судьбами?

— Я теперь совсем другая! Вы помните нашу бедную семью? Мне почти никакого образования не дали. Но я попала в кружок хороших людей, меня заставили учиться, развивали, подготовили на курсы, заставили книги читать, и вот перед вами совсем новый человек! Сядемте!

Мы сели на скамейку в саду.

— А где ваши родители?

— Здесь же. Мы уезжаем в Америку!

— Что за чудеса?

— Такие чудеса, что вы и не поверите! Это только в романах бывает! Дело вот в чем: в Америке живет мамин брат, мой дядя, оперный певец. Он сделался антрепренером, много зарабатывает, прислал нам денег, зовет к себе в Нью-Йорк! Отец будет служить в его деле.

— Вы какую-то сказку рассказываете, Роза? Американский дядюшка и тому подобное...

— Да, но мне не хочется ехать в Америку! Брат мой в ссылке, а я...

Роза опустила головку и стала чертить зонтиком по песку.

— Я так рада вас видеть! — продолжала она, понижая голос. — Рада, что вы теперь артист, имеете успех, о вас пишут в газетах!

— Ах, Роза, моя карьера еще не сделана, еще много нужно работать.

— Это хорошо, что вы стремитесь вперед! Я была бы счастлива, если бы... но вы будете смеяться!

— Что такое?

— Так! Пустяки! Конечно, смешно! Я тогда была ужасно влюблена в вас!

— Неужели?

— Да. Ревновала к той гимназистке, к Валентине, помните ее?

— Еще бы! Не знаете ли чего-нибудь о ней?

— Все знаю. Она вскоре же, как вы уехали, вышла замуж за студента, за друга детства, а он оказался чахоточным и умер через год после свадьбы. Говорили

еще, что мать ее где-то в уездном городе замуж вышла, тоже неудачно: муж покончил с собой, и она умерла. Потом и Валентина куда-то уехала. Больше я о ней ничего не слышала. Вы не забыли ее?

— Нет, не забыл, часто вспоминаю.

— Вы любили ее?

— Любил, Роза!

Девушка грустно вздохнула.

— Зачем все на свете так бывает печально? Вы любили ее, а она вышла замуж за другого и сделалась несчастна. Я любила вас, а вы внимания на меня не обращали! Вы не знаете, как я вас любила! Все эти годы только о вас и думала, часто видела во сне, бредила вами, тосковала, плакала, мечтала когда-нибудь встретиться с вами, и вдруг сегодня так неожиданно...

Голос Розы осекся, она еще ниже наклонила головку, и две слезинки покатились по ее щекам.

— Роза, о чем вы плачете? — я ласково взял ее за руку. — Если не хочется ехать — что вам мешает остаться?

Роза пристально посмотрела мне в глаза.

— Неужели не понимаете? С кем же я тут одна останусь? Я должна ехать, а вы все еще любите Валентину! Какой вы бледный, худой и все кашляете: что с вами? Вы больны?..

— Да, я был болен, но теперь ничего: как видите — гуляю!..

— Бедный, вы плохо выглядите, а я-то к вам пристала! Пойдемте, посидим над морем, вам надо быть больше на воздухе!.. Расскажите на прощанье обо всем, как вы жили эти годы! Завтра с пароходом мы уезжаем! Да, только что встретились и опять расстаемся!

Я встал со скамейки. Роза тоже поднялась и, положив мне обе руки на плечи, сказала:

— Прощай, безнадежная моя любовь!

Вечером после ужина в ресторане я проводил Розу домой.

Идя под руку, она прижималась ко мне, маленькая и грациозная, как котенок. Ночь была теплая, лунная.

Роза без умолку болтала и смеялась в необыкновенном возбуждении, как будто вина выпила, хотя и не пила ничего. В ее смехе слышались звенящие драматические ноты. Я боялся, что веселое, чересчур приподнятое настроение девушки перейдет неожиданно в слезы, и наше свидание закончится тяжелой сценой. Мы расставались навсегда: знали, что вряд ли когда-нибудь встретимся! Я пренебрег любовью этой милой, красивой девушки, любившей меня с ее детских лет, но не возбудившей в моем сердце ничего, кроме обыкновенной симпатии. Не могу себя связывать не только с ней, с Розой, но даже с той, другой... которую любил до безумия и от которой ушел, боясь, что она помешает мне в моих исканиях жизненного пути.

Роза заглядывала мне в лицо искристыми глазами. Незаметно для себя перешла на «ты». Я улыбнулся ей в ответ и делал последние усилия, чтобы воспламенить себя к ней. Ее лицо при свете луны было особенно прекрасно: черные глаза из-под густых, длинных ресниц сверкали бархатным блеском, белое овальное лицо с нежным румянцем на щеках дышало юной свежестью, алые, чувственные губы казались как бы созданными для жарких поцелуев. Ощущая тепло ее упругого тела, готового отдаться мне, я с ужасом убеждался в моей внутренней холодности. Не только любви, но даже естественного физического влечения не чувствовал я к этой цветущей девушке, страстно прижимавшейся ко мне. Но мое спокойствие и покровительственное отношение, может быть, больше всего и нравилось ей во мне как прежде, так и теперь.

— Какая голубая ночь сегодня! — щебетала она. — Даже странно, правда? Светит луна, а весь воздух голубой! Отчего это?..

— Я не нахожу его голубым! — возражал я. — Обыкновенная лунная ночь! Впрочем, ведь мы в приморском городе, и, может быть, слегка отсвечивает море!

— Да нет же, голубая!.. Неужели ты не замечаешь? Все кругом голубое, даже дома, а небо, как хрусталь, и звездочки горят голубым светом!.. Как хорошо! Как я счастлива, что ты был так добр, встретился мне пе-

ред отъездом и провел со мной этот вечер! Ты ведь очень добрый? да? да!.. Ах! как я люблю тебя!.. Из-за меня ты сегодня не пошел никуда и слушал всю мою глупую болтовню!.. Ха-ха-ха! И как это я не надоела тебе за целый день?.. Ты так хорошо на меня смотришь, только улыбка печальная!.. Милый, милый!.. Никогда-то, никогда мы с тобой больше не встретимся!.. Но ты позволишь мне написать тебе, когда я приеду в Новый Свет? Где вы будете играть эту зиму?

— В Питере!

— Хорошо! Я напишу тебе из Нью-Йорка обо всем, обо всем, как устроюсь, как буду жить!.. Это будет письмо из Нового Света! С того света! А может случиться, что через несколько лет, когда ты будешь знаменит, приедешь в Америку на гастроли, а я буду в то время женой другого, и мы встретимся!.. Ха-ха-ха! Вот будет встреча! Непременно, непременно напишу тебе, и ты ответь мне, пока будешь холост, а если встретишься с этой своей Валентиной и женишься — тогда ничего не пиши мне, не отвечай, молчи! И пусть моя любовь к тебе, как ключ ко дну...

Мы остановились у подъезда высокого дома с тяжелой зеркальной дверью. Роза расплакалась. Я давно ждал этого: утешал ее как мог, поцеловал. Наконец, открылась дверь, и мы простились. Когда дверь захлопнулась, я некоторое время стоял у крыльца, потом облегченно вздохнул и медленно пошел обратно.

В печальных размышлениях вернулся я домой. Санкевича с утра не было дома.

В окна ярко светила луна. В комнате было душно. Я растворил окно, разделся и лег в постель. Чувствовал себя усталым, разбитым и все-таки не мог заснуть: луна мешала спать. Опустил гардины, но тут появился чуть заметный ветерок и стал шелестеть занавеской.

Нет, не заснуть мне, видно, в эту ночь! Встал, оделся и вышел. Долго и бесцельно бродил, больной и печальный, в этот поздний час по опустевшим улицам города, как вдруг услышал громкое пение, доно-

сившееся из раскрытых, освещенных окон большого трактира:

Зачем солдат с поста бежал?..
Он песнь родную услыхал!..

Я сразу узнал металлический тенор-баритон Санкевича. Пению аккомпанировала гитара. Удивительно хорошо пел Санкевич, когда был в ударе или в меру пьян: в этих случаях его голос брызгал избытком звучности, а каждое слово обдавало огнем. Именно так он пел теперь.

Напев знакомый был такой...
Была та песнь страны родной!
Была та песнь страны родной!..

Этот драматический романс никогда ни от кого не слыхал я, кроме Санкевича. Его частенько пел он и передо мной дома.

Поднялся по высокой трактирной лестнице, а голос друга разносился кругом:

Там, в стороне моей родной,
Красотка ждет меня домой!
Красотка ждет меня домой!

Остановился у дверей отдельного кабинета, подождал, когда кончится пение.

В комнате, густо накуренной, с открытым окном на улицу, за столом сидела небольшая компания, почти вся знакомая мне: хористы нашей труппы, танцор Голубенко и известный цирковой борец, фигура, подобная статуе Геркулеса, с наголо остриженной большой головой и висящими вниз усами, без пиджака, в одной нательной рубашке с открытым воротом. Облокотившись на стол обеими руками, он один занимал своею широкой фигурой почти полстола.

Санкевич, в смокинге и сорочке с крахмальной грудью картинно стоял посреди комнаты, как на эстраде, заканчивая последнюю низкую ноту. В момент моего прихода вся компания аплодировала, издавая громкие возгласы, а силач, положив голову на стол, горько плакал. На столе стояли бутылки, стаканы, рюмки, тарелки с остатками еды.

Завидя меня, все закричали, а Санкевич бросился мне на грудь, как будто после долгой разлуки. Смуглое лицо его было красным, глаза сверкали лихорадочным блеском. Он воззрился на мое лицо.

— Ты бледен, как Пьеро, о, мой Лоренцо, мрачная тень в черном плаще! Как я рад твоему появлению! Ты не знаешь и никогда не хотел знать, как люблю я тебя, свинтус!

— По какому случаю пир? — спросил я, освобождаясь от объятий.

Санкевич взял меня под руку и отвел в сторону:

— Пью и никак опьянеть не могу! Ты знаешь? В моей жизни событие! Сегодня утром я встретил ее! Понимаешь? Ту, которую любил, из-за которой в сумасшедшем доме сидел! Сама отыскала меня, увезла к себе! О! Она теперь замужем за богатым стариком и очень несчастна! Мы встретились, как Онегин с Татьяной! Теперь я опять вспомнил ее забытое лицо! Целый день мы провели вместе и расстались навсегда!

Санкевич захохотал странным смехом и засвистал.

— Уж теперь-то, брат, навсегда!..

— Санкевич! — крикнул кто-то из-за стола. — Перестаньте там секретничать! Выпьем!

— Спой еще! Ты сегодня в голосе!

Санкевич подошел к столу и залпом выпил целый стакан темнокрасного вина. Лицо его пылало, глаза смотрели дико, он сжал руками виски.

— Эх! Как в голову ударило вино! Хлопцы! Я буду петь! Сегодня мне хочется вылить в пении всю мою душу! Голубенко, аккомпанируй «Не развеять!»

Танцор, сидя на диване, взял гитару, сгорбился над нею, костлявые пальцы забегали по струнам и грифу, зазвенели грустные задушевные аккорды.

Санкевич встал в позу, тонкий, стройный, смуглый, неестественно румяный, черные волосы встали дыбом, из-под маленьких усов сверкнули белые зубы. Он выпятил худую, крепкую грудь и запел:

Не развеять мне грусти тяжелой,
Что в душе затаилась больной,
Ни разгульною песней веселой,
Ни разгулом пирушки хмельной!..

Это был старинный цыганский романс, давно забытый даже цыганами. Печально-протяжный мотив веял тем отчаянным русским драматизмом, когда пламенную, жгучую тоску топят в вине и разгуле:

Не забыть мне измены жестокой,
Как кинжалом вонзившейся в грудь!
Жизни грустной, пустой, одинокой —
Безотраден, бесцелен мой путь!

Яркий голос Санкевича лился с захватывающим чувством. Широкой волной звучала тоска любви, и вдруг тягучий, надрывный мотив неожиданно перешел в быстрый, рвущий, брызжущий размах, и Голубенко ударил в стальные стонущие струны всею ладонью, сразу по всем струнам:

Счастье вернется,
Жизнь улыбнется,
Как в прежние дни!

Все подхватили последние слова буйным, разгульным хором.

Силач опять заплакал, положил руки и бритую голову на скатерть. Все его богатырское тело сотрясалось от рыданий.

— Всех угощаю! — заорал рыдающий гигант. — За такую песню душу возьми! Твой голос жжет, висит в воздухе! Открой мне твой секрет так петь!

Санкевич умолк и воззрился на пьяного поклонника. Лицо певца побагровело, выражая безумную ярость. Цирковой силач поднял голову с пьяным, мокрым от слез лицом, откинулся к спинке дивана и, запустив руки в карман широких штанов, выбросил на стол горсть смятых бумажных денег.

— Никому платить не позволю! Пейте в мой счет! Уложил ты меня песней на обе лопатки! Продай мне твой секрет!

— Секрет? Послушайте! — дрожащим, тихим голосом возразил Санкевич. — Вы мне испортили настроение! Петь я больше не буду, а вы возьмите ваши деньги и убирайтесь! Вон! — заорал он вдруг с круглыми, вытаращенными глазами. — Возьмите еще и мои деньги!

Санкевич выхватил свой тощий кошелек и запустил им в борца.

Начался пьяный скандал. Заговорили все разом, окружили Санкевича, но он никого не слушал и кричал в непонятном исступлении:

— Может быть, мало? Тогда возьмите вот это!

Скинул и бросил на пол смокинг, жилет и начал снимать брюки. Повидимому, вино, действительно, ударило ему в голову. Раздевшись до белья, с пылающим лицом и безумными глазами, он выбежал из комнаты. Я бросился за ним.

Сбежавши по лестнице вниз, я увидел друга сидящим на высоком дереве около тротуара. Он забрался на самую верхушку и, сидя на суку, смотрел на меня. Лицо его дергалось. Луна освещала совершенно пустынную улицу.

— Послушай, Санкевич! Опомнись, что с тобой?

В ответ он тихо засмеялся.

Я пожал плечами, не зная, что делать.

Санкевич погрозил мне пальцем и, хитро подмигивая, прошептал свистящим шопотом:

— Какой Санкевич? Я вовсе не Санкевич! Я великий артист, изобретатель вечного движения и свободного висения в воздухе. Пелена спала с моих глаз! Я начинаю видеть жизнь близко, лицом к лицу. Отсюда, с головокружительной высоты, мне скучно смотреть на людей, на их ошибки, страдания и несчастия! Они у них всегда одни и те же! Из глаз людских падают радужные лучи, мешающие видеть мир таким, каков он есть! Они неспособны быть психологами и сколько-нибудь знать человеческое сердце! Смотрят на мир, на жизнь, на людей, а видят свою фантазию! Но я здраво смотрю на вещи и презираю ненормальных людей! Все мы живем в эпоху безвременья и бездорожья, в великой тоске по великому будущему!

Я открою тебе мою тайну, мой секрет! Видишь ли: меня угнетала тоска любви и одиночества. Я сделал колесо с молоточками и спрятал его в моей голове! Колесо вертится, молоточки поднимаются, опускаются, стучат по колесу, вертят его все сильнее, сильнее! Оно воет, исчезает из глаз, тоска превращается в счастье

и наконец, — бац! Все разлетается вдребезги! Летит ко всем чертям! Ха-ха-ха! Ведь это я моей мощной мыслью сдвинул с мертвой точки эпоху застоя! Колесо жизни разлетелось, но принцип вечного движения и свободного висения в воздухе остался! Я, поборовший тоску, гордый своим открытием, полечу ввысь на этом принципе, поднимусь над землей, скроюсь в облаках и оттуда покажу тебе язык, негодяй! Как ты смеешь улыбаться и не верить мне? Ты хуже Пакли, хуже Голубенко, хуже глупого циркового борца, хотевшего подкупить меня и выманить секрет избавления от тоски! Нет! Что я говорю? Все между нами кончено!.. Ты ничтожен, а я велик! Я счастлив, я страшно счастлив! Я убил ее, мою великую, мою страшную тоску!

Безумец на момент умолк, жутко смотря на меня из серебристых ветвей, и громко продолжал, взмахнув руками:

— В наше время гений не может любить людей, он может только презирать их за слабость мысли, за скудость познаний!.. Но я — познал истину, я вдвинул изобретенный мною механизм в их маленькие головы и теперь жду, когда созреет моя истина, когда все будут мыслить правильно и бесповоротно! Я один величественным мановением упраздняю все противоречия!

— Санкевич! — с невольным ужасом вскрикнул я.

— Чему ты смеешься, несчастный? Все человечество, за исключением нескольких гениев, состоит из глупцов, и я, титан, не могу смотреть на них иначе, как только с моей недосягаемой высоты! По их головам я поднимаюсь на пьедестал: мне ясно видно отсюда, как тяжело и медленно движется твоя бескрылая мысль, между тем как мой легкий шаг идет грациозно, изящно, четким аллюром... Четким аллюром!

IX

В одно декабрьское утро мы приехали в хмурый и неприветливый Петербург: мокрый, грязный снег, седое, туманное небо без солнца. Сверху что-то вроде

дождя и снега, какая-то мокрая слизь. Всюду бледные, чем-то недовольные, словно не выспавшиеся, лица, высились многоэтажные каменные громады домов и дворцов, по тротуарам бежала озабоченная деловая толпа, по Невскому неслись извозчики с пассажирами в нахлобученных шляпах.

Козьма встретил меня на вокзале. За нами следовал носильщик с моим чемоданом и ведерным дубовым бочонком виноградного вина, захваченного мною из Кишинева.

— Я послан делегатом от клочковцев встретить тебя и устроить! — заявил Козьма. — Едем на Пушкинскую, в меблированный дом «Палэ-Рояль»! По преданию — там в свое время Пушкин жил! С тех пор в «Палэ-Рояле» писатели и артисты основались; тихо, уютно и недорого. От вокзала рукой подать и от театров близко.

Немудрая финская лошаденка затрусила по сырому, смешанному с грязью, снегу.

Подняли воротники и, уткнувшись в них, ехали молча: у меня все еще болело горло, хотя прошло несколько месяцев после моего «купанья». В общем я чувствовал себя здоровым и бодрым, но последствия болезни оказались неожиданными: что-то случилось с голосовыми связками, пропал верхний регистр. Пришлось по болезни отказаться от выступления в операх, кое-как солирую в хоре, а главным образом выступаю в водевилях. Решил, дотянувши до конца сезона, выйти из труппы, дать отдых голосу.

Петербург вижу впервые. Холодный, высокомерный город не понравился мне, но мысль, что я попал, наконец, в центр культуры и умственной жизни страны, волновала и радовала.

Мы повернули на Пушкинскую мимо скромного памятника величайшего из наших поэтов. Подумать только, как мог он создать столько великого, умерши в тридцать семь лет?

Извозчик остановился у массивного подъезда трехэтажного солидного здания пушкинской эпохи.

В вестибюле около старинного камина сидела за

небольшим столом пожилая конторщица «Палэ-Рояля». Элегантный Козьма прежде меня вступил с ней в переговоры. В верхние этажи поднималась широкая лестница.

Коридорный внес мой багаж в отведенный мне маленький номер. Я попросил его ввинтить приготовленный кран в дубовый бочонок.

— Давай отпразднуем свидание! За вином сподручнее разговаривать!

— Идет! — Козьма взглянул на карманные часы. — Девять! Мне на службу к одиннадцати, а тебе?

— Тоже!

Наполнив стаканы золотистым бессарабским вином, мы уютно уселись около огня только что затопленной печки. Березовые дрова ярко пылали.

Козьма с удовольствием тянул и смаковал вино, говоря, что вкус его вызывает воспоминания о Кавказе, где он недавно был.

Приятельский разговор, подогреваемый вином, не прерывался...

Я долго рассказывал одиссею моих трехлетних странствований. Он слушал, вставляя иногда короткие замечания.

— Ехали мы из Молдавии, Валахии и Румынии в Кишинев. Ну, вот! Было начало ноября. Приехали с утренним поездом часов в восемь. Напившись чаю, пошел куда глаза глядят: люблю бродить в незнакомом городе. День был теплый, солнечный. С зеленых деревьев чуть-чуть падали желтеющие листья. По двум главным чистеньким улицам ходила конка. Кругом — спокойная тишина и безлюдье раннего утра. Эти улицы Кишинева расположены на некотором возвышении, остальная часть города спускается в лощину. Казалось, что это совсем другой город — старый, грязный, захолустный. Не улицы, а какие-то бесчисленные кривые, неправильные переулки шириной не более четырех шагов, тесно заставленные эдакими низенькими домишками полуазиатской архитектуры с маленькими окнами и старинными крохотными балкончиками. Кры-

ша почти каждого из домишек свешивалась над тротуаром, образуя навес, поддерживаемый деревянными столбиками. С одного балкона на другой можно было руку подать. Несмотря на сухое время, немощеные узкие улицы, то и дело переплетавшиеся между собой по всевозможным направлениям, были полны глубокой, вероятно, никогда не пересыхающей грязи. Это были еврейские кварталы Кишинева.

Солнце начало пригревать сильнее — мне стало жарко, да и от ходьбы по грязи устал. Хотел было повернуть назад, но столько сделал поворотов по кривым и неправильным улочкам и переулкам, что уже не мог вспомнить обратный путь. Извозчиков не было: в эту вечную невылазную грязь они никогда, конечно, не заезжали. В нерешительности остановился на самом грязнейшем перекрестке. Хотелось пить. Тогда я решился зайти в один из подвальных погребков, где можно было выпить бессарабского вина и кстати расспросить обратную дорогу.

Я спустился по кривым каменным ступенькам, преграждавшим узкий тротуар, и вошел в подземный погребок. В нем было темно, прохладно, затхло. Пахло винными испарениями. За стойкой стоял еврей-буфетчик в длиннополом лапсердаке и высоких чулках — костюме, который я до сих пор видел только в пьесе «Тарас Бульба». У стены несколько винных бочонков. Три маленьких столика, за одним из них всего только один посетитель, сидевший за графинчиком с желтоватым вином. Я сел за соседний стол и спросил красного.

Некоторое время мы пили молча. Соседом моим оказался приземистый, но крепкого сложения старик с копной седых волос на голове, красным, загорелым лицом и кругло подстриженной седой бородой, пожелтевшей по краям. Он поглядывал на меня с большим любопытством и, наконец, заговорил: «Вы, добродию, приезжий?» — «Да, а вы почем узнали?» — «Эге! як же не узнать? По одеже видно! — Он пощупал мою бурку загорелой, грязной и мозолистой рукой. — Яка жь космата, неначе дорогая?» Я не ответил. Старик помолчал, потом опять пристал: «А на що жь вы

красное пьете? Вот уж и поэтому видно, що приезжий: у нас все белое пьють, красное нездорово. Из приезжих був у мене встарину, колысь я ще парубком був, приятель один, в ссылке здесь проживав, так вин спервоначалу с непривычки ледве не помер вид красного вина».

«За что же он был сослан?»

«Хто его зна? Щось не поладив з панами. Колысь був здесь — нихто его и знать не хотив! Весь грязный ходив, як пудель, або овчарка! Ну, да он и сам не любив панов: тилькы, бывало, с нами, с простымы и знався! На базаре промежду простого народу толкався. Любили мы его».

«Как его было имя?» — «Олесь! Олесем звалы, або Олеко, не помъятаю! Вот уже хучь из панов, а який був простый! Есть же таки и промежду панамы гарные люди!» — «Скажите, давно это было? Сколько вам лет?» — «А хто зна, скильки мени рокив? Богато! Я вже и сам забув! Ще при царе Миколе Первом було, колысь уси мы крепаками булы, колысь на «кобыли» кнутом поролы, та сквозь строй проводилы — ось колы! Вас тоди и на билом свити не було! А був той Олеко знатного роду! У больших начальников за всяко просто обидав!» — «Что же он тут делал? Как жил?» — «А щось ему було робить? Деньгами вин не нуждався, мабуть присылалы ему — вин и не робив ничого, тильки, бувало, с намы, парубкамы, хороводився! За нас вин був завсегды — горой, ну и мы за него в огонь и в воду! Ходив, говорю тебе, человече, як пудель кучерявый, волосы до плеч, оброс весь, в красной сорочке, сапоги длинные, на цыгана похож и палка у него була товстая с железным наконечником от собак».

Тут он нагнулся к моему уху и прошептал, внезапно улыбнувшись в свою желтую бороду:

«Страх як не любив полицейских! Чуть що — сейчас в драку лез! Горячего був нраву. Ну и бив частенько полицию!» — «А они его?» — «Били. Ну, все жь таки мы не давалы его в обиду, выручалы! Вот же и было нам сумно, як пропадав вин!» — «Как пропадал?» — «А так: пропав, неизвестно куды, ведь вин поднадзорный

був! Полиция зашевелилась: «сильный утик! Мы таки смекалы, що сбежав вин за границу, заграница от нас недалеко! Известное дило — чоловик паньского роду, к столице привык, а Кишинев-то наш тоди не такий був, як теперь: тильки и було, шо ось таки здеся, лачуги одне, а туды, выше, где новый город, ничогисеньки не було, лес там був. Ну, тут скоро таки полиция его разыскала и назад привела. Уже мы-то обрадовалися! Добре, хуч жив знайшовся! а вин ничого: посмиявся трошки!» — «Куда же он пропадал?» — «А с цыганами утик, с цыганским табором! Вот же и плакалы мы за ним, як узналы, що убито его в Расее! Да поздно узналы! Вже скильки — много рокив утикло, як дойшов до нас той слух! Ось и заступиться-то за него, видно, нихто не заступився! Доведись до мене — я бы сам выйшов замисть его на той смертный бой: напалы на его лютые ворогы! Эге! що за душа, що за хлопец веселый був! Послухае, бывало, песенку какую — живо книжонку вынет и запише! Балакалы нам описля того, що вин газетчик був, в газетах многих панов протащив, за що и убито его! И ничогисенько от него не осталось: ни именья никакого, ни дому своего: безродный, бездомный був, а вот любили его простые люди! Паны — и те памятник ему поставилы! Ось, як пидетэ до городу, у городскому сади побачите!»

Я допил вино, расплатился и встал из-за стола. Старик проводил меня до порога и рассказал, как выйти из старого Кишинева в новый, как найти городской сад.

Мне долго пришлось брести по грязи, пока я не выбрался обратно.

Памятник «Олеко» оказался в глубине старого, давно заброшенного, полузасохшего сада. Это — невысокая колонна, на ней небольшой бронзовый бюст человека с поникшей кудрявой головой и грустным лицом. Внизу — надпись:

Здесь, лирой северной пустыню оглашая,
Скитался я!

И число лет, проведенных им в Кишиневе: четыре года!

Я долго стоял и смотрел на поникшую голову «Олеко». Кругом было пустынно, мертво и, знаешь ли, как-то грустно.

— Ты хорошо рассказываешь! — заметил Козьма. — Знаешь что? Напиши здесь повесть, что ли, да и тиснем! А? Я секретарствую в одном журнале! Время-то какое! Ты, пожалуй, еще не знаешь, какое славное время у нас подходит! Никогда еще наша страна не переживала такого подъема! В литературе, в музыке, в живописи, на сцене: везде, как грибы после дождя, вылезают новые люди, новые таланты!.. Тебе тоже пора вылезть из бродячей труппы!.. В искусстве — новые требования, новые задания... Новые люди уже покорили публику, гремят, потрясают сердца! Тебе с твоими задатками художника на сцене — открытая дорога.

— Милый Козьма! Да ведь у меня пропал голос! — прервал я его. — Я рассказывал тебе о моем падении в море? Пропал — быть может, навсегда!..

Козьма оторопел, встревожился.

— Пропал голос? Что ты говоришь? Твой струнный, полнозвучный, бархатный голос редкостного тембра — пропал?

— По крайней мере — вот уже четвертый месяц не возвращается, поломан и разбит. Кончу сезон, уйду из труппы.

Козьма задумался, поставив недопитый стакан. Потом поднял голову, тряхнул длинными кудрями.

— У тебя есть что-нибудь готовое, написанное?

— Есть.

— Что именно?

— Пьеса, но...

— Без всяких «но»!.. Давай мне ее сейчас же! Сначала сам прочитаю, а потом, если мне понравится, устроим чтение у «Старика» или у Виктора — в нашем бывшем клочковском кружке!.. Бочонок с вином — туда же!.. Больше пить сегодня не станем! Кончен бал! Давай пьесу!

— При одном условии, — возразил я, — если окажется плохо — никому не показывать и возвратить!

— Есть! — сказал Козьма, вставая и перелистывая тетрадь. — Через два дня позвоню тебе по телефону!

Через три дня состоялось собрание клочковцев в квартире Виктора, воспоминание о котором невольно связывалось с красивой природой Грая, образом Валентины и хором курских соловьев в лунные весенние ночи.

Часов в семь вечера за мной зашел Козьма.

Квартира Виктора на Васильевском острове оказалась, по обычаю людей с подпольными привычками, в какой-то безлюдной, тихой улице провинциального вида, с ходом через ворота, во дворе, в маленьком деревянном флигеле. Мы вошли в тепло натопленную квартирку из трех или четырех небольших, но уютных комнат. В прихожую выбежал Виктор, чуть-чуть похудевший, сутуловатый, с прежними бакенбардами и едва заметными усами. Мы расцеловались.

— Что же из тебя вышло-то, баритон или писатель?.. — спросил он, смеясь.

— И сам не знаю! Не решен вопрос!.. А вот ты что-то горбиться начал: не рано ли?

Виктор вздохнул:

— Что делать? Тюрьма, семья, работа! Впрочем, политической деятельностью теперь у меня жена занимается, а я придерживаюсь легальной общественности: нельзя же всей семьей в тюрьме сидеть!

В кабинете с низким потолком, обставленном старой мягкой мебелью, с лампой под зеленым абажуром на письменном столе опять повеяло давнишним знакомым, провинциальным. В боковую дверь вошла Люба в красной кофточке, стянутой кожаным поясом, стриженая в кружок, с чуть заметными лапками около глаз. Вела она за руку трехлетнюю девочку, а когда я обернулся, то увидел в углу на диване сильно поседевшую пожилую женщину, вяжущую чулок, и узнал в ней ни кого другого, как Софью Павловну. «Жизнь втроем», повидимому, сложилась мирно, прочно и семейственно. Расстаться с прошлым не всегда удается.

— Ну, вот и опять встретились! — сказала Люба, улыбаясь и по-мужски пожимая мне руку. — Мы все ждали ваших успехов по артистической части, а вы, оказывается, литературу не забываете.

Я подошел к Софье Павловне.

— Что, не ожидали меня здесь встретить? — сказала она.—Возмужали вы! А мы вот как живем, как видите!..

— Всякие писатели бывают! — оживленно толковал Козьма. — Но если эта пьеса попадет на сцену — успех обеспечен! Главное — она ко времени! В самую точку попал!.. Мы все у входа в новый век!

В комнату по-двое, по-трое прибывали гости — бывшие клочковцы, недавние студенты. Вошел Ефрем — в тужурке инженера, с подстриженной клинышком светлой бородкой: успел-таки окончить институт. За ним Воротынский — «Старик»: все в тех же дымчатых очках, такой же подпольный человек, как и прежде. Францевич, опять где-то учившийся, крепыш Крупицын, приземистый Данило — они мало изменились, и наконец — Атаман, совсем поседевший, но с прежней тяжкой походкой статуи командора — теперь директор банка. Небольшая комната наполнилась почти до отказа. Гудел общий разговор. В соседней комнате звенели чайной посудой. В углу на маленьком столике стоял мой дубовый бочонок с приготовленными стаканами. Я чувствовал себя как бы возвратившимся на «Клоки», с той разницей, что все мы выглядели постаревшими более, чем на три года, которые разделяли нас: почти вся эта компания побывала в ссылке, посидела в тюрьмах, жизнь всех потрепала, в том числе и меня, но тем не менее все выглядели более уверенными в себе, чем прежде.

Говорили о текущей литературе, с которой я был не совсем знаком, читая урывками во время долголетнего путешествия, о статьях новых и старых публицистов и экономистов, о недавно открывшемся революционном журнале, где выступали новые поэты и беллетристы, увлекшие молодежь призывами к борьбе и свободе, о боевой зажигательности их произведений и несомненной близости революции.

Говорили о небывалом подъеме настроения всей

страны, о всенародном, нарастающем движении, которое грозило выйти из берегов интеллигентской и литературной кружковщины и всколыхнуть прежде всего рабочие массы... Говорили о просыпающейся деревне, где появился колоссальный спрос на современную литературу, пропитанную неудержимым духом протеста против устарелых форм жизни, казавшихся всей стране невыносимыми. Страна инстинктивно и нетерпеливо ждала чего-то решительного и важного, что неизбежно и уже скоро должно было совершиться!..

— Дух времени! — патетически говорил Францевич, поднимаясь во весь свой высокий рост. — Старое окончательно отжило, выветрилось, надоело всем! Все ждут чего-то нового, перемен каких-то, а какое оно будет, это новое, никто не знает — и я тоже не знаю! Знаю одно: при малейшей подвижке льда — рухнет ненавистное всем самодержавие!

Собрание аплодировало клочковскому оратору. У Любы загорелись глаза, вспыхнули щеки. Она как будто сразу помолодела, посвежела, пытаясь что-то сказать, но, не заметив ее порыва и сам загоревшись, выступил Козьма, обращаясь ко мне:

— Видишь ли, за эти годы, покуда ты с труппой шатался, значительная перемена декораций произошла, такие литературно-идейные сражения происходили, что только клочья летали! Теперь достаточно какой-нибудь искры, брошенной спички — как не одна молодежь загорится, а вслед за ней произойдет взрыв всего порохового погреба! Молодежь, интеллигенцию, их, конечно, легко смять при помощи одних только казацких нагаек, административных, полицейских мер, при помощи грубой силы! Что такое наша интеллигентско-буржуазная общественность? Ее, конечно, можно было бы легко раздавить, привести к безмолвию, если бы не созрела рабочая масса. Вот где погреб, который в ближайшем будущем взорвется! Нас будут разгонять с площадей и загонять в подполье до тех пор, пока не выйдут на улицу организованные рабочие, которые однажды откажутся работать, заявив политические требования! Они могут одним этим жестом остановить весь механизм поли-

цейского государства! Их массовый выход на улицу будет сигналом к первому акту революции. Тогда не нагайки, а пули засвищут!.. Вот близость этого момента все и чувствуют теперь! Кончена эпоха безвременья! Ушли в прошлое наши студенческие годы с их тоской, сознанием бессилия, нытьем, отчаяньем, с кабаком Дормидошки, а также с тюрьмой и ссылкой за здорово-живешь! Твое интересное путешествие и прочие искания неприемлющих мира, представляющих из себя бродячую Русь, — кончены! Весна идет!

Козьма вытер платком пот с высокого белого лба, прорезанного глубокой складкой, тряхнул кудрями и продолжал:

— Выперло вдруг исподнизу эдакое свежее, сочное, цветущее! Наливаются почки, зеленые, клейкие листочки выглядывают!

Стихийная силища прет отовсюду! Вот что радостно, что придает силы и нам, получившим закалку в эпоху безвременья! Мы переживали длительную борьбу, когда еще не видно было просвета в окружавшей нас тьме, временами сжималось сердце и опускались руки!.. Ненависть наша окаменела в груди, обратилась в твердый, жесткий ком! Но теперь лучи весеннего солнца разогревают его! Я чувствую сам и вижу кругом кипение священной ненависти во всех сердцах...

Все слушали сочувственно. Люба волновалась, то бледнея, то вспыхивая. Софья тоже слушала, сидя со спящим ребенком на коленях. Все высказывались: Виктор, Атаман, «Старик». Говорилось о сдвиге настроений всей страны, о ее начинающемся пробуждении. В моем трехлетнем путешествии с «цыганским табором» я как будто оторвался от жизни, ничего не знал о словесных и литературных турнирах: я был в «низах жизни», куда звуки этих битв и турниров совсем не доходили, где об их существовании даже не подозревали. Зато я видел жизнь как она есть, наблюдал переживания какого-нибудь Пакли или Санкевича, видел, как гибли они в одиноких своих исканиях; я видел, как много способных, талантливых и хороших людей могли бы выдвинуться из этих низов, если бы жизнь их не была так темна и безвыходна. За эти

три-четыре года из неопытного юноши я вырос во взрослого человека, много видевшего, пережившего, передумавшего. Теперь при встрече с моими товарищами я убедился, что вынесенная ими из минувших лет уверенность в себе и своих силах совпадает с моим жизненным опытом и с тою бодростью духа, которую я вынес из моих путешествий. Я тоже пришел к чувству острой ненависти к отжившей эпохе, которая исковеркала наши молодые жизни. Это чувство и было темой моей пьесы, так понравившейся Козьме.

— Товарищи, — задрожал взволнованный голос Любы, — позвольте и мне откликнуться на ваш горячий призыв к священной ненависти! Действительно, чаша терпения всей нашей страны переполнена! Но никто из вас, людей, вышедших из народа, не ненавидит так буржуазно-полицейский мир, как те, кто родился в этом мире, но порвал с ним кровные, родственные связи, как это пришлось сделать мне! Мы, родившиеся в этой гнилой и гнусной среде, имеем основание в тысячу раз более, чем вы, ненавидеть наших отцов глубокой и непримиримой ненавистью! Вы знаете, я почти не выхожу из четырех стен тюрьмы. И мне кажется, если бы на какой-нибудь демонстрации я встретилась с моим отцом, старым приверженцем полицейского строя, я бы не знаю что сделала! Видеть не могу эти тюремные, полицейские, жандармские морды! Я готова стрелять в них, уничтожать их беспощадно! И я готова петь, плакать, смеяться от радости, что наконец поднимается и растет волна всеобщего гнева!

— Стой, стой, погоди! — улыбаясь, подошел к ней Виктор. — Ведь мы все-таки не на митинг собрались, а на чтение пьесы, которая, говорят, как раз касается этой жгучей темы! Так не начать ли нам чтение?.. Баритон, садись-ка сюда, за письменный стол!

Когда все утихло и слушатели уселись по местам, я начал чтение.

В последних числах февраля гастроли нашей труппы кончились.

В антрактах прощального спектакля публика устроила овации Батьке, всей труппе и хору.

В заключение шел классический водевиль с моим участием. Я был в ударе, партнеры мои старались превзойти друг друга, действие шло под хохот переполненного театра. Публика долго не отпускала нас со сцены, бесконечно вызывая и аплодируя.

Утром вся труппа собралась в фойе театра для окончательного расчета, получения жалованья и выяснения дальнейших гастролей в весеннем сезоне.

Оказалось, что огромная труппа отныне разделялась на две: Бурлак, женившись на овдовевшей Левковской, решил отделиться от Батьки и начать свое собственное дело.

Теперь он, как распорядитель прежней труппы, сидел за кассовым столом и выдавал всем заслуженное жалованье.

Когда я подошел за получкой, то узнал, что за вычетом авансов мне не причитается ни копейки.

Стоявшие вокруг актеры засмеялись.

— Аккуратно!

— Никто никому!

— Виют витры!

— Если будете служить у меня, можете получить аванс! — добродушно сказал Бурлак. — Должен сказать, что вы были бы очень желательны для нас и, конечно, на повышенном окладе! Я первый заметил ваши способности, выдвигал вас!

Повидимому, антрепренеры нуждались в актерах.

Я поблагодарил и отказался.

— Значит, с Батькой покончили? — ревниво спросил Бурлак.

— Нет!.. По болезни горла хочу отдохнуть!..

— Ну, что ж! Поправитесь — пишите! Место в моей труппе для вас всегда найдется!

Я попрощался с ним и отошел от стола.

В фойе было шумно. Актеры, музыканты, хористы и хористки толпились в обширной комнате и разговаривали группами: злобой дня было — кто в чью труппу попал.

Я стоял один у окна и раздумывал о своей даль-

нейшей судьбе. Денег не было ни копейки. Чтение пьесы произвело на клочковцев самое благоприятное впечатление: все тогда галдели, как пьяные, уверяли меня, что если пьеса попадет на сцену, то принесет автору славу и большие деньги, но вместе с тем признавали, что «устроить» хорошую пьесу гораздо труднее, чем написать ее, даже труднее, чем пристроить плохую. Противодействие хорошим пьесам оказывают плохие драматурги, сплоченно пристроившиеся к театру и благодаря связям, знакомствам и прочим махинациям уже имеющие «имя». Вот если бы и у меня было имя, тогда — другое дело...

В конце концов решили послать пьесу инкогнито, под псевдонимом, на открывшийся конкурс театрального общества: там драматурги выступают без имени, как некогда рыцари выступали с опущенным забралом на турнирах, открывая свое лицо только после победы. Если пьеса и не попадет на сцену, то по крайней мере может получить денежную премию, а премированная пьеса все-таки имеет некоторые шансы быть поставленной.

Выслушав эти наставления, я хотел взять рукопись и вышвырнуть в форточку, но Козьма отнял и ушел, говоря, что он сам пошлет ее на конкурс. С тех пор прошло около трех месяцев, а я так и не знаю и знать не хочу о судьбе моей пьесы.

Подошел Сашка-парикмахер и, вынув из кармана поддевки четыре пятишницы, сунул их мне с мрачным видом.

— На, чорт, вышлешь после! С хозяином расчелся — ни чорта тебе не пришлось! А я аванс взял, с Бурлаком покончил на тенора-любовника! Мой брат с моей женой — уезжают: туда и дорога!.. Пить брошу и баста!.. Работать начну! А ты что же? Никуда не покончил?

Я принял деньги, пожал ему руку, сказал рассеянно:

— Спасибо, Саша! Я — никуда!

— Эх, ты-ы! — нахмурившись, ворчал он. — А я-то думал, что ты звезды будешь хватать с неба! Выдвинулся на сцене так быстро, с таким успехом, да вдруг задурил и все бросил!

Я рассмеялся, обнял юношу и, ни с кем не прощаясь, направился к выходу.

В дверях столкнулся с Батькой в солидном европейском костюме. Он широко улыбнулся, неожиданно протянул мне свою большую, мягкую лапу.

— Здравствуйте! А я вчера в первый раз видел вас в этом водевиле! Жалею, что не видел прежде! Такой отделки роли увидеть у молодого, начинающего—не ожидал! Вам следует работать над собой! Желал бы иметь вас в моей труппе! Вы еще ни с кем не покончили?

Батько вытаращил глаза, и широкая улыбка тотчас же сплыла с его жирного лица, когда я объяснил, что по болезни ухожу со сцены!

— Жаль, очень жаль! А я было рассчитывал на вас... Ну, что ж, отдохните, полечите горло, а потом — возвращайтесь!

И уже с некоторым холодком пожав мне руку, великий артист зашагал вперед большими, тяжелыми шагами.

Я поровнялся с группой хористок, хотел было попрощаться с ними; заметив Бэллу, следившую за мной глазами, прошел мимо. Уходя, чувствовал, что все они смотрят мне вслед. Накинув в шинельной бурку и папаху, очутился у подъезда театра. Позади кто-то хлопнул дверью: оглянулся — вслед за мной шла Бэлла, без верхней одежды, с открытой головой. Черные вьющиеся волосы двумя локонами падали на матовые, смуглые щеки. Она была попрежнему хороша, и дразняще-привлекательна. С момента нашей ссоры я ни разу не видел ее.

— Ах, вы все еще тут? — сказала она с небрежным удивлением. — Кого вы дожидаетесь? Прошли мимо меня и не попрощались? Ведь мы, кажется, друзьями прежде были?

— Извините! — взволнованно ответил я, пожимая ее протянутую руку. — Я думал, что вам не до меня!

— Ах, мне всегда было до вас! — губы ее задрожали. Она прижала свои маленькие ладони к заалевшим щекам. Долгим, умоляющим взглядом посмотрела мне в глаза. — Я понимаю, вы из-за меня уходите из труппы, ссорились, дрались и в море топились тогда... Оскорбила я вас сгоряча... теперь знаю, что вы защи-

щали меня, но были оклеветаны... Я всему причиной! Вы и теперь любите меня и ненавидите!..

Она грустно и вместе торжествующе улыбнулась.

Я тоже улыбнулся, пожав плечами.

— Полноте, никогда я не собирался топиться из-за вас!

— Ах, опять! Не будем спорить на прощанье! Время все примиряет! Мне тяжело видеть, что вы уносите в душе такую вражду, такую горечь!

Голос ее прервался, она глубоко перевела дыхание.

— Расстанемся мирно: ну, пусть дразнила, пусть мучила... но моя судьба... я уезжаю... в Ташкент — к мужу! Все кончено!

Бэлла не могла больше говорить: крупные слезы катились по ее щекам, но я не мог понять, о чем она плакала. Не чувствовал к ней ни вражды, ни любви: только жалость невольно шевельнулась к этой несчастливой и гордой женщине с запутанной, изломанной жизнью.

Хотелось простить ей все зло и мучительства, которые она мне причинила, сказать ей искренние, сердечные слова, готовые сорваться с языка. Но я сдержался: с наружным спокойствием, без слов, почти холодно пожал ей руку.

Бэлла так и не узнала об этих моих добрых чувствах к ней. Вероятно, я показался ей суровым и бесчувственным, злопамятным человеком, не забывающим и не прощающим обид. Она попыталась было что-то сказать, но не могла.

Да и о чем было говорить? Наши пути разошлись: наша любовь, если она только была, больше походила на ненависть, на борьбу двух несходных характеров.

Спустившись с широких ступеней подъезда, я крикнул извозчика. Отъезжая, оглянулся: Бэлла все еще стояла на прежнем месте. В последний раз кивнул ей головой и завернулся в бурку.

В коридоре «Палэ-Рояля», около моей двери, прохаживались две тени: высокая, видная фигура Козьмы и бегающая, приземистая фигурка «Старика».

— Что случилось? — удивился я их неожиданному визиту.

— Новость!

Я отпер дверь, и мы гурьбой вошли в мой маленький номеришко.

Друзья заговорили разом:

— Твоя пьеса...

— Пьеса?.. Что случилось с ней?

— Удостоена первой премии!..

— Две тысячи рублей!

— Принята к постановке в Михайловский театр!

Хохоча, они начали плясать и тормошить меня, кружась по комнате. Вынули письмо, махая им перед моими глазами. Потом Козьма громко и торжественно продекламировал его содержание. Это было официальное извещение театрального общества: меня приглашали за получением причитавшихся мне двух тысяч!

— Сейчас же летим в банк! Не отпустим ни на шаг!

— Оттуда прямо в ресторан Палкина!

— Эх, давно я не пьянствовал! — волновался Козьма. — Главное, пьеса — боевая, зажигательная — будет поставлена! Пройдет по всей стране! Ах, чорт возьми!

Мы спустились по лестнице и вышли на подъезд. Друзья мои еще заранее, прежде чем попасть к Палкину, авансом казались пьяными, у меня же дрожало сердце: я был ошеломлен.

Козьма махнул рукой: с угла подлетел рысак с медвежьей полостью.

Мы все трое, смеясь, галдя и размахивая руками, полезли в сани. Красавец-лихач шевельнул мягкими вожжами, и мы с бешеной быстротой понеслись в серебряном вихре морозной пыли, сверкавшей в лучах веселого, по-весеннему сиявшего солнца, словно нарочно в этот день проглянувшего из вечного тумана призрачно-фантастического Петербурга.

X

Весь следующий день я провел дома, читал газеты и письма.

Дирекция театра приглашала на предстоящее первое чтение пьесы. Постановка намечалась на осень. Редакции просили дать интервью.

В нескольких газетах в отчетах о конкурсе хвалили мою пьесу.

Со мной обращались, как с новым писателем, легко и быстро вошедшим в литературу. Как-то не верилось в серьезность этого внезапного приключения, почти недоразумения. Что, если пьеса провалится? Почему ее сразу, как бы на лету подхватили? Зависит ли это от ее литературных достоинств или только от совпадения с политическим моментом? Положим, что за три года актерства я ознакомился с техникой сцены, писал и обрабатывал пьесу долго, и что, наконец, чорт возьми, у меня, должно быть, все-таки развился какой-то литературный талант. Все это очень может быть. В личной моей судьбе начинается новый, совершенно неожиданный этап. Но почему-то все это совсем не увлекает, не радует: наоборот — налагает страшную ответственность! Меня как бы насильно тащат куда-то, а я внутренне упираюсь, как прежде, перед первым выходом на сцену. Гораздо больше нравится мне общество клочковцев. Хочется попасть в рабочую среду, участвовать в живой жизни.

Мне вспомнилось что-то забытое, чего до настоящего момента не мог воскресить в памяти: когда я заснул на борту парохода, мне снилась далеко-далеко на дне моря Валентина, манившая меня за собой. Это и было причиной в полусонном состоянии прыжка моего в море. Все эти годы образ любимой сопровождал меня. Она перестала быть для меня реальностью: стала фантастической тенью оборвавшейся любви. Я мечтал вернуться к Валентине по окончании путешествия, когда добьюсь чего-то в жизни, может быть, славы. Что ж! Деньги есть, я могу поехать в Грай или в тот город, где жил с клочковцами, встречался с девушкой, сочиняя для нее стихи и сказки, где любил впервые. Но я же знаю, что не найду нигде Валентины. В Грае нет никого из тех людей, которых знал я, как нет клочковцев на Клочковской улице. Не живет Валентина в милом, старом сером домике, едва ли даже существующем теперь. Тогда мы не понимали, что нашли друг друга. Мы, как дети, играли в прятки и вот спрятались так хорошо, что потом

больше не встретились. Мне на минуту представились сумерки весеннего дня, погасшая луна, погасший свет в окне серого дома и сам я, молча из мрака простирающий руки.

Прощай навсегда, Валентина, моя юношеская чистая любовь, вечная греза, сопровождавшая меня так долго! Может быть, ты уже утратила прелесть твоей красоты, но в снах моей души еще долго будешь всплывать из прошлого, как Беатриче Данте, все такой же юной, как была!..

Совсем смеркалось, когда в мою дверь постучали: в комнату, не снимая пальто, быстрыми шагами вошел Козьма: лицо его было очень серьезно и озабоченно.

— Ну, что — есть новости?

— Новостей много! — сказал он, тяжело опускаясь в кресло. — В университете студенты вместо слушания лекций устраивают сходки, говорят речи!.. Во всех остальных высших учебных заведениях дело обстоит приблизительно так же! Молодежь волнуется!.. Но что очень важно — взволнована вся общественность, и что еще важнее — рабочие! Уже решена и назначена общая демонстрация у Казанского собора с участием делегаций от рабочих! Понимаешь, чем это пахнет?

Козьма выразительно посмотрел мне в глаза, крепко сжав губы и сдвинув брови. Прекрасный белый лоб его прорезала тонкая морщинка.

— Только бы им удалось целыми пробраться на Невский!.. Говорят, будут применены исключительно суровые меры! Весь город в тревоге!

Он помолчал, побарабанил пальцами, вздохнул. Потом встал и, шагая по комнате, заговорил, понижая голос:

— Сегодня в литературном кружке состоится чрезвычайное собрание, будут все литературные силы и общественные деятели! Публики навалит — миллион! Пойдем и мы! К восьми часам!..

День был солнечный, весенний, какие в марте иногда бывали в Петербурге. Солнце горело на куполах церквей и окнах стройных дворцов. Снегу давно уже

не было, мостовая Невского была суха, как летом. В воздухе пахло сырым, весенним ветром.

Еще с утра весь Петербург знал, что демонстрация окончательно решена, и, конечно, гораздо раньше об этом знали те, кому надлежало принимать против нее «меры».

Ожидались студенческие «беспорядки», но в таких серьезных размерах, с таким поголовным участием всей мужской и женской молодежи всех высших учебных заведений столицы, какой еще никогда не происходило на Невском. Не в студентах было дело: за студентами стояли рабочие, вся страна, вся общественность. «Власть имущие» на всякий случай приняли предупредительные меры, и все-таки слухи о предполагавшемся выступлении рабочих не прекратились.

Невский имел в это утро необычайный вид: по тротуарам густой волной шла толпа, почти сплошь состоявшая из студентов и курсисток: ей не было ни начала, ни конца, она покрывала собою всю улицу, насколько можно было охватить глазом. Вторая волна, следовавшая за первой, состояла из людей более старшего возраста, не принадлежавших к учащейся молодежи. И, наконец, из переулков врассыпную, мелкими кучками стали сгущаться около сквера и ступеней собора люди рабочего облика.

Клочковцы стояли, прижатые к изгороди сквера, и ждали появления рабочих колонн со знаменами, но они так и не появились: вероятно, им преградили путь при выходе из рабочих поселков и предместий.

По мостовой Невского мчались взад и вперед одни и те же экипажи. Место около городской думы, сквер против собора и колоссальные ступени храма — все было покрыто гудевшею, как улей, толпой. Около колонн портика она сгрудилась. С Невского было видно, что там произносились речи... По временам толпа жужжала сильнее обыкновенного, и вдруг над ней, струясь, как широкие потоки крови, затрепетали, колыхаясь, как пламя, красные знамена. На самом большом из них издали можно было разобрать крупные золотые слова: «Долой самодержавие!», засверкавшие на одной из величайших улиц мира.

В это время из переулка неожиданно выехало казацкое войско. На красивых конях золотой масти, в ярко красных картузах набекрень, без козырьков, с короткими ружьями за спиной и бряцающими саблями сбоку.

Это были наподбор молодые силачи, краснощекие, бравые блондины одного типа и роста, с мягкими, золотистыми, молодыми усами и веселыми глазами. Я стоял ближе всех к мостовой, и войско ровною, медленной рысью проехало близко около меня.

Казаки переехали Невский и выстроились около сквера, перегородив собою улицу.

Едва они успели это сделать, как с другой стороны, из другого переулка выехала новая сотня всадников — в синих картузах набекрень. Эта часть казацкого войска состояла из брюнетов. Они перегородили Невский с другой стороны. Вслед за ними стали прибывать эскадроны всадников в медных шапках и панцырях поверх длинных шинелей, сидевшие на крупных лошадях дымчатой масти.

Площадь наводнилась всадниками в красных и синих картузах, в медных шлемах: их передвижения совершались, очевидно, по заранее обдуманному плану: собор, сквер и прилегающая к ним часть Невского были окружены и отрезаны от остальной многотысячной толпы.

Затем публику начали оттеснять лошадьми и нагайками. Всадники въезжали на тротуары, взмахивая плетьми и напирая на людей: началась давка и очищение Невского.

Между тем, часть демонстрантов, заключенная в кольцо войск, сгрудилась к ступеням собора, густо покрытым кричащей толпой, над головами которой вились красные знамена: там происходило что-то непонятное — крики сливались в дикий, исступленный вой.

Казаки выстроились лицом к собору. Офицер скомандовал, и вслед за командой всадники с лязгом выхватили сабли из ножен. Раздалась вторая команда, и конница с места в карьер вдруг бешено, всею массой понеслась к собору. Всадники мчались в атаку с поднятыми кверху саблями.

На ступенях собора началась схватка, в воздухе мелькали нагайки, крик толпы усилился до последнего предела. Колыхавшиеся из стороны в сторону алые знамена опускались все ниже, наконец, они рухнули,— и на мраморные высокие ступени въехали на конях люди в красных и синих бескозырках, с обнаженными, сверкающими саблями, которые то опускались, то поднимались снова.

— Это они плашмя бьют! — объяснял мне Козьма, видя мое волнение. Но, кто их знает? Могут и рубануть кого!..

Вся наша клочковская группа — Козьма, «Старик», Атаман, Виктор, Люба, Ефрем, — зажатые в толпе, держались вместе.

Когда казаки начали бить демонстрантов саблями на ступенях собора, лицо Любы дрожало, глаза сверкали: ярая, лютая ненависть пылала в ее больших, красивых глазах, и она, крикнув густым, свирепым голосом раненой тигрицы: — Опричники! Собаки! — рванулись вперед. Виктор с изменившимся, побледневшим лицом крепко схватил ее за руку. Вся толпа, в которой мы были зажаты, кричали как бы в исступлении.

Людское море на Невском, где оказались мы отрезанными от собора, цепь полицейских медленно оттесняла от группы, которую избивали у собора, оцепленную со всех сторон и предназначенную, повидимому, к аресту. Но удары нагайками сыпались и на многих из нас. Полицейские были на больших, тяжелых лошадях, двигавшихся прямо на густую толпу, плотно прижатую к стенам домов на тротуаре. Она отступала под напором звероподобных, тяжелокопытных, рассвирепевших лошадей, на которых сидели тоже рассвирепевшие люди.

Толпа вдруг ухнула и побежала. Около нас на тротуаре стало просторнее и на него въехал на громадном храпящем коне совсем еще безусый парнишка. Замахнувшись нагайкой, он кричал:

— Пошли прочь! Пошли прочь!

— Пес! — грудным альтом закричала Люба, бросаясь навстречу. Удар нагайки с железным наконечником пришелся ей наискось по всему лицу, сразу же залив-

шемуся кровью. Люба упала на каменные плиты тротуара, лошадь наступила ей на грудь...

— Как? Народ бьете? Народ? — взревел громовой голос. — Женщин бьете?

Это Атаман осадил под уздцы лошадь и непонятным — казалось, легким — движением вышиб всадника из седла. Началась свалка...

В аптеке Любу положили на деревянный диван. Люди в белых халатах, наклонясь над ней, перевязывали лицо и грудь, разматывая свежий бинт. Глаза ее были закрыты.

На другой день она умерла в больнице.

После похорон Любы мы все собрались в квартире Виктора. Он был бледен, сумрачен, но сгибался меньше, как будто выпрямляясь. Подле него опять осталась Софья Павловна, занятая домашним хозяйством и детьми — ее сыну было лет одиннадцать. Трехлетняя девочка спрашивала:— А где мама? — Уехала! — Куда? — В Грай! — отвечала Софья.

Казалось, что и не было пережитых лет. Так сама жизнь вновь соединила бывших супругов в качестве старых друзей.

Но не такое наступило время, чтобы можно было замыкаться в личную жизнь. Мы чувствовали себя бодро, отдавая последний долг героической женщине, так рано павшей «жертвой борьбы роковой». Их было много, этих жертв: больницы и тюрьмы не вмещали всех. Сотни рабочих, студентов и курсисток высылались в провинциальные города. Многие из арестованных сидели в тюрьмах или уже шагали в арестантских халатах, закованные в цепи: казалось, что по всей стране был «слышен звон кандальный».

В сравнении с этим синяк под глазом Атамана, который он носил с большим достоинством, вызывал только шутки: мы все вышли из боя с отметинами.

Но никто не унывал и не падал духом. Все чувствовали, что глухая, безмолвная, омертвелая эпоха кончилась навсегда и возврата к ней никогда не будет, как бы ни свирепствовала изнемогавшая реакция.

Весна все-таки шла нам навстречу. Что-то глубокое и непреоборимое стихийно шло по стране: это были только первые, едва заметные колебания обветшалых устоев жизни, этим колебаниям пока еще не было имени, но с них впервые началась великая российская раскачка.

Именно с этих, вначале мирных и невинных «беспорядков» она началась и не останавливалась, а развивалась, как скрытый внутренний пожар, тихо тлевший в закрытом трюме корабля, пока пламя, наконец, не вырвалось наружу и не взорвало не только одряхлевший корабль самодержавия, но и основу его — буржуазно-помещичий строй.

Кончилась и моя оторванность одиноких исканий, почти кандальных блужданий по бесконечным этапам. Путь был найден не только в сознании испробованных сил и способностей, но и в том, что наступила возможность чувствовать себя не бесконечно-малой дробью, но частью стихийно-мощной силы, которая, однажды сдвинувшись с места, не могла остановиться. Надвигалась эпоха первой революции. Впереди предстояло много тяжелой борьбы, за победами еще могли быть отступления, но окончательная победа была несомненной.

1908—1936 гг.

РАССКАЗЫ

КВАЗИМОДО

Было серенькое, пасмурное утро. Бездонная мгла застилала все небо, не пропуская ни одного солнечного луча.

Окно моей комнаты выходило на немощеную песчаную улицу весьма пустынного вида, по которой только кружились давно знакомые мне собаки да торчал знакомый полицейский на углу. Я сел было писать, но мне не работалось, было скучно. Перо вываливалось из рук, и я незаметно очутился на кушетке, служившей мне постелью. Я мог так пролежать целый день, предаваясь бессвязным, бессознательным мыслям и решительно не желая какой-либо помехи этому занятию. Менее всего я был расположен разговаривать с кем бы то ни было.

В это время дверь моей комнаты приотворилась, и в нее просунулось маленькое, сморщенное лицо «бабушки», как называли все старуху, стряпавшую в кухне. Она была маленькая, сухонькая и неутомимая, смотрела на мир жизнерадостными глазами и, хотя ей было семьдесят лет, любила порой посидеть в компании, поплясать и попеть песенки. Она приходилась какой-то дальней родственницей квартирной хозяйке.

— Пишете? — спросила она меня.

С этим вопросом всегда заглядывали в мою дверь все они: бабушка и квартирная хозяйка, которой я был должен, и хозяйкина дочь-невеста, целый день

проводившая в том, что расчесывала перед зеркалом свои белые, замечательно длинные и густые волосы, и если видели меня не пишущим, то укоризненно качали головами.

— А у нас нынче свадьба в кухне будет, — сообщила мне бабушка, — вот бы вам описать, сколько бы смеху-то было.

Меня совсем не интересовала свадьба в кухне, но, чтобы не оскорбить бабушку невниманием, я спросил:

— Какая свадьба?

— Как же? Чай, Кузьма женится.

— Ну?

— Женится. Слава богу, уж все слажено и рукобитье было.

Бабушка стала рассказывать мне о «рукобитье».

Кузьма был еще довольно молодой мужик, квартировавший в кухне. Он недавно овдовел и жил там с четырехлетней дочерью, симпатичным ласковым ребенком с бледным личиком и голубыми печальными глазками. Овдовел Кузьма в деревне, а в город переселился недавно по случаю голода и поступил куда-то на завод за шестнадцать рублей жалованья. Скудость такого заработка нисколько не останавливала его от мысли о новой женитьбе: напротив, вдовое положение до такой степени угнетало его душу, что, помню, на первый день пасхи он, напившись пьяным еще до обедни, навзрыд плакал в кухне о том, что у всех праздник, а у него «без бабы» нет праздника.

Но ему не везло в сватовстве: дело в том, что Кузьма был феноменально безобразен: он был сутулый, неуклюжий, имел рыжие волосы, грубый голос, смотрел, как волк, исподлобья, а его громадный, длинный нос и широкий, лягушачий рот с толстыми губами и кривыми желтыми клыками внушали невольный страх и отвращение.

Характера он был мрачного и злого, ни на кого не глядел прямо, почти не разговаривал, девчонку свою никогда не ласкал, был подозрителен и скуп.

Ему отказали уже две невесты. Каждый раз сватовство начиналось как бы удачно: по голодному времени родные были рады скачать с шеи девку кому попало,

но чем ближе становился день венчанья, тем более возрастало отвращение невесты к безобразному и мрачному жениху. Да и какие невесты! Последняя невеста, отказавшая ему, была простая нищенка, ходившая под окнами собирать милостыню, но и та уперлась и не пошла за него.

Тем не менее свахи, в числе которых действовала и наша бабушка, не унывали и, наконец, сосватали ему третью невесту.

Вечером предполагалась свадьба в мещанско-деревенском духе. Вместо того чтобы, по мысли бабушки, присутствовать на этой свадьбе и описать ее, я решил на весь вечер уйти куда-нибудь.

Дверь снова приотворилась: заглянула сама почтенная хозяйка, солидная женщина с благодушным лицом. На этот раз лицо ее было негодующее.

— Не пишете? — строго спросила она и затем, покачав головой, встала в дверях для разговора.

— Старые-то чертовки что делают,— начала она,— а? Загубили девчонку! Насильно за Кузьму-то выдают ее, седые дьяволы! Им бы только на свадьбе погулять да попьянствовать, а там — живите, как хотите! А какая, кабы вы ее видели, хорошенькая девчонка! Ребенок еще совсем! Плачет, кричит: утоплюсь, удавлюсь! А идет! Да я бы за эдакого страшного и не подумала итти! Наплевала бы ему в чортову-то харю! А уж эту бы бабушку я бы просто растоптала, что она еще на старости лет ввязалась! Тоже и этой поплясать хочется! Тьфу!

— Может быть, еще свадьба не состоится? — возразил я.

— Нет уж! Что уж! Слажено дело! Отдадут! Вы думаете, станет она с Кузьмой жить? — возвысила вдруг голос хозяйка. — Ни за что не станет! Найдет себе какого и уйдет! А с эдаким-то чортом, прости господи, что за жизнь? И страшный-то и злющий-то! Тьфу! Ведь он, говорят, и первую-то жену убил, а женщина была хорошая, девочка-то — вся в нее! Каждый день, слышь, бил за то, что мало любишь! А за что и мало-то любить эдакого демона? Погубили девку пьяницы старые!

Она ушла, продолжая негодовать и развивать свою мысль о Кузьме, недостойном любви. А я остался попрежнему лежать, и течение моих бесформенных мыслей невольно направилось в эту сторону.

«Вот сейчас, — думал я, — встану, возмущусь, вступлюсь и не дам совершиться этой гнусной свадьбе. Гнусной? Да ведь найдется другой Кузьма, за другого Кузьму насильно выдадут. А чем виноват и Кузьма, которого никто не любит?»

И я стал обобщать. Мне вспоминались и другие обыденные факты повседневной жизни, последствием которых являлись преступления. Устранить их нельзя, не устраняя общих условий, их порождающих... Да и что бы я тут мог поделать? Дон-Кихота разыграть? Надоело.

И я не встал и не возмутился. Я продолжал лежать и спокойно философствовать, а к вечеру ушел из дому.

Возвратился я в полночь, думая, что к этому времени свадебный пир в кухне кончится, но я ошибся.

Пиршество состоялось даже и не в кухне, а, благодаря моему отсутствию, в зале, рядом с моей комнатой.

За длинным, накрытым скатертью, столом, уставленным кушаньями и бутылками, сидела большая компания. В комнате, галдя, толкались нарядные, одетые на мещанский лад бабы. Кто-то играл на гармонике, а посреди залы приплясывала, помахивая платочком, принарядившаяся бабушка и пела довольно чистым и почти молодым сопрано:

Приходи, кума, за ледом!
Леду дам!

Навстречу ей, поводя плечами и уперев «руки в боки», плыла молодая баба с красивым задорным лицом, в большой турецкой шали, накинутой на плечи, со стеклярусной сеткой на густых волосах и с хрустальными висячими серьгами в виде огромных капель. Лицо ее задорно улыбалось, глаза лукаво и многообе-

щающе подмигивали мужчинам, сетка на волосах сверкала, а серьги в маленьких ушах, покачиваясь, переливались огненными искрами.

Что-ты-что-ты-что-ты-что!

Припевала она в такт своим каблукам.

Приходи, кума, за ледом!
Леду дам!

Не унималась бабушка.

Что-ты-что-ты-что-ты-что!

— Бабе нельзя денег доверять! — солидно рассуждали в углу пожилые. — Она их сейчас к месту определит и тебя же начнет ругать! Вот я — этта — принес своей две четвертных — н-на! Сам лег на печь. Она их туды-сюды — везде рассовала — нет денег, опять меня ругать! Что лежу, да зачем лежу! Ну, терпел-терпел — надоело мне слушать... Слез я с печи.

«Подвернулось выгодное дело, взялся я ломить: в один месяц заработал сотню. Принес. Отдал. Лежу на печи. Опять та же музыка. Опять нет ничего, опять зачем лежишь. В аккурат входит какой-то барин: «Не вы ли будете господин Квашнин?», а я ему с печи: «Мы! Тебе чего надо?»

«Слышал я, — говорит, — об вас, что мыловарение можете орудовать, так не возьмете ли подряд?»

«Можно. Сколько?» — «Столько». Условились за двести.

«Слез я с печи»...

Из общего гвалта выделяется чья-то протяжная, размашистая песня: это поет лавочник, хорошо знакомый мне, мелочная лавка которого находится внизу, в нашем же доме. Он славится как «песельник», и его пению теперь внимают. Он — маленький, тщедушный, юркий, с бородой, похожей на мочалку. Поверх ватного пиджака подпоясан шарфом. Облокотился, подпер щеку рукой и поет. Голоса у него нет почти никакого; глухие, разбитые звуки, но зато мягкие, согретые теплым чувством: он, очевидно, от природы музыкален, его глуховатый тенор льется складно, ритмично. И поет он все старинные волжские разбойничьи песни,

чрезвычайно интересные по содержанию. В них опоэтизирован разбой: высокие сосны гудят над Волгой в темную осеннюю ночь, «добры молодцы» приносят на высокий берег на скрещенных ружьях окровавленный труп атамана и хоронят его под вой ветра «меж трех сосен над Волгой-рекой»; воспевается заволжская степь, «буйная воля» и «мужик-бурлак». Мотивы этих песен веют богатырским размахом, шириной, силой. Лавочник передает эти песни художественно: странным кажется, что в тщедушной фигуре этого мужичонки каким-то чудом поместилась артистическая душа.

Орел молодой по степи летал...

Поет он с необычайной выразительностью:

По степи летал он, добычу искал...
Не найдя добычи,
В темницу попал...

Ходили слухи, что мои хозяева с дочерью, расчесывающей длинные волосы, с бабушкой и лавочником и со всеми прочими довольно таинственными обитателями нашего дома составляют тайную воровскую шайку, и что хозяйка — атаманша. Правда, кроме меня, тут жили еще два актера из театра, но говорили, что я и актеры, сами того не зная, играем роль громоотвода. Внизу жили какие-то странные личности, исчезавшие иногда вместе с лавочником и несколькими женщинами на две, на три недели. Потом все враз возвращались с деньгами, с тюками материй, которые, впрочем, скоро куда-то исчезали, и начинался разгул. Эти по виду мещане пили водку из серебряных чарок. Иногда в поздний ночной час являлась целая ватага огромных, неизвестных людей и спала, не раздеваясь, на полу в зале. А наутро — никого!

Все эти люди очень мало обращали внимания на молодых, сидевших в переднем углу. Кузьма был в алой гарусной рубашке и суконном пиджаке. Рядом с ним в подвенечном наряде сидела молодая, беленькая, миловидная девушка, с детскими заплаканными глазами. Она была неподвижна, как изваяние, и все время не поднимала опущенных ресниц.

А Кузьма, подвыпивший, мрачно поводил исподлобья осовелыми глазами.

Он уже был чем-то недоволен и по временам, как волк, щелкал своими желтыми клыками. Казалось, он сознавал, что добровольно ни одна женщина не согласится принадлежать ему. Но он хотел быть любимым во что бы то ни стало, он хотел насильно заставить ласкать и целовать себя.

Кузьма с первого же дня после свадьбы стал «плохо жить» со своей женой. С первого же дня в кухне начались драки и скандалы, и ему отказали от квартиры. Он снял где-то неподалеку какую-то нору в подвале. Бабушка время от времени сообщала мне о насилиях, учиняемых Кузьмой над своей женой. Описание этих насилий она всегда заключала фразой: «стерпится — слюбится».

Прошло месяца два. Однажды поздно вечером я возвращался домой, как вдруг из нижнего этажа одного из соседних домов послышался рыкающий голос Кузьмы:

— Я из-за тебя, паскуды, пять целковых в орлянку проиграл! Пять целковых! А сердце все не проходит! Все спущу! Жисти своей решусь! Вогнала ты меня в тоску, ведьма киевская! Ишь, ты, нежности какие! Любить не хочешь? Нет, брат, врешь, люби, коли вышла! Небось, скажешь, что рылом я нехорош? Врешь, буду хорош! Вы, дуры, кого любите-то? Так, шематонов разных, у кого харя хорошая да язык пунцовый! А у кого сердце-то волосами заросло от обид, так того вы не любите, др-ряни вы эдакие! Почему у меня ласковых слов нет? Может, я за рыло за мое сколько обид на веку стерпел! С какой же стати и где я возьму ласковые слова? Нет у меня ласковых слов! Люби так! Должен меня кто-нибудь любить на свете, али нет?

Раздался удар по столу кулаком. Послышались женские всхлипывания.

— Убей ты меня, христа ради! Легче мне в гроб!.. Боюсь я тебя!

— Устя! — с необыкновенной силой и уже без злобы, а с мольбой воскликнул Кузьма. — Устя! Устя! Устя! Во имя отца и сына и святого духа! Клянусь тебе, не буду больше бить тебя! Икону сыму! Не могу я с тобой побоями, хочу добром! Как только вчерась мне сказали, что ты убежала и подушки с собой унесла, то у нас в это время была промывка котла... И как всегда после промывки все собрались и пошли выпить, а меня расшибло. Я не пошел с ними, я к тебе побежал! Эх! пойми ты меня: кабы ты предо мной не топорщилась, растопилась бы моя злоба, как воск, перервался бы я для тебя на работе, по гроб жисти рабом бы твоим стал!

Послышались хриплые, короткие, очень странные звуки, похожие на собачий лай, — это рыдал Кузьма. Он хотел любви. Он требовал и просил. Но, видно, не за что было любить Кузьму.

Утром, по обыкновению, в мою дверь просунулось сморщенное бабушкино лицо.

— Самовар подала. Вставайте!

— Сейчас.

— А у нас беда в нашем квартале случилась: чай, завтра в газете напечатают.

— Что такое?

— А как же? Ведь наш Кузьма-то повесился нынче ночью!

— Неужели? Отчего это он?

Бабушка не спеша объяснила мне:

— Проиграл он пять целковых в орлянку. А скупой ведь он был! Ну, стало денег жалко, пошел в сарай и повесился! Не вынес тоски!

1900 г.

КОМПОЗИТОР

Я шел по набережной мимо одного грязного трактира. Вдруг мне послышалось, что кто-то изо всей мочи крикнул мое имя. Оглянувшись, я увидел в окне толстобрюхую фигуру мясника Сидорыча, моего давнишнего приятеля. Он приятельски осклаблялся, поманив меня рукой, и орал зычным басом:

— Гаври-илыч!.. Гаври-илыч!..

— Чего тебе? — крикнул я ему.

— Зайди на минутку! Дело есть!

Когда я вошел в трактир, то сразу не мог разобраться, так было накурено и так скверно пахло... Трактир, по случаю воскресения, был полон, стоял гул голосов, входили и выходили люди, бегали бледнолицые половые с грязными салфетками, и я остановился на пороге, ища глазами Сидорыча...

— Сюда! Сюда! — раздался его голос из угла. — Иди сюда!..

Сидорыч встал из-за стола, за которым он сидел с кем-то, взял меня за руку и, подведя к собеседнику, торжественно спросил меня:

— Знаешь ли кто это со мной сидит? — и, потрясая вилкой, на которой был кусок сосиски, завопил: — Это — ком-по-ззи-тор!

Сидорыч был уже порядочно пьян. На столе стояла водка с неопрятной кабацкой закуской. Тот, кого Сидорыч назвал композитором, поднял голову и погля-

дел на меня пьяными, добрыми голубыми глазами. Это был мускулистый человек лет около тридцати, с густыми волнистыми кудрями и рыжеватыми усами. Его лицо являло все признаки долголетнего пьянства: оно было измято, с характерными морщинами и мешками под глазами, нос был ноздреват и красен, но черты лица были красивы и выразительны, а голубые детские глаза положительно напоминали мне что-то забытое...

— А ведь мы с вами знакомы были! — произнес он хриплым, пропитым голосом и улыбнулся застенчивой улыбкой. — Органов!

Я был поражен... Несколько лет тому назад я знал Органова, странного, симпатичного юношу с голубыми, наивными глазами. Он тогда ничего не пил и был очень красив, говорил и пел звучным, приятным баритоном, с детства пел в церковных хорах и удивлял меня своими способностями, в особенности музыкальными. Играл на всех инструментах оркестра, выучившись этому самоучкой, превосходно знал музыку и тогда еще писал какие-то музыкальные пьесы и разыгрывал их на фисгармонии, которую сделал сам. Сам же сделал себе и концертную гармонию. Жил слесарным ремеслом, которым занимался дома, квартируя в лачуге на краю города со старухой-матерью. Зарабатывал мало, занимаясь большею частью только починкой самоваров и часов. Зато постоянно сидел за фисгармонией... Из бедной лачуги вечно неслись стройные тягучие аккорды. Его часто приглашали на мещанские свадьбы играть на гармонии. Играл он как артист.

Сидорыч был одним из тех смешных любителей музыки, которые сами ничего в ней не понимают и не имеют слуха. Он не мог спеть ни одной самой простой песни, а между тем замирал от восторга, когда слышал пение или музыку. Понятно было его преклонение перед «композитором».

— Он в тоску может человека вогнать! — хвалил Сидорыч своего собутыльника. — До смерти люблю, когда он со слезой заиграет! Ему, брат, пятьсот целковых за его ноты давали, а он, чудак, не продает!..

— Да ну тебя! — укоризненно прервал его Органов.

— Что же вы не продали ваши сочинения? — спросил я.

— Да так. Не к чему. Денег мне не надо: все равно пропьешь... Пускай после моей смерти возьмут...

— У него гвоздь в башке! — объяснил мне Сидорыч странный ответ композитора. — Он на чем упрется, не собьешь! А ты лучше вот что: сейчас берем с собой бутылку водки и — к тебе. И Гаврилыча возьмем. Ты нам сыграешь. Идет?

— Идет.

Компания была подвыпившая, но Органов всегда мне казался интересной личностью, каким-то человеком не от мира сего, и, кроме того, мне хотелось послушать его игру. Я согласился поехать к Органову. Мы сели втроем на извозчика, причем композитор кое-как прилепился на козлах. Ехать пришлось на самый край города, имевший совершенно сельский характер: тянулись пустыри и заборы, по улице ходили коровы и свиньи, убогие лачуги смотрели печально. Мы, наконец, остановились у одной избы, над воротами которой висела сапожная вывеска.

— Стоп машина! — сказал Сидорыч, слезая.

Через низкие и темные сени мы вошли в мастерскую сапожника, который сидел на низеньком круглом стуле и работал, обнажив по локоть мускулистые руки. Кругом валялись обрезки кожи, колодки и сапожные инструменты. Пахло тяжелым кислым запахом. Он посмотрел на нас исподлобья и ничего не сказал. Встретила нас старуха, одетая по-деревенски.

— А ты бы погодил нынче напиваться-то! — раздраженно сказала она Органову. — Скоро свадьбу итти венчать, все бы сколько-нибудь заработал!

Мы прошли в соседнюю маленькую комнату с одним окном. Там стоял голый стол, три стула, кровать и фисгармония. Пахло все тем же сапожным запахом. Комната отделялась тонкой дощатой переборкой, и было слышно все, что говорили в доме.

— Человека только что в хор приняли, через час ему надо на свадьбу итти, а тут разные пьяницы приходят спаивать, — слышался недовольный голос старухи.

— Пропащий человек! — подтвердил сапожник.

Органов ухмыльнулся.

— Это мой брат, — сказал он. — Сердит он, да ведь мне наплевать... Не пойду я на свадьбу, потому что пьян, все равно денег не дадут, а только оштрафуют. Вы посидите, а я сбегаю в лавочку за закуской.

И нахлобучил картуз.

Едва он вышел, как вошла старуха.

— Неудачный у меня сынок-то! — со вздохом начала она. — Ни к какому делу неспособен, пьянствует! Уж вы, не знаю, как вас, не давайте ему напиваться-то. На свадьбу ему надо итти, все, глядишь, хоть целковый принесет, а житье наше бедное... Наказал господь таким сыном.

— Разве он много пьет? — спросил я.

— Каждый день напивается... Совсем от дела отбился... А ведь слесарь-то какой хороший был!..

Она прибрала немного в комнате и направилась к двери. Я вышел за ней и остановил ее.

— Вы не сердитесь на нас, — сказал я. — Может быть, он из-за нас не пойдет на свадьбу, так вот...

И я сунул ей целковый.

Это произвело на старуху ошеломляющее впечатление... Она вся просияла и совсем переменила обращение. Принялась благодарить и долго допытывалась, кто я такой: мой поступок казался ей удивительным.

— Уж вы извините, батюшка, я ведь думала, что вы такой же шарамыжник, как эти, которые к нему все ходят... Да кто вы такие будете? Из каких вы?.. Да я вам горяченькой картошечки на закуску-то подам...

В это время явился сын, и старуха скрылась. Он положил на стол соленые огурцы и кусок скверной колбасы. Мать подала в тарелке жареный картофель... Сидорыч откупорил бутылку, и мы выпили... Он прищелкивал языком и пальцами и чувствовал приступы музыкального восторга. Наконец, не выдержал и, умильно посмотрев на молодого человека, сказал просительным тоном:

— А ну-ка ты, тово... вальни что-нибудь!

— Надо выпить сначала! — возразил музыкант.

Выпили еще.

Наконец Органов сел к своей самодельной фисгармонии и взял несколько аккордов. Фисгармония была небольшая, но звуки были верные и мягкие. Сколько труда, вероятно, потратил бедный самоучка, чтобы соорудить этот инструмент!

Сидорыч замер в ожидании.

— Что же играть? — спросил Органов, оборачиваясь к нам. — Хотите, Моцарта сыграю? А то из оперы что-нибудь?

— Духовное сыграй! — сказал Сидорыч. — О душе... и слова говори...

— Ладно... я сыграю одну пропорцию концерта «Высшую небес...» Вы его нигде не услышите...

Органов заиграл печальную мелодию... Чистые, жалобные звуки сплетались в благоговейные аккорды и, казалось, улетали к небу... Но они были слишком слабы и беспомощны и снова возвращались назад и болезненно пели о земле, о слезах и страданиях... Низкие басовые аккорды гудели тоже болезненно, тихо и меланхолично... В этих звуках чувствовался какой-то разлад, тихая жалоба на что-то, что-то беспомощное и глубоко печальное... Музыка шла отдельными короткими фразами, которые, вероятно, нужно было петь вдумчиво, вразумительно, вникая в их печальный смысл... И Органов запел как бы про себя фистулой своего болезненно-разбитого баритона:

От многих моих грехов...

Тут он взял аккорд тихий, как вздох, и продолжал, аккомпанируя болезненно-жалобными звуками:

Немощствует... тело...

И, словно после некоторого раздумья и вздоха фисгармонии, добавил более низко и тихо, просто и меланхолично:

Немощствует и душа!..

— О-о-хо-хо!.. — тихонько вздыхал Сидорыч, наливая в рюмки.

Органов имел способность извлекать живые звуки, передавать их настроение. Меланхолия воцарилась в

комнате, и мы с Сидорычем сидели печальными, пока он вдумчиво, с паузами, пел грустные слова, пояснявшие грустную музыку.

— Будет! — вдруг сказал музыкант. — Надо выпить.

— Ах ты, господи! — восхищался Сидорыч, чокаясь. — И как это он может прямо, можно сказать, за сердце человека взять?.. А?..

— А вы своей композиции сыграйте что-нибудь! — попросил я.

— Своей композиции — это на гармонии или на скрипке... Да у меня какая композиция? Вроде старинных русских песен... без слов... У меня до двухсот старых песен на ноты положено... Этих песен уж и не поют теперь... Я собирал...

Он снял с окна концертную гармонь с каким-то особенным устройством ладов и заиграл что-то протяжное, русское, напоминавшее степные, размашистые песни, полные нежности и тоски, но, тем не менее, это не была обыкновенная народная песня: мотив был облечен и обработан в стройную музыкальную форму с удачным сохранением народного духа. Передо мною был один из тех народных композиторов, никому не известных, создающих самые народные песни, до такой степени характер его музыки был сходен с народной музыкой. Для него, вероятно, ничего не стоило выразить свои настроения так, что получалась подлинная народная песня, правильно положенная на ноты. Пусть это были даже подражания народным мотивам, все же от этой музыки веяло такой юношеской свежестью, глубиной и силой, что как-то не верилось, будто душа этого спившегося слесаря могла породить их на свет.

А огромный материал исчезающих народных песен, которым он владел, не представляет ли он, может быть, огромной ценности? Да и сам народный композитор не мог ли сделаться чем-нибудь замечательным, если бы не погиб в засасывающей мещанской среде, никем не понятый и даже сам себя не понимающий? Органов играл, сидя на стуле и прислонившись спиной к стене. По временам он встряхивал густыми кудрями, а голубые глаза загорались каким-то особенным ра-

достным блеском. Казалось, что хмель соскочил с него, и в чертах его измятого лица я вновь узнавал забытый симпатичный образ прежнего юноши с застенчивой улыбкой и прекрасными голубыми глазами. Казалось, что вдохновение, таившееся в душе композитора, вновь одухотворило его преждевременно обрюзгшее лицо и сделало его юным и прекрасным. А гармония пела дрожащими, задушевными звуками. И представлялся тихий летний вечер в степи, безбрежная ширь и даль, чуткая тишина и нежная гармония всевозможных степных звуков; и на этом фоне далеко плыла и уходила в необъятную даль надрывающая душу песня: в ней словно кто-то прощается навеки, рыдает томительно сладким рыданием. И все закончилось тонким, уходящим вдаль, тающим звуком, потонувшим в печальной тишине...

Сидорыч молча вытер слезы и вновь наполнил рюмки. Бутылка быстро убывала.

Я стал говорить Органову, что у него, по всей вероятности, есть талант, что ему нужно заняться собой, бросить пить, уйти из мещанской обстановки и поехать в большой город продолжать музыкальное образование.

Он ничего не ответил. Опять взял гармонь и заиграл всем известный, избитый шарманками вальс.

Но я не узнал этого вальса в его исполнении, столько было в звуках страстной и безнадежной тоски, отчаяния. Лицо его приняло почти трагическое выражение, а голубые глаза потемнели, как темнеет река в хмурую погоду.

Он играл «Невозвратное время».

И вдруг рванул гармонь и заиграл «комаринского». Бесшабашная, неудержимая удаль заговорила в каждом звуке, дразня и подмывая к пляске... Приунывший было Сидорыч поднял голову и начал передергивать плечами, потом притопывать тяжелой ножищей. Темп комаринского все учащался, делаясь все удалее и забористее... Правда, Органов забыл опустить какой-то винт, делавший звуки дрожащими и рыдающими, и мне странно было слышать развеселую плясовую песню, сквозь которую пробивались рыдающие звуки. Но

Сидорыч уже не выдержал, вскочил, распустил руки, как крылья, и поплыл настолько грациозно, насколько позволяла ему его семипудовая фигура.

Потом он топнул так, что все задрожало, и запрыгал на носках, как воробей... В комнате все затряслось.

— Эх, ходи изба, ходи печь! — крикнул он и начал «откалывать» новое колено. Каждая жилка плясала в Сидорыче, на жирном, красном лице сияла блаженная улыбка.

Органов весело потряхивал кудрями и играл все забористее и зажигательнее...

— Сидорыч, не выдай! — покрикивал он.

А сквозь дикое веселье комаринского слышались дрожащие, плачущие звуки.

1900 г.

НЕСЧАСТЬЕ

Антрепренер городского театра и директор цирка имели между собой весьма важный разговор. Они сидели в гостиной антрепренера, весьма уютно обставленной, и обсуждали свои дела. Оба они были маленькие, щупленькие, бледнолицые, дряблые, с тонкими руками и ногами и безобразно отвисшими животами. При разговоре мускулы их лиц нервно передергивались. Физическая дряблость и нервная расшатанность, казалось, нарочно были соединены в них для показания вырождения человеческого рода. У антрепренера было круглое личико, заплывшее бледным жиром, гладко выбритое, кругленькое брюшко с красовавшейся на нем толстой цепью, и коротенькие ножки, которые он то и дело закладывал одна за другую, покачивая носком сапога. У директора цирка было лакейское лицо с оттенком шельмоватости и вместе ограниченности, с узким лбом и беспокойно бегающими бесцветными глазками. Лицо его было увядшее, желтое, нервное и желчное. У обоих на маковке просвечивали лысинки.

В данный момент у них настроение было веселое, они только что покончили между собой какое-то «дельце» к обоюдной выгоде и весело хихикали. Антрепренер хлопнул директора по колену и весело подмигнул ему.

— Хе-хе-хе-хе! — покатывался директор.

— Хи-хи-хи-хи! — вторил ему антрепренер тонким, сиплым голосом.

Вдруг их лица вытянулись. На них выразилось недоумение.

В комнату, откуда-то снизу или с улицы, доносились совершенно непонятные звуки, что-то вроде подземного грома.

— Это что? — спросил директор.

Антрепренер прислушался.

— Это гремят экипажи! — сказал он успокоительно...

— Нет, — отвечал директор, — это кто-то говорит.

Они опять прислушались.

По лестнице необыкновенно тяжелыми шагами кто-то поднимался к передней. Снизу слышался протестующий голос слуги.

Подземный гром делался все яснее.

— Барин не принимает! — раздался встревоженный голос горничной.

И вдруг из передней зарокотал нечеловечески густой голос:

— Н-ну, я подожду, когда примет!

На свете не было еще такого протодиакона, который мог бы так говорить.

Послышался треск сломанного стула. Чувствовалось, что на него опустилась какая-то масса.

В комнату вбежала побледневшая горничная.

— Савва Гордеич, извините! Пришел какой-то страшный. Нейдет, никого не слушает. Стул сломал...

Два толстеньких человечка вскочили со своих стульев.

— Пусть войдет! — пролепетал антрепренер в недоумении.

Обе половинки высокой двери растворились, и все это отверстие заняла колоссальная фигура.

Такой фигуры никогда не видал не только антрепренер, но даже и директор цирка.

Это был молодой гигант, роста не ниже сажени, страшно широкоплечий и даже с наклонностью к толщине. Когда он громадной ручищей стащил с головы дырявый картуз, по плечам его причудливыми завитками рассыпалась рыжая львиная грива.

Лицо его было круглое, довольно свежее, с небольшими рыжими усами и карими глазами, смотревшими из-под густых нависших рыжих бровей.

На нем было короткое истасканное и дырявое пальто, плотно запахнутое, и обтрепанные брюки, из-под которых высовывались исполинские сапоги, совершенно изношенные, без галош, так что видны были громадные голые пальцы его нечеловеческих ног.

По виду этому необыкновенному гостю можно было дать не более двадцати пяти лет.

Он с невольной снисходительностью посмотрел на стоявших перед ним пигмеев и, с поклоном короля, уронил им величественной октавой:

— Здравствуйте!.. Мне нужно видеть господина антре-пренера! — Эти слова выкатывались из него, как кегельбанные шары и внушали невольный ужас слушателям. Его плечи были выше их голов. Пигмеи подняли свои головы кверху и спросили его с невольным страхом:

— А зачем вам?..

— А зачем вам антрепренера? Я антрепренер!..

— Я-а... — вылетела сотрясавшая весь воздух комнаты октава, — я-а, видите ли, а... желаю поступить к вам в тррагики!

Антрепренер отступил в ужасе.

— Боже мой, — прошептал он своему товарищу, — мало еще я видел горя с трагиками! Еще вон какого изверга нелегкая посылает...

И затем, поднимая голову кверху, откуда гудел нечеловеческий голос, пропищал:

— А вы служили на сцене?

— Ни-ког-да! — прогудело сверху.

Тогда антрепренер расшаркался и с обаятельной улыбкой проговорил, наклоняя голову:

— В таком случае я не могу вас принять... Честь имею кланяться.

Но гигант не обратил на его слова никакого внимания.

— Видите ли, — заговорил он, понижая голос и тем еще более сотрясая комнату, так что оба жалких человека чувствовали щекотание во всем теле:

— Я б-бе-дствую!

Это слово нахлобучилось на слушателей, и они почувствовали себя как бы придавленными.

— Отчего ж вы бедствуете? — робко спросил директор цирка.

— От моего ррост-а!

Медленно гудела басовая лава:

— Нигде не пррини-мают... Никаких занятий не могу приискать... Во мне слишком мн-ного силы! Это мое несчастие!..

— Да вы бы... при вашей комплекции... физическим трудом-с...

— Прро-бовал!.. Лому много произвожу... И артель оббижа-ается... Исключили...

— А вон у вас какой голосище. Вы бы в хор или же в капеллу-с...

— Подлости много там... А я справедлив... Был в странствующей капелле-е, покарал капеллана!..

Пигмеи трусливо посмотрели на живописную фигуру и потом друг на друга. Выпроводить, очевидно, можно было колосса только мирным путем...

— Знаете ли... вот счастливая мысль. У вас, извините, такая фигура... Не хотите ли заработать. У меня есть знакомый художник. Он с вас напишет эскиз. Вы будете позировать...

Антрепренер внезапно остановился от грозного взгляда страшного посетителя. Последний тяжко шагнул назад и, трагически ударив себя в исполинскую грудь кулачищем, с чувством произнес в такую низкую ноту, от которой у слушателей поползли мурашки по коже:

— Б-бедн-оо!..

И еще в более низкую ноту:

— Но ч-честно-ò!..

— Чем же я могу помочь вам? — слезливо спросил антрепренер.

— Нет ли у вас, по крайней мере... сса-по-гов?

Антрепренер посмотрел на полуаршинные ступни и отвечал с жалкой миной:

— На вашу ногу нет!

— В таком случае, дайте мне два рубля, — звякнуло

сверху и затем, после паузы, покатилось вниз как в бездну: — За-имо-о-бра-зно!..

Антрепренер засуетился, доставая деньги, и положил два рубля в лопатообразную лапу бедствующего несчастливца.

Тот величественно опустил их в карман и, покровительственно прогудев: «Благодарю», тяжко повернулся к двери.

Вдруг директору цирка пришла в голову мысль.

— Постойте, постойте! — закричал он, побежав за великаном.

Тот через плечо повернул голову, тряхнул гривой и медленно поворотился к директору.

— Что вам? — прогудел он.

— Садитесь, пожалуйста!

Великан покосился на стул и не сел.

— Я — директор цирка! Не хотите ли побороться с моим атлетом? Приз — сто рублей!

Великан подумал, облегченно вздохнул, выпустил из груди массу воздуха и пустил как подземная труба:

— Я согла-а-сен!..

Цирк был набит битком. На громадной раскрашенной афише нарисован был фантастический портрет «любителя-борца», походивший на сухопутное чудовище.

На афише красными буквами обозначалось: «Непобедимый атлет Грабс, боровшийся во всех столицах Европы и имеющий медали отличия, вызван на французскую борьбу атлетом-любителем г. Н.».

И затем более мелким шрифтом было напечатано:

«Г-н Н. обладает громадной силой и имеет росту 2 арш. 15 верш. Победитель получает приз 100 руб.».

Эта афиша привлекла наплыв всевозможной публики. В ложах и переднем ряду была даже аристократия, но в особенности преобладало купечество. В публике попадались видные, мощные фигуры, очевидно, тоже люди, обладавшие силой и интересовавшиеся борьбой. Некоторые из них в антракте бесцеремонно перешагивали через барьер на арену и

пробовали поднять тяжести, предназначенные для Грабса. Первое отделение цирковых представлений, состоявшее из обычных акробатических номеров и дрессировки лошадей, вызвало только неудовольствие публики. Все с нетерпением ждали борьбы.

Наконец, вышел Грабс. Это был известный атлет, громадного роста и с неестественно развитыми мускулами. Мышцы его рук выдавались какими-то безобразными узлами.

Он был загримирован, подрумянен и одет в розовое трико с золотыми блестками. От его фигуры веяло мощью. Он красивою, легкою походкой, как на пружинах, прошел, грудью вперед, через арену и стал в героической позе.

Вслед за ним показалась фигура, невольно внушившая всем ужас и удивление. Г-н Н. был одет в черное трико, обнаружившее его ужасающее телосложение. Он шел тяжко, как громовая туча, как движущаяся гора. Когда он встал против Грабса, по другую сторону арены, Грабс, мощный Грабс, показался всем обыкновенной человеческой фигурой.

Умолкла музыка, на арену вышел член жюри в черном фраке, с бумагой в руках и громко начал читать правила борьбы.

Исполнив свою обязанность, он удалился. Тогда борцы приблизились друг к другу: Грабс легкой походкой барса, а «любитель» походкой каменного гостя. Они подали друг другу руки и обменялись местами.

Затем начали сходиться.

«Любитель» дошел до середины арены и встал, как монумент. Грабс начал к нему подскакивать со всеми приемами французской борьбы. Он сгибался, потирал руки, подпрыгивал, ожидая соответствующих телодвижений.

«Любитель» стоял, как каланча.

Наконец, Грабсу надоела невежественность противника: он подскочил, согнув мощный стан, близко к монументальной фигуре и хотел схватить ее за пояс.

Вдруг «любитель», нагнувшись сверху, ухватил его огромными ручищами поперек тела... Произошло что-то быстрое, непонятное, неожиданное: пальцы Грабса

скользнули по поясу противника, вся фигура атлета поднялась на воздух, и в воздухе мелькнули изящные ноги, обутые в прекрасные ботинки с красивыми застежками.

Грабс был брошен через голову своего противника и с страшной высоты упал на песок боком, но тотчас же вскочил, как мячик.

На лице его было бешенство и ярость.

А победитель флегматично стоял каланчой, и даже не обернувшись назад, повернул только голову через огромное плечо, да несколько прядей кудрявой рыжей гривы свесилось ему на спокойное лицо.

Зазвонил звонок. Грянул гром аплодисментов, галерка ревела, стучала, неистовствовала, в общем диком реве ничего нельзя было разобрать...

Грабс, грозя и жестикулируя, бросился за кулисы, отделенные яркой занавесью. Победитель, не оборачиваясь к ревущей толпе, спокойно и тяжко, громадными и медленными шагами удалился за ним.

За занавесью их развели в разные стороны.

Там в стойлах стояли лошади, пахло навозом, было темно и грязно.

Грабс стоял по одну сторону прохода, великан по другую, их разделяла толпа атлетов в разноцветных костюмах.

— Это чорт знает, что такое! — взвизгивая, закричал оскорбленный атлет. — Он совсем не знает борьбы! Он не поборол меня, я не коснулся лопатками, но я ушибся, чорт возьми! Почему он не хотел репетиции?

— Можно побороться еще! — прогудела громовая нота.

— Нет, я с ним бороться не желаю! — заявил атлет.

Тогда между мощных атлетических фигур мелькнула жалкая фигура хозяина цирка. Все расступились перед ней. Директор цирка во фраке и чулках, с длинным хлыстом в руке, подошел к громадной фигуре в черном трико и, поднимая голову вверх, чтобы видеть лицо исполина, пропищал:

— Вы не можете получить приз, потому что боро-

лись не по правилам и не положили на обе лопатки... Грабс не желает бороться с вами...

— Как? — загрохотал ужасающий голос. — Не могу получить? Это что еще такое? Да я вас всех переломаю! А ты, несчастная личность, благослови свою судьбу за то, что ты слишком ж-жал-лок, чтобы я б-бил такую... к-кар-ракатицу! Посмотри на себя, на кого ты похож?

Великан промолчал секунду и рявкнул трагически:

— На об-безья-ну!

Начался гвалт и скандал.

Через несколько времени громадная фигура в своем рваном костюме и сапогах с выглядывавшими пальцами сидела в буфете цирка за бутылкой пива. Фигуру окружала буфетная публика.

— Д-да! — рокотал феномен голосом, от которого рюмки жалобно звенели на стойке, — Не за-пла-ти-ли, мерзавцы! Отделались пятишницей! О, проклятая моя сила! Мое несчастие! Из-за нее я б-бедствую...

От последнего слова все затрепетало в буфете, а великан печально опустил на громадную грудь красивую голову, украшенную причудливыми, роскошными кудрями.

1900 г.

МИНЬОНА

I

Теплая южная ночь опустилась над живописным приморским городом. На темном, словно бархатном небе, как бриллианты, рассыпались крупные звезды.

Невидимое море бормотало, ворча свои никому непонятные речи. Воздух был теплый и влажный. Ночная темнота казалась наполненной какими-то таинственными тенями, в сонном воздухе чудились тихие вздохи, плыли невнятные, смутные звуки. И город и море были поглощены мечтательной темнотой южной ночи, и было видно только целое море огней, переливавшихся в беспорядке, как золотые искры. Порой по небу двигались, рассекая темноту, громадные лучи, похожие на северное сияние. Огненный меч описывал полукруг через все небо и ударял по морю, мгновенно освещая его до самого горизонта. В этой узкой полосе света серебрилось плескавшееся море, отчетливым рисунком выделялась плывущая лодка или нос неподвижно стоящего на якоре судна. Затем все опять тонуло во мраке: это поворачивали в разные стороны электрический фонарь на военных судах.

К пристани только что подошел огромный морской пароход.

Толпа, хлынувшая по мосткам, казалась не совсем обыкновенной: оригинальные костюмы, бритые физио-

номии и какой-то особый отпечаток беспечности, отличающий профессиональных актеров, сразу бросались в глаза. Это была «гастролирующая» оперная труппа.

Торопясь и толкаясь, они быстро схлынули, и скоро с пристани потянулась целая вереница извозчиков с седоками.

После всех сошли с парохода два молодых актера. Это были, вероятно, хористы. За ними не следовал носильщик с их вещами, и в руках у них не было никакого багажа. В противоположность общей озабоченной суетливости, они совсем не думали спешить и шли с любопытствующим видом туристов. Приятели представляли полнейшую противоположность один другому, напоминая Несчастливцева и Аркашку. Один был очень высокого роста, в высоких сапогах, в папахе и черкесской бурке: в этом костюме он казался громадным, выделяясь из толпы.

Он медленно, с бессознательной важностью шагал своими длинными ногами, односложно отвечая басом на теноровое щебетанье своего говорливого товарища: этот был маленький, кругленький, с коротенькими ручками и ножками и круглым улыбающимся лицом. Одетый в коротенький пиджак, он беспечно заложил коротенькие ручки в карманы брюк и задорно семенил около своего товарища, который казался несколько угрюмым или задумчивым.

— Посмотрите, Шемякин, посмотрите! — волновался тенор, забегая вперед и заглядывая в глаза своему товарищу. — Посмотрите, какой симпатичный город! Сколько огней! Ах, какой дом! И окна открыты! Светит розовый фонарь. Как хорошо, вероятно, в этих комнатах! Как вы думаете, кто там живет? Вероятно, какая-нибудь красавица! Рояль! Вы слышите, рояль, Федот? а?

И он запел сладким голосом:

О, Маргарита!

— Пьеро! — укоризненно басом остановил его Федот Шемякин.

— Ах, Шемякин, если бы вы знали, как я люблю комфорт, красоту, изящество! И как досадно, право,

что вот в этом самом доме, в этой аристократической обстановке живут бездарные люди, которым все это надоело, которым очень скучно! Представьте себе, если бы мы туда попали, в это общество! Мы бы царили там! Все женщины влюбились бы в нас!

— Ну, брат, — угрюмо возразил бас, — не забывай, что нас с тобой туда не пригласят: мы можем только с улицы смотреть на их окна! Наше дело — походы! С места на место!

— А что ж! Приятно тоже и путешествовать, особенно без багажа! Незнакомый город всегда производит какое-то освежающее впечатление! А ведь мы с вами — флегматики. Что для других важно, то для нас пустяки, и наоборот — что для других пустяки, то для нас чрезвычайно важно! Вот, например, эти впечатления, ощущения... ведь это целый мир! В них — жизнь! А внешние условия, это — проза! Счастлив тот, кто умеет находить поэзию жизни!

Они повернули на ярко освещенную улицу. Витрины магазинов и множество гуляющей публики привлекли их внимание. Они вмешались в толпу гуляющих и с любопытством посматривали на все стороны, в свою очередь возбуждая любопытство и улыбки окружающих. Фигура в черкесском костюме всем бросалась в глаза.

— Это артисты! Артисты приехали! — доносились до них отрывочные фразы. Женщины оглядывались им вслед, улыбались, и глаза их светились любопытством.

— Что меня прежде всего интересует по приезде в новый город, так это — женщины! — воскликнул тот, которого другой называл Пьеро. — Помните, Шемякин, как мы восхищались женскими лицами в Харькове и Киеве! Там все украинские и польские типы, а здесь в другом роде, кажется, больше еврейки и караимки... Сядемте где посветлее и будем женские типы наблюдать!

Они уселись на скамейке под деревом, около тротуара, ярко освещенного окнами магазинов. Теперь и их лица стали виднее. Лицо Федота было добродушнейшим лицом деревенского парня, с мягкими чертами, широкими ноздрями и белыми бровями. Глаза —

узкие, серые, наблюдающие и себе на уме. Когда он говорил или слушал, брови его взмахивали или сдвигались, придавая лицу то или иное выражение. Было ему, вероятно, лет двадцать пять.

Пьеро казался моложе, подвижнее и красивее аляповатого и слегка неуклюжего баса: это был хорошенький брюнет с тонкостью в очертаниях выбритого, круглого, юношески свежего лица.

— Ты легкомыслен, Пьеро! — бархатным, приятным баритоном говорил Федот, посматривая прищуренными глазами из-под своих подвижных белых бровей на текущую мимо толпу. — Тебе каждая женщина нравится, а мне — одна из тысячи. Я люблю только один тип, который чрезвычайно редко встречается, — тип поэтической женщины! Понимаешь ли, какая она? Это — среднего, даже немножко выше среднего роста, брюнетка или шатенка, чрезвычайно пропорциональная, с особенной, этакой, понимаешь ли, походкой, такой легкой, сдержанной и скромной, с какой-то этакой музыкальной, стройной походкой, с грустным, серьезным лицом, в котором есть какая-то трагическая черточка, с глазами, из которых смотрит глубокая женская душа. Понимаешь — это тип оперной Миньоны!

Такую женщину я могу узнать еще издали, еще не видя ее лица, по грациозности ее фигуры, по легкости походки, по вкусу, с которым она одета, по красному цветку в черных или только темных, но непременно густых волосах или на шляпке, которая всегда удивительно идет к ее лицу и прическе.

Равнодушный ко всем остальным женщинам, я прихожу в волнение при одном ее приближении. К подобного типа женщинам я чувствую какое-то магнетическое влечение. И представь себе, что, как назло, не представляется возможности даже и познакомиться с такой женщиной: она всегда промелькнет в жизни, как что-то случайное, неуловимое. Иногда встретишь Миньону на улице, в толпе... Так бы, кажется, и побежал за ней, подошел бы к ней, рассказал ей все, открыл всю свою душу, но она уже исчезла, и сколько ни ищи ее потом — не найдешь никогда. И несколько лет не встречаешь в жизни чего-нибудь подобного, живешь воспо-

минанием о ней и тщетно стараешься воспламенить себя к окружающим женщинам: фальшь видна сразу и холод сердца заметен для всех. И живешь скучно и одиноко до тех пор, пока снова не промелькнет где-нибудь ее таинственный образ.

Женщины, окружающие нас с тобой, мелочны, скучны и прозаичны, так что человек с эстетической душой чувствует к ним ледяное равнодушие. Вот почему осуждены мы на вечное одиночество сердца! С возвышенной душой — и мы только презренные хористы, мы живем среди всякого сброда, где нет поэтических женщин, столь близких нашей натуре. Как скучна жизнь без них! Сколько энергии, силы, вдохновения, талантов обнаружил бы я для нее — этой таинственной Миньоны! И мне надоело, наконец, издали любоваться на нее. Я с ней заговорю! Вот встречу на улице и — заговорю!

— И получишь по морде!

Приятели рассмеялись.

В это время мимо ярко освещенного окна прошла молодая девушка. Свет упал на ее лицо, которое было так поражающе красиво, что оба они остолбенели: это была фантазия художника, мечта поэта, сон... Античная правильность очертаний лица, облитого тонким золотистым загаром, громадные черные глаза, опушенные мягкими ресницами, тяжелые волосы цвета воронова крыла, на которых трепетала свежая темнокрасная роза, и необъяснимо грациозная походка — все это так поразило молодых людей, настроенных своим разговором, что они разом сказали друг другу: «Она!»

Красавица вздрогнула и уронила перчатку.

Федот быстро поднял ее и, подавая девушке, загородил ей дорогу.

— Миньона... — прогудел он смущенно.

Она поблагодарила его грациозным кивком и пошла далее. Федот последовал за ней. Он догнал ее и заговорил, волнуясь, торопливо и сконфуженно:

— Простите мою дерзость, что, не будучи знаком с вами... Умоляю вас, выслушайте меня...

Маленький тенор, с любопытством следивший за этой сценой, более ничего не мог расслышать. Он

только видел, что красавица не дала Федоту «по морде», а спокойно шла рядом с его высокой фигурой. Через минуту они исчезли за толпой.

Тенор запустил руки в карманы, посмотрел им вслед, посвистал и пропел иронически:

— На-ча-ло есть!..

Затем он принялся рассматривать ярко освещенные окна магазинов.

II

Октябрьское утро было великолепное, какое бывает только на юге. В хорошеньком сквере, разбитом около театра, в девять часов не было ни души. Деревья южного климата зеленели, как весной, и грядки цветов, только что политых садовником, распространяли аромат в свежем утреннем воздухе.

Федот в своей черкесской бурке и папахе нетерпеливо бродил по дорожкам. Красавица сама назначила ему свидание в сквере, так он был вчера красноречив. Он заинтересовал ее. Это еще совсем молоденькая девушка. Удивительно красива.

Никогда еще хорист Федот Шемякин не желал так страстно известности и славы, как теперь... Хоть бы один раз в жизни, но непременно теперь, выступить в какой-нибудь партии перед Миньоной. Она бы тогда узнала, что такое Федот. Он чувствует, что мог бы затмить многих известных певцов, лишь бы ему дали дебют. Он знает наизусть все партии во всех операх, помнит партии каждой скрипки и каждой трубы в оркестре, ноты читает «с листа» и не смутился бы выступить хотя бы в партии «Мефистофеля»! Мало того: в его душе давно уже зреют какие-то смутные грезы о пересоздании всех этих старых оперных образов, о появлении великого артиста Федота...

Но никто в труппе даже и не подозревает, что за гусь этот самый Федот: думают, что это — только медное, неутомимое горло, покрывающее весь хор, что это — только необъятные легкие, могучие, как кузнечные меха... Только! Но он «им» покажет! Лишь бы дождаться удобного случая...

Вдруг на дорожке показалась Миньона. На ее синевато-черных волосах трепетала еще влажная темнокрасная роза, темное платье было с темнокрасною отделкою. Это сочетание темного цвета с красным удивительно шло к ней. Ее свежее, золотистое лицо настоящей южанки дышало здоровьем, черные глаза, напоминавшие Федоту южную звездную ночь, блестели.

Федот затрепетал при одном ее приближении. Он поспешил ей навстречу.

— Здравствуйте, — сказала она своим певучим голосом, протягивая ему крохотную ручку, затянутую в черную перчатку. — Ах, как я устала! Торопилась очень! Сядемте!

Они сели на скамейку. Кругом пестрели роскошные, благоухающие цветы, и сама Миньона благоухала и цвела, как они. Картинная фигура черкеса, вся в серебре, как нельзя более гармонировала со всей обстановкой свидания.

— Вы меня очень интересуете! — сказала она, украдкой взглядывая на него своими пламенными глазами.— Никто со мной еще так не говорил... Расскажите мне что-нибудь о себе, о сцене... Для меня это — совсем неведомая жизнь! Скажите, неужели вам не надоела она, такая беспокойная, бродячая?.. Вы любите сцену?

Федот сразу воодушевился.

— Люблю ли я сцену? — заговорил он своим сдержанным, бархатным голосом, то сдвигая, то поднимая свои широкие белые брови. — Люблю ли сцену? Да я без ума от нее! Я мечтал о ней с детства. Я перепробовал много всяких занятий и везде чувствовал себя не на своем месте, до тех пор, пока не попал на сцену! Я люблю ее страстно, я наслаждаюсь ею, и мне все равно, чем бы ни служить ей: окажется у меня талант — я буду, может быть, большим артистом, не окажется — останусь тем, что я есть, пропадет голос— я буду ламповщиком, — но только бы мне быть на сцене, только бы служить ей, этой красоте... Раз в человеке есть хоть искра любви к искусству и раз этот человек попал на сцену — кончено. Он на всю жизнь становится рабом сцены, и для него легче сойти в

могилу, чем сойти со сцены! В жертву ей он приносит все. Он готов переносить всю непрочность и необеспеченность жизни актерской, жизни скитальческой, цыганской и закулисные дрязги, и всевозможные неудобства и страдания, которыми изобилуют внешние условия его жизни! На все это он закрывает глаза, все это приносит в жертву тому наслаждению, которое он испытывает на сцене!

— А вы... играете какие-нибудь роли? — спросила Миньона, опуская глаза и крутя в пальцах темнокрасную розу.

Федот мучительно покраснел и смущенно улыбнулся.

— Нет еще... То есть один раз выходил сватом... но неудачно...

Он вздохнул.

— Отчего же?

— Да неосторожно сел на кончик длинной такой скамьи на сцене... Скамья взвилась — и я того... упал! Вызвал смех в публике...

Миньона звонко рассмеялась.

— Ах вы, бедный, право! Голубчик вы, милый какой, непосредственный! За что же вы так любите сцену?

Федот быстро оправился и с прежним увлечением стал говорить о сцене и о том, за что он ее любит. Это ничего, что он был неловок при первом выходе: он слишком сильно хочет быть ловким — и будет таким, понадобится быть изящным — он будет изящным на сцене. Потребуется взять ноту, которую он взять не умеет, — он ее возьмет, он выучится этому на сцене же! Воля, — вот главное, а сила воли дается любовью...

И Федот рассказал ей о своем влечении на сцену с детства, о своих мечтах, о своих скитаниях... Рассказал зачем-то всю жизнь. Еще в ранние годы нужно было кормить стариков — отца и мать, воспитывать маленьких братьев и сестер, но он их бросил и ушел... Словно звезда какая-то светит ему и ведет куда-то. Отец спился, мать умерла в нужде, чуть ли не с голоду. Его душа разрывалась от любви и жалости к ним, но не уступил он им, весь охваченный одною целью, одним призванием — сценой!..

Федот был положительно красноречив, почти вдохновенен, когда рассказывал Миньоне о своих страданиях. Даже простое, типично русское лицо его стало интересным от постоянной смены выражения. Бархатный голос очаровывал. Миньона, казалось, внимательно слушала, но потом вдруг спросила, почти прервала его:

— А вы, конечно, хорошо знакомы с вашим знаменитым тенором, который завтра поет Фауста?

Федот несколько смутился:

— Ну, да, знаком... А что?

— Скажите... меня это интересует... Какой он? Хороший? Интересный? Умный?

Федот замялся: знаменитый тенор был известен своею глупостью, чванством, малограмотностью и некрасивыми похождениями по любовной части. Федот искренно презирал этого человека. Но что-то остановило его отозваться так об артисте.

— Да, он интересный...

— И хороший? Ах, я так и знала! Я была в этом уверена!.. А та маленькая певица, говорят, его жена?

— Да, жена...

Миньона нахмурилась.

— Мне она не нравится! — враждебно сказала девушка. — У нее вот такие поднятые брови, идиотское лицо!..

И она сделала очень похожее, но смешное лицо маленькой артистки.

— Я бы хотела завтра побывать за кулисами... в антракте... Я никогда не видала... проведите меня! — нежным голосом сказала Миньона и, просительно улыбаясь, положила свою бархатную ручку на его большую руку. Взгляд ее лучистых, ласкающих глаз обжигал простое сердце Федота.

— Хорошо, — обещал он, — я вам это устрою... Вы будете в театре? Хотите, я вам достану ложу?

— Достанете? Прелестно! Я буду в ложе. А теперь — пока расстанемся: мне пора! Не провожайте: мне неудобно, чтобы кто-нибудь меня увидел с вами...

Они простились, улыбаясь друг другу. Миньона быстро исчезла за деревьями, оставивши после себя тонкий аромат духов.

Федот остался сидеть на скамейке и долго мрачно смотрел на садовую дорожку, усыпанную желтым песком, на едва заметные маленькие следы ее ног.

III

Случилось так, что Мефистофель внезапно заболел накануне самого спектакля. Хотели было отменить «Фауста» и поставить другую оперу, потому что некому было петь Мефистофеля.

Но такого случая давно уже ждал Федот и заявил о своем желании выступить в этой ответственной партии.

Сначала ему было не поверили. Но потом, ради пробы, позволили выступить на репетиции. Федот изумил всю труппу; свободно и легко лился его гибкий, самой природой поставленный голос. Знатоки заметили необыкновенную ритмичность и музыкальность в его пении. Успех был уже на репетиции. Неуклюжий Федот перевоплотился в Мефистофеля и сам не знал, как это сделал: ему казалось, что перевоплощение — дело самое простое. Он только ухмылялся, когда его спрашивали, как это он делает. В его сердце царила Миньона, ее милый образ неусыпно витал перед ним, ее бархатные глазки, как две путеводные звездочки, ласково и тепло ободряли его, сияя и смеясь.

И Федот делал чудеса. Бас был безумно влюблен, и в этом заключалась тайная причина того мощного подъема и заразительного вдохновения, с которым он пел. Он чувствовал необыкновенный прилив сил. Как в сказке, он вырос в собственных своих глазах, и ему казалось, что для него нет ничего невозможного, потому что на свете есть Миньона — прекрасная, поэтическая, гармоничная, как музыка, Миньона — вдохновительница, для которой одной льется его пение и всеми струнами звучит его молодое, сильное сердце, впервые пробудившееся для любви...

Федот любил, Федот развернулся.

Вечером на спектакле он превзошел самого себя, превзошел все, что от него ожидали. Высокая, мощная

фигура, своеобразный, художественный грим и великолепный, гибкий, светлый голос бархатного тембра, могучий темперамент, — все это сразу же ошеломило публику, опечаленную было анонсом о болезни «настоящего» артиста.

Мефистофель затмил самого Фауста, знаменитого слащавого тенора, издавна щеголявшего своим сладострастными «pianissimo».

Для всех было ясно, что на сцену пришел новый несомненный талант, восходит новая звезда.

Рано утром вся труппа была уже на пароходе. Восходящее солнце обещало светлый, теплый день и красноватыми лучами освещало спокойное море и пробуждающийся город.

После всех явились на пароход Федот и Пьеро. Они не спеша рассчитывались с извозчиком и, смеясь, взбирались на пароход.

— Скорее! — кричали им хористы. — Уже два свистка было! Только вас двоих и ждут, флегматики проклятые!

— А нам какое дело? — отвечал им Пьеро, поджав одну ножку и перевертываясь на другой. — Мы—флегматики, нас можно и подождать!

На палубе один музыкант пиликал на скрипке, а другой вторил ему, ударяя в бубен и припевая.

От этой картины так и веяло беспечностью, свободой.

— В поход, Пьеро! — возбужденно крикнул Федот. — С места на место!

Он встал в позу и запел:

В морском просторе...

Вдруг какой-то предмет ударил его в плечо, он оглянулся: у ног его лежала только что сорванная темнокрасная роза; он подобрал ее и взглянул с площадки парохода вниз: на конторке стояла Миньона и кивала ему головкой.

Он бросился по лестнице вниз и через минуту был уже подле нее.

— Миньона!

Она протянула ему руки. Миньона была бледна. Та самая трагическая черточка, которая так нравилась Федоту в его идеале, сквозила теперь в выражении ее лица.

— Видите, я пришла!—сказала она низким голосом.— Не забывайте меня! Благодарю вас за ложу! Я вчера сходила с ума от Мефистофеля: какой певец! Лучше тенора! Вот если б вы так пели!

Раздался оглушительный свисток.

— Идите, идите! Не поспеете! — заторопила она его.

Он жал ее руки.

— Сберегите мою розу!

— Буду хранить всю жизнь...

— Прощайте!

Он едва успел вскочить на пароход. Зашумели волны, пароход отвалил, медленно удаляясь.

Миньона махала платком.

Федот смотрел на ее печальное лицо с черными серьезными глазами: оно все более и более удалялось от него. Он стоял на площадке парохода, завернувшись в бурку, и пел, заглушая шум воды:

Прощай, моя Миньона!

Лицо Федота в эту минуту имело счастливое и самодовольное выражение победителя женских сердец.

В это время к нему подошел Пьеро и бесцеремонно пихнул его кулаком в бок. Круглое лицо его против обыкновения не было улыбающимся, а, наоборот, так и дышало гневом и раздражением:

— Федот! Я не могу утерпеть, чтобы не сказать вам, что вы вели себя как дурак и простофиля. Чорт побери! Неужели вы так и не заметили, что она все время бегала за нашим знаменитым тенором, а вами пользовалась только для услуг? Ну, что? Вы ее за кулисы водили, контрамарки ей доставали, а она над вами смеялась и за нос вас водила! Дурак бас! Вы думаете, что это она вас вышла провожать? Как бы не так, держи карман! Это она «его» провожала! И вся труппа это знала и видела, кроме вас! Это — дрянная девчонка, обыкновенная противная психопатка! Обид-

но даже мне стало за вас, Федот! Вот-те и Миньона, поэтический тип, таинственная женщина и прочая белиберда!..

Пьеро запустил руки в карманы и продолжал иронически:

— Дубина ты, дубина, балда ты стоеросовая!

А навстречу, подавляя своей мощной шириной, уже мчалось беспредельное море. Казалось, оно дышало. Синие, тяжелые волны вздымались ленивою зыбью. Море звенело и пело. Величаво, как орган, гудело оно свою торжественную песнь. В ней говорилось о тайнах мира, о вечности неизменной природы, о непрочности людского счастья.

1900 г.

КЛОУН

Усталый после спектакля, где переполненный цирк целый вечер надрывался со смеху над его меткими остротами, он сидел теперь передо мной в маленьком кабинете ресторана и, вздыхая, говорил о своей жизни.

— Да, — говорил он утомленно, — там, в цирке — гром аплодисментов, успех, блеск, внимание тысячной толпы — и кажется, что ты нужен ей, а вернешься в номер гостиницы — опять один и все уже о тебе забыли и никому ненужен...

Он опять вздохнул и провел своей бледной рукой с тонкими пальцами и крупным бриллиантом массивного кольца на мизинце по своей красивой черной шевелюре.

Он был еще и теперь хорош собой, этот пожилой и утомленный человек. Густые волосы, тонкие черты, живые, умные глаза. Широкий белый ворот нижней рубашки, выпущенный поверх бархатной куртки и расстегнутый, обнаруживал красивую, сильную шею с нежной кожей.

Я видел его и прежде на портретах: то «в шутовском наряде», со смеющимся лицом, то в обыкновенном человеческом виде; и тогда с портрета смотрело хорошее, серьезное и печальное лицо.

С таким лицом он и сейчас сидел передо мной.

Мы с ним уже долго разговаривали, оставшись вдвоем. Это был вежливый, вдумчивый и серьезный

собеседник. За все время беседы он, кажется, ни разу не улыбнулся, и странным казалось, что профессия этого солидного, даже немножко печального и очень озабоченного человека — смех.

Он рассказывал мне о своем детстве, и это был печальный рассказ — об одиноком ребенке, лишенном материнских ласк, о бегстве от строгих педагогов в ярмарочный балаган, скитаниях с балаганной труппой, где акробаты спали на голом полу и т. д. Это был тернистый путь настоящего, природного таланта, с определенным и несколько странным призванием — «в цирк», с органической потребностью ходить на руках, сгибаться в кольцо и с серьезной до страдания, неистовой жаждой «смешить людей».

Рассказал весь рост своей карьеры, когда из неопытного и молоденького «рыжего» он вырос в «известного».

Загадочна душа таких «талантов», с капризной насмешливостью избравших своим поприщем роль циркового клоуна. Они всегда бросают в толпу острые словечки, едкие и подчас дерзкие насмешки, не могут жить без смеха и без толпы, а сами одиноки и серьезны.

«Смешить людей» не совсем безопасно: сила смеха страшна, и вот являются «враги», завистники, недоброжелатели... Путь артиста устилается шипами. За острое словцо ему мстят ударом палки «сзади», истреблением дрессированных зверьков, отравлением любимой ученой лошади и т. д., а с другой стороны, антрепренер цирка силой вытаскивает его из квартиры от постели умирающего ребенка и выталкивает «на арену»...

Такова жизнь циркового артиста.

Закуривая папиросу, он сказал: — Мне хочется рассказать вам один случай из моей молодости, а именно — о моей женитьбе: история тоже довольно невеселая, но — оригинальная!..

— Расскажите!

— Тогда мне только что исполнилось двадцать один год, и я был на призыве в солдаты. А в цирковом ми-

ре у меня уже образовалась маленькая известность, публика меня любила, антрепренеры охотно приглашали и платили порядочно.

И была у меня Матильда — «дочь воздуха» — эдакое милое, юное существо; и любили мы друг друга безумно. Ну, вот, как рассказал я, какая нам с ней предстоит разлука, заплакала моя Матильда в три ручья... А я и сам не знал, чем же ее утешить и как тут горю пособить! Чуть и сам-то с ней вместе не хнычу. И до того мне непереносно было видеть ее слезы, что вырвался я от нее — в шантан, хоть и не пил тогда ничего, да и теперь пью мало. Сел за столик в уголку, спросил полбутылки вина и, не притрагиваясь к стакану, облокотился на стол да так задумался, что не слышал ничего, что кругом меня в шантане делалось, и долго ли так просидел — не помню.

Вдруг кто-то положил мне руку на плечо: я вздрогнул и поднял голову: стоит надо мною кто-то высокий, тонкий, в черном сюртуке, в черном галстуке, черные волосы горой, черная эспаньолка и усы кверху, весь черный и горбоносый — на Мефистофеля похож. Вспоминаю, что где-то видел я его, но не помню где, и кто он — не знаю. Засмеялся, похлопал меня по плечу, сверкнули из-под черных усов белые зубы, — говорит:

— Что, брат Антоша, пригорюнился? Горе, что ли... у тебя какое?

На «ты» со мной.

Я не удивился: с нашим братом-артистом легко на «ты» сходятся, так что и не помнишь всех этих буфетных или закулисных приятелей, а они-то тебя помнят и всегда норовят этим «ты» щегольнуть. Напрягаю память — где-то видел его и при этом музыку какую-то слышал, но где и когда и при чем тут музыка — хоть убей меня, не могу вспомнить.

Однако, как и всегда при подобных встречах, я сделал вид, что отлично знаю его и начинаю рассказывать ему свое горе.

Сел он со мной, спросил шампанского, выслушал меня и опять смеется. И смех его мне кажется неприятным, и весь он какой-то для меня темный, и опять

мучительно стараюсь припомнить — да где же я его видел?

А он сдвинул свои дьявольские искривленные брови, пронзительно впился в меня черными глазищами и говорит:

— А хочешь, я помогу тебе, Антоша? Откуплю тебя от солдатчины да еще и женю тебя: невеста молоденькая, красивая и с деньгами!..

Вижу — болтун кабацкий и враль, должно быть, не обратил я внимания на его слова.

— Пошел ты к чорту! — говорю ему по-приятельски.

— Да верно! — кричит.— Ну, по рукам, что ли?

И трясет мою руку.

Кое-как отделался я от него и ушел домой, а потом и позабыл совсем об этой кабацкой встрече.

Прошло недели две. Я попрежнему каждый вечер работал в цирке, а с предстоящей мне солдатчиной совсем примирился. Вдруг как-то утром постучали в мою дверь, и входит «он»: опять в таком же парадном сюртуке, в белом галстуке и даже с цветком в петлице.

— Здравствуй, Антоша! Ну, все готово, собирайся!

— Что готово?

— Да ты дурака не валяй. Карета готова, у подъезда стоит: едем сейчас к твоей невесте!

— К какой невесте?

— Послушай, Антоша, я серьезно с тобой говорю, а шутить тут глупо: я две недели хлопотал, чтобы избавить тебя от солдатчины, потратил уйму денег; когда женишься и возьмешь приданое — ты мне их возвратишь, но все уже сделано, в солдаты тебя не возьмут, и, чорт побери, ты должен сейчас ехать со мной на парадный обед к невесте, или — сам пойми — иначе ты будешь подлец из подлецов: подумай, в какое положение ты меня поставил!.. Ну, убудет тебя, что ли, если ты съездишь пообедать в хорошую, патриархальную семью, состоятельные люди, свой особняк, ну, съезди и посмотри только: а главное—солдатчина-то—фю-фю-фю!

И засвистал.

А потом опять — сдвинутые брови и пронзительный взгляд.

— Помни все-таки, что иначе — серая шинель!

Растерялся я. Ничего сообразить не могу, да и как-то околдовал он меня.

Смотрю — уж на мне фрак и галстук и сам он шубу мою на меня одевает.

Поехали.

Действительно, подкатили мы на рысаках к шикарному особняку: зеркальные окна, львы на воротах.

Входим.

Обстановка — крикливая роскошь: золоченая мебель, ковры, картины в тяжелых золотых рамах, портьеры — много шелку, атласу и золота; и опять пахнуло на меня чем-то ранее виденным, но где — не могу вспомнить и даже определить не могу, что это за стиль, что за люди тут живут: и не купцы и не дворяне, а что-то такое эдакое особенное и очень мне знакомое, что я видел где-то и когда-то, но никак не могу вспомнить...

Несколько минут посидели мы молча в гостиной, и, наконец, к нам вышла женщина — очевидно, мамаша невесты.

Толстая, в атласном оранжевом платье со сборками, с жирным двойным подбородком; в серьгах — крупные бриллианты; и от всей ее фигуры и костюма, от ее лица и голоса — опять все то же знакомое впечатление: вот-вот вертится что-то в мозгу, вот сейчас вспомню, где я видел эдакие типы, и — хоть убей — ничего!

Вышли еще какие-то молодые люди, приличные, с английским пробором и, наконец, — невеста.

Молоденькая, скромная девушка с опущенными глазками, беленькая и действительно очень хорошенькая: понравилась мне.

Начался общий салонный разговор, которым дирижировал мой черный товарищ.

Я подсел к невесте. Перебирает платочек в пальчиках, глаз не поднимает, и только от нее и ответов: «Да, мы бываем в цирке», «Я люблю», «Видела вас», «Вы всегда имеете успех» и так далее, но в общем — ничего, скромнеенькая, милая девушка

Скоро позвали в столовую. Обед был наславу, за обедом условный этикетный разговор и оживлял его своим красноречием главным образом Черный.

После обеда — музыка.

Невеста села за рояль, а Черный вынул скрипку.

И тут опять у меня засверлило: играли что-то хорошее и очень хорошо, но в самых приемах игры скрипача опять я узнал какой-то неуловимый, но страшно знакомый пошиб, с которым в области бессознательного связывалась и самая физиономия Черного, недаром он и вспоминался мне всегда вместе с какой-то музыкой!..

И я опять мучился в тщетных потугах вспомнить что-то знакомое и вместе с тем неожиданное.

Проводили нас как родных, приглашали бывать почаще.

Конечно, я в тот же день рассказал все Матильде и просил ее совета: как же быть? Не жениться — солдатчина, а жениться — прощай Матильда!

Она, конечно, вместо всяких разговоров — реветь! Думал я, думал и говорю ей: — А что если я обвенчаюсь, а прямо после венца опять к тебе сбегу? — И слушать не хочет! Ревность одолела; не смей туда ездить, да и шабаш! Дал ей слово плюнуть на все и итти в солдаты.

Ну, вот, хоть слово-то я и дал, а сам потихоньку от нее все-таки стал туда ездить: не мог освободиться от власти Черного. И скоро стал там своим человеком и даже переехал к ним в дом: все это устроил он же. На беду мою невеста-то мне стала всерьез нравиться, и стал я охладевать к Матильде, мало-помалу отдалился от нее и почти уже решил жениться.

Между тем, Черный не дремал: как-то очень скоро нас помолвили, обручили, и начались приготовления к свадьбе.

И все-таки что-то скребло у меня на душе: против Матильды — подлость, к Черному — какой-то страх и отвращение, от мамаши меня безотчетно коробило, да и в невесте не был уверен я: любит ли она меня.

И решил я испытать ее.

Как-то целовались мы с ней наедине, и рассказал я, что меня мучит неуверенность в любви ее.

Говорю ей:

— Ведь мы помолвлены и обручены, через несколь-

ко дней нас обвенчают; мы и теперь уже муж и жена, что может значить для любви нашей обряд? Не все ли равно? Отдайся мне до венчанья! Сегодня ночью я приду к тебе!

И, хотя она ничего мне не ответила, только задрожала вся и прижалась ко мне, однако, я принял это за согласие, и поздно ночью, когда все уснули, я тихонько прошел к ней как муж.

И не успел я обнять ее, как дверь отворилась и в спальню вошел Черный со свечей в руке.

Трагическим голосом проповедника он стал читать нам нотацию о святости чистоты до брака, я разозлился и ушел к себе.

Так и не отдалась мне жена до венчанья.

Наконец, наступил день свадьбы.

Приготовления были пышные, венчали в модной церкви, а после венчания — бал.

Особняк горел огнями, люстры, золото, бриллианты, толпа гостей.

С моей стороны тоже пришли гости: товарищи-артисты, которых я хотя и пригласил, но знал, что они глубоко возмущены против меня за поступок с Матильдой, и боялся, что когда подопьют, то начнут неприятное объяснение. Так и вышло: за ужином главный из них поднял тост за здоровье Матильды и сказал уничтожающую речь о подлеце, бросившем ее для «всем известных грязных денег».

И тут же по окончании речи все они разом встали и демонстративно ушли, не обратив внимания на поднявшийся скандал.

Я остался, как оплеванный. Скоро гости разъехались, огни погасли, и мы с женой удалились в нашу общую спальню.

Через несколько минут я убежал от нее с отчаянным криком, с проклятиями и слезами: меня обманули, меня использовали по заранее обдуманному плану какие-то темные, непонятные для меня люди!.. О! как я страдал! И не то меня оскорбило, что жена моя не оказалась невинной, а то, что от меня это скрыли до свадьбы, что меня женили при помощи обмана!

Всю ночь я метался в своей комнате, как зверь в

клетке, и не заснул ни на минуту, а утром мне подали голубой шелковый халат с этакими атласными обшлагами и пригласили пить кофе. Жена вышла в шикарном капоте, заплаканная. И не сказали мы друг другу ни слова, посидели молча, не притрагиваясь к кофе, а потом разошлись — навсегда!..

Ох и запил же я тогда! Собрал своих цирковых и, пока меня не простит Матильда, решил не прекращать гульбы. Так с целой оравой гимнастов, акробатов и цирковых силачей и странствовал по ресторанам, кабакам, трущобам и злачным местам! Только и слышно было: «Антоша идет! Антоша пришел! Антоша загулял!» Крик, гвалт, смех, пение, пляс! Одним словом — разгул пошел!..

Не день и не два и не одну ночь все это было: долго гуляли мы.

И вот однажды попали мы в эти самые веселые дома: переходим из дома в дом и везде пьем, танцуем, угощаем девиц, дурачимся. Обошли так всю улицу, во всех домах нашумели, больше некуда итти, а итти куда-нибудь хочется. Тут один из наших говорит: «Пойдемте в самый аристократический, куда только знакомых пускают! Я имею туда вход! Только, чур, не галдеть!»

Поехали в «аристократический». Позвонили. Притихли. Тот дал карточку — впустили нас. И вот входим мы в шикарный публичный дом, вваливаемся в зал, я впереди всех, остальные за мной, а в зале музыка: рояль и скрипка.

И вижу я: на рояле аккомпанирует моя милая теща в своем любимом лиловом атласном платье, а на скрипке играет мой сват и друг—Черный, ее сожитель, сутенер, растлитель ее дочери — моей жены...

Клоун замолчал, глубоко вздохнул и обычным своим усталым жестом провел бледной красивой рукой по черным, густым волосам.

Во все время рассказа он много курил. И теперь, едва бросил потухшую папиросу, как вынул и закурил новую.

— Чем же кончилось? — спросил я.

— Чем кончилось? Дал я Черному великолепный удар в живот ногой, крикнул своим: «Бей все!» и разгромили мы учреждение: все переломали, изодрали, исковеркали, били зеркала и так далее...

— Да я не об этом! — возразил я. — Встречались ли вы потом с вашей женой?

— Никогда! Ее вскоре опять-таки выдали замуж за одного актера, — настоящего его имени я не назову,— они оба живы, счастливы, богаты, но я, конечно, никогда больше не встречался с ней...

Мой собеседник опять замолчал.

Мы оба поднялись из-за стола.

Было уже поздно.

1911 г.

В ДОРОГЕ

Мне вспоминается осенняя степь и гладкая, твердая дорога, по которой мы ехали на тройке в рессорном экипаже с поднятым кожаным верхом. Ночь была светлая, лунная, но по-осеннему холодная, ядрено-прозрачная.

Луна круглая и тоже как бы прозрачная, плыла высоко в зеленовато-матовом небе и далеко освещала холодную степную даль... Безжизненная, безмолвная степь, полная грустной тишины, освещенная мертвенным светом, казалась теперь еще таинственнее, еще шире и размашистее чем днем.

Торжественную тишину нарушали только мы: рессоры мягко похрустывали, копыта лошадей мерно ударяли в звонкую дорогу, да целый рой бубенчиков, словно летел и вился над лошадьми и назойливо пел что-то однообразное, пустое и беспечное...

Мой спутник дремал или о чем-то думал, а кучер Афанасий дал полную волю быстрой, резвой тройке, и я смотрел, как летели мы, будто на орлиных крыльях, и как мчалась навстречу нам ровная, серебристая степь. И казалась она полной таинственных чудес и волшебных сказок... Пустое, высокое, безоблачное небо прозрачным куполом опрокинулось над нею, и казалось, что мы улетаем за край этого купола, в неведомый, безграничный простор, а человеческое лицо месяца мчится вслед за нами и насмешливо улыбается.

Афанасий с каким-то особенным смаком присвисты-

вал, покрикивал и взлетал на облучке: он гнал тройку для собственного удовольствия. Наконец, в упоении, он попридержал горячих степных лошадей, и мы поехали обыкновенной рысью.

Степь и луна тоже как будто поплыли медленнее, а прозрачная тень экипажа и тройки, растянувшись рядом с нами по земле, стала отчетливее. Бубенчики заболтали протяжнее, словно жаловались на что-то.

Афанасий обернулся ко мне вполоборота.

— Вот Косолапый — так лошадь! — внезапно сказал он, кивая на коренника. — Цены нет коню!.. Век бы с ним жил — не расстался! У земского ямщика — уж на что лошади хорошие, — ну, а супротив наших — хе-хе-хе! куда же, где ему!

Афанасий тихо, снисходительно рассмеялся.

— Никогда не выстоит! — убежденно сказал он. Он говорил веско и поучающе, как говорят люди с природной склонностью к резонерству; в голосе его всегда звучало знание истины, убежденность и уверенность в превосходстве над всем окружающим его миром.

Он покосился на моего спутника и, понижая тон, добавил пренебрежительно:

— Наш барин рази в лошадях что понимает?

И уже с явным презрением и горечью, оскорбленно заявил:

— Ни-че-вво! Ему хоть свинью запряги, лишь бы бе-ж-жала!

Это было презрение аристократа к варвару, художественной, талантливой натуры — к бездарности. Лошадей он любил страстно и дорожил ими более, чем людьми. Перед тем, как нам ехать, барин его заболел в имении ночью и так тяжело, что решили послать за врачом, который жил верстах в двадцати от имения; но Афанасий отказался ехать: дорога ночью, с переправой через речку в брод, показалась ему опасной для здоровья лошадей.

— Там барин умрет ли, нет ли, а за лошадей кто отвечать станет? — резонерствовал он.

Всеобщее негодование нисколько не поколебало его.

«Барин» не умер благодаря счастливой случайности: врач сам проезжал мимо и заехал. Потом вся прислуга

приходила поздравлять с выздоровлением, пришел и Афанасий, искренно обрадованный: он все-таки любил и барина, с которым его связывали давнишние и довольно странные отношения.

— Наш барин простяк! — говорил он мне теперь. — Добрющий человек: всем он пособляет, все его обирают...

И опять неожиданно добавил:

— Ка-ак дур-рака!

Афанасий подобрал вожжи и обернулся ко мне для объяснительного разговора. Лошади пошли шагом. Лунный свет искорками блестел на светлых бляхах упряжи, на потных спинах вороных лошадей, на окованной дуге коренника и ярко облил смугловатое лицо ямщика, обрамленное курчавой бородой.

— Лет пятнадцать я у него в кучерах...—начал он.— Раз восемь уходил — и вот поди ж ты, где ни живу, а все ворочусь и ворочусь опять к нему же! Лошади у него завсегда без меня переболеют да переколеют— страм! А управляющий всегда немец, ну и, конечно, где же немцу русского кучера понимать? Идет к барину. «Или меня, говорит, или Афанасия увольте: грубит и не слушается». Ну, барину не оставаться же из-за пустяков без управляющего, призовет меня и скажет: «Ступай, Афанасий, куда-нибудь месяца на два, а потом опять приходи, — приму!» Ну я и ходил. Был везде: и на Дону, и на Кубани, где, говорили, вольная земля есть, и на Украине — нет! Нигде в Расее не нашел я настоящего житья: везде это тебя живо согнут в дугу, подкуют, взнуздают и запрягут: вези! И, стало быть, никуда от этого самого утеснения деться человеку нельзя! Вон видишь степь-то? — Афанасий провел полукруг кнутовищем по воздуху. — Широко? Убежал бы да скрылся ото всей этой музыки, откачнулся бы ото всей жизни, ото всех податей, — ан, нет! Никто не откачнется. Каждый человек есть жук на нитке,— сколько ни летай, а не улетишь: дернут за нитку — и опять, значит, угодишь на прежнее место.

Афанасий помолчал, пошевелил вожжами и заключил с досадой:

— А насчет вольных земель — враки! Нет их!

И, грозя кому-то в пространство кнутовищем, он желчно продолжал:

— Никуда не улетишь, братец ты мой, не-ет!.. не вырвешься...

На эту тему мы с ним разговаривали, но прежде он глубоко верил в какую-то злобную силу судьбы, которой, по его мнению, не стоило и сопротивляться. Мне были неприятны его мрачные рассуждения, и я попытался переменить разговор.

— А ведь, пожалуй, придется заночевать в какой-нибудь деревне? — спросил я.

— Ночевать? — сразу возмутился Афанасий. — Ну, нет... ночевать не придется!.. Да и где тут ночевать? Я — ночь-полночь, — а уж в мордовской избе ночевать не стану.

— Почему так?

— А так...

Голос Афанасия зазвучал с таким оттенком, как будто бы он, Афанасий, знает что-то о мордовской избе, но не хочет сказать.

— Ха! С презрением продолжал он.— Мордва — необразованные дикари! И вера-то у них глупая: идолам, дурачье, кланяются! В других-прочих верах хоть книги есть, а у них — н-нет ничего! Только и есть, что два деревянных бога: один валяется на заднем дворе — так себе, просто сказать, чурбан... А другой маленький: тот в избе, в переднем углу, на божнице стоит, — та-ак — др-янь...

Голос Афанасия выразил омерзение.

— К-кукла! — продолжал он, уже озлобляясь. — Но... вр-ед-на-я!..

— Почему же вредная?

Афанасий дернул вожжами, повозился на облучке и, помолчав, ответил мне тихо, тоном глубокого убеждения:

— На глаза болезнь пущает!

И, обернувшись к лошадям, натягивая вожжи, продолжал что-то говорить о «вредном» и ехидном боге:

— Я ночь-полночь... — доносилось до меня, — а уж...

Впереди блеснула обмелевшая речка. Серебряный столб лунного света дрожал на ней металлическими

бликами, и, казалось, будто со дна ее всплывают, зажигаясь, языки белого огня.

Дорога шла по самому краю отвесного обрыва над оврагом. Узкий и глубокий овраг был полон черной тьмой и казался бездонным... Стоило колесам соскользнуть вбок на четверть аршина или лошадям испугаться чего-нибудь, и мы полетели бы в бездну.

— Осторожнее, Афанасий!..

Афанасий преспокойно посвистывал.

— Доедем! — послышался его самоуверенный голос.

Лошади, насторожившись, пряли ушами и близко прижимались одна к другой. Бубенчики, то замолкая, то погромыхивая, беспечно переговаривались между собою.

И вдруг мы прямо с высокого, обрывистого берега бултыхнулись в реку. Зашумели волны и едва не хлынули в повозку. Лошади, фыркая, почти плыли.

Мой спутник проснулся.

— Река? — спросил он, открывая глаза.

— Река! — отвечал Афанасий. — Слава те, господи, попали на самый брод!

— А что? — спросил я.

— Да рази увидишь ее, дорогу-то, скрозь воду? Шут ее знает, где она; а влево-то на сажень подайся — и как раз в омут угодишь!

— Так ты смотри, Афанасий...

— Доедем!

Вороная тройка красивых, сильных лошадей звучно вспенивала воду, купаясь в ней и в серебряном свете месяца. Казалось, что мы утопаем и боремся за жизнь. А кругом безучастно молчала мертвая степь да чернела под высоким размытым берегом коварная река. Мы действительно доехали, хотя могли и не доехать. Выбравшись на противоположный плоский берег, мы опять покатили по гладкой, ровной дороге. Бубенчики неугомонно болтали, перебивая друг друга. Афанасий запел себе под нос тонким детским голосом замечательно грустную, протяжную песню.

— Э-эх... э-оэ... э-о!.. — без конца тянул он.

Мой спутник завозился и, пошуршав спичками, закурил папиросу. Красный огонь спички на минуту

осветил в тени кибитки холеные пальцы барских рук, мужественное, красивое лицо в дорожном капюшоне, живые, молодые глаза и совершенно седую, словно серебряную, небольшую бороду. Белый капюшон широкого плаща придавал ему вид бедуина или рыцаря.

— Не спали? — спросил он меня своим звучным голосом.

— Нет.

— А я вздремнул. Да спросонья-то, когда зашумела вода, напугался: представилось мне, что по морю едем. Чорт бы побрал эти мои постоянные разъезды! Все перепутывается!

Он затянулся папиросой, выпустил дым из ноздрей и продолжал:

— Фантастичнее действительности все-таки даже и во сне ничего не увидишь, не выдумаешь и не сочинишь! Иной раз оглянешься назад, в прошлое, — господи боже мой! Неужели все это было? Все это переживал, во всех этих богов верил? Вероятно! Боготворил инфузорию, поклонялся клеточке, ходил в народ... Якутия... этапы жизни... потом — проповедь малых дел... травосеяние, молотилки, воздушная железная дорога! Тьфу... Жена бросила... дети все врозь и все — чужие... А жизнь шла, молодость уходила, имение мое трещало, тучи сгущались, темные силы торжествовали и гнали нас, лишенных веры, в пустоту, в холодный мрак!.. Бр! Понимаете... даже во сне сердце болит... постоянно обо всем болит...

Собеседник мой вздохнул и помолчал. Молчала степь, словно зачарованная, в безысходной тоске...

Пологими, едва заметными волнами уходила она в серебряную даль, и мне чудилось, что холодная грудь ее начинает чуть-чуть колыхаться, двигаться, жить... Чудилось, что горизонт поднимается и гонится за нами, какие-то далекие воинственные голоса и вопли преследуют нас, и мы летим все ниже и ниже, в бездонный провал. Я сделал усилие над собой и очнулся. Мой спутник говорил:

— Мне пятьдесят два года. Давно уже я работаю во-всю в так называемом буржуазном направлении, которое от души ненавижу. Но в прежнее время я по

крайней мере думал, что в эти годы буду иметь покой... И вот все еще еду... верчусь, как белка в колесе. Жизнь моя все еще попрежнему проходит в езде. Еду в вагоне, еду на пароходе, еду по рекам и по морям, и на лошадях по степи, и в брод... все еду. И, ей-богу, сам не знаю, когда же и куда я, наконец, приеду. Ездил кругом света, а вышло, что совершил восемьдесят тысяч лье вокруг самого себя!.. С каким бы удовольствием я ушел и от самого себя и от всей этой чертовщины, которая именуется русской жизнью, и от всей этой путаницы отношений, понятий, настроений, увлечений в области слов и неподвижности в области дела... Говорят, заря занимается, новая волна идет; а как вспомнишь, сколько раз эта самая заря занималась и ни разу не взошла, сколько раз мы ждали новой волны, а она обращалась в затишье, — то, право, куда же, наконец, итти-то?

— Э-о-э... о-э!..

Стонала и плакала надрывающая душу песня Афанасия. Лошади шли шагом, и бубенчики жалобно и недоумевающе спрашивали о чем-то друг друга. Луна быстро опускалась за горизонт. Вот она словно прикоснулась к земле и начала таять... Из серебряной стала кроваво-золотой, и, словно стыдясь чего-то, окунулась в густой сумрак ночи.

Темно и скучно стало в безотрадно-печальной степи.

Я очнулся, почувствовав, что экипаж остановился, и открыл глаза: было раннее серое утро. По небу ползли серые облака, быстро гонимые ветром.

Мы стояли у околицы какой-то очень бедной деревни: раскрытые на корм скоту соломенные крыши придавали ей разоренный вид. Обнаженные черные стропила словно вопияли к небу о помощи, но хмурое небо безучастно и безжалостно смотрело на ободранную до костей деревню.

В ворота околицы татары гнали косяк исхудалых крестьянских лошадей. Это были жалкие, полумертвые одры. Неуклюжие морды с громадными, бессильно и как-то безучастно отвислыми ушами страдальчески смотрели добрыми большими глазами, и из глаз этих,

тусклых и как бы невидящих, тихо текли крупные слезы. Медленно и грустно, безжизненно ступая разбитыми ногами, как ходулями, одно за другим проходили эти фантастические животные, и в шествии их было что-то похожее на печальный, зловещий сон.

У шалаша стоял мужик.

Он был без шапки, и ветер шевелил его нечесаные волосы. Рваный кафтан распахнулся, пестрядиная рубаха расстегнулась, обнажая костлявую, загорелую грудь, и он стоял, прижав к этой груди заскорузлый кулак, а лицо его, обветренное, худое и обросшее бесцветной лохматой бороденкой, носило выражение полной растерянности.

— Что же это? Что же это? — спрашивал он, жестом отчаяния прижимая кулак свой к сухой, уродливой груди и смотря на нас какими-то пустыми, тоскливыми глазами:

— Что же это будет? Эдак и отшатиться можно!

Мы молчали.

Тогда Афанасий сурово повернул к нему голову, свысока взглянул на него и, сдерживая раздражение, желчно и зло сказал мужику:

— Дур-р-р-рак!

Затем, найдя нужным пояснить свою мысль, более снисходительным тоном и все-таки презрительно и сурово спросил его:

— Куда ты отшатишься?

И, не получив ответа, злорадно взмахнул кнутом.

— Н-но-о!..

Мы поехали. Околица, одры, шалаш и мужик — все исчезло, и кругом опять поплыла однообразная степь, а по небу до самого горизонта ползли серые тучи.

Мы неслись как подхваченные вихрем, словно за нами гнались истерзанная деревня, плачущие одры и чудак, верящий, что ему куда-то можно отшатиться.

Я оглянулся: деревня, околица и шалаш словно уплыли назад, а у шалаша, в прежней позе, неподвижно стоял мужик: рука, сжатая в кулак, была попрежнему у груди, голова опущена, и ветер трепал его спутанные волосы, бороду, кафтан...

1904 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Этапы

Рассказы

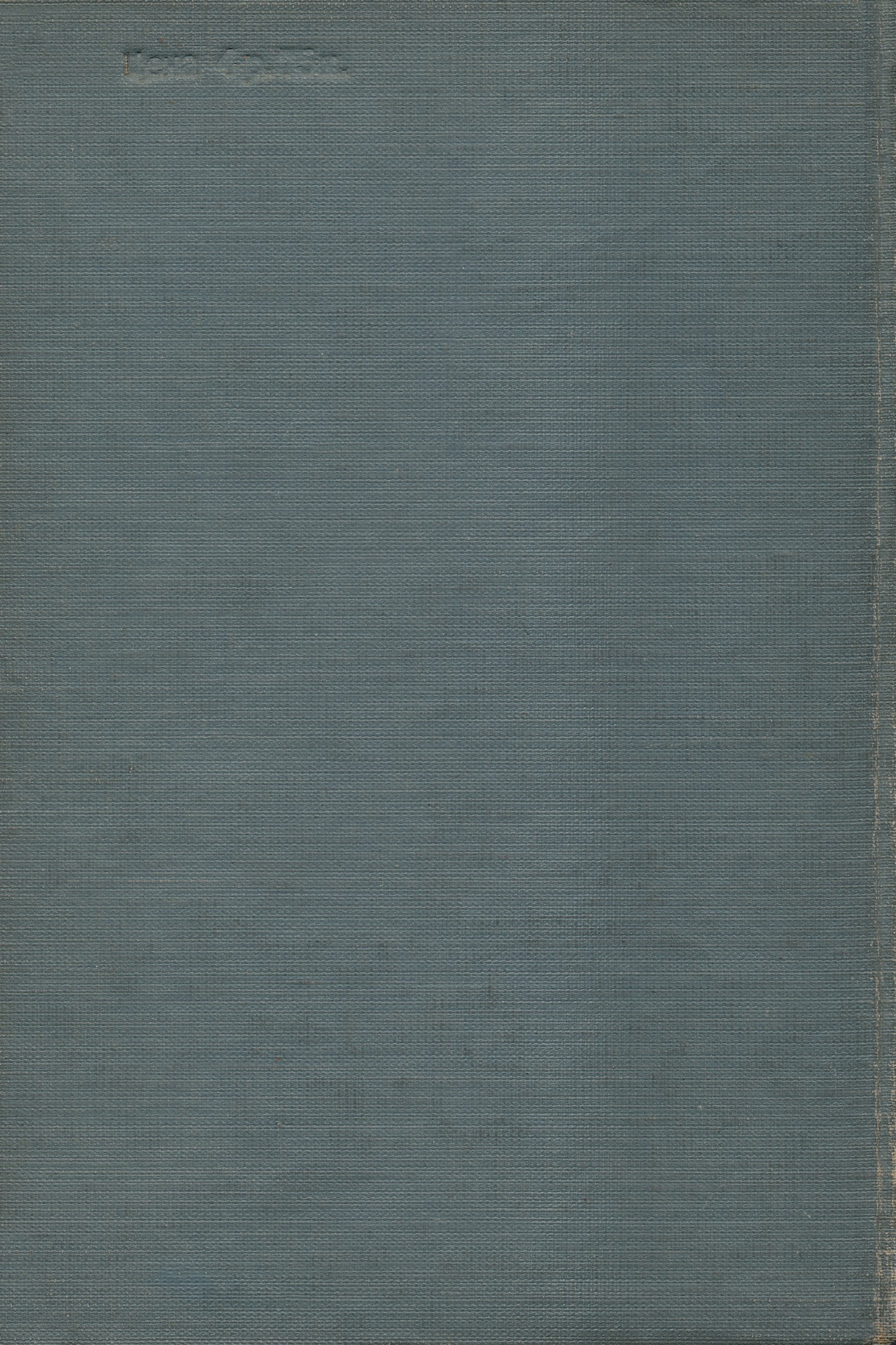
ЧИТАТЕЛЬ!

Сообщите свой отзыв об этой книге, указав ваш возраст и вашу профессию, по адресу:
Москва, центр, ул. 25 Октября, 10/2.
Государственное издательство
„Художественная литература“
Массовый сектор.

Редактор Р. Ковнатор
Техн. редактор Р. Ольхин
Художник Л. Литвак
Корректор Т. Рощина
Сдано в набор 2|IX 1936 г.
Подп. к печ 23 I 1937 г.
Х 11. С42. Изд. № 381.
Зак. тип. № 2571. Формат
бумаги 82×110¹|₃₂. Печатн.
л. 19³|₄. уч.-авт л. 16,90,
авт. л. 14,80. Тираж 10000.
Уполн. Главл. № Б-6444.
Отпечатано на бумаге
Каменской бумажной
фабрики.

Цена 3 р. 50 к.
Переплет 1 р. 25 к.

17-я ф-ка нац. книги Огиза
РСФСР треста „Поли-
графкнига" Москва, Шлю-
зовая набережная, о. 10.


Цена 4 р. 75 к.